

Звезда Востока

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1932 года

Общественный совет журнала

Мухаммад АЛИ
Баходыр АХМЕДОВ
Анатолий БАУЭР
Владимир ВАСИЛЬЕВ
Анатолий ЕРШОВ
Николай ИЛЬИН
Абдухаким ФАЗИЛОВ
Раим ФАРХАДИ
Лариса ЮСУПОВА

И. о. главного редактора
Сирожиддин РАУФ

Зам. главного редактора
Клавдия ПАНЧЕНКО

Ответственный секретарь
Бахтиёр АЛЛАМУРОД

Редакторы:
Елена ЮРЧЕНКО
Елена ДОЛГОПОЛОВА



Республика Узбекистан
Ташкент

Сухбат АФЛАТУНИ

ЛУНЫ БЛИСТАНИЕ...

Переводы и комментарии

СУЛАЙМОН БАКИРГАНИ

На соборище святых мужей в благословенном вретиише –
Что захочешь ты – обретишь, войдя в собрание дервишей.
Ведь каждый в собрание том долю обретал в благом,
Святым следуя путем, войдя в собрание дервишей.
В нем каждый нашел свой дом, наполнял сердце добром,
Братом стал, хоть чужаком вошел в собрание дервишей.
Был глупцом – стал мудрецом, был звездой – стал месяцем,
Медью был – стал золотом, войдя в собрание дервишей.

переводы



Бах АХМЕДОВ

Ноябрь понимает все...

скажи словам скажи отстали
скажи часам скажи стоять
скажи мерцанию печали
так сиротливо не мерцать

скажи что мир подобен бреду
нет ничего не говори
скажи что жизнь начнется в среду
скажи воскресни
и замри

ПОЭЗИЯ



Алексей УСТИМЕНКО

ХМАРЬ СТЕКЛЯННОЙ БУХАРЫ

Повесть

...иконное моление на один только образ, на метафору, на белую сердцевину луковицы, очищенной от золотой шелухи привычности, наращенной временем на сочной первооснове всякого русского слова, это главное в серьезном стихосложении. Иначе – как же Некрасов? Иначе – как же обязательные смыслы, нужные для народа, для людей, для их правильного понимания жизни, ее красоты?

проза



литературоведение.
литературная критика

НИКОЛАЙ ИЛЬИН



ПАМЯТИ МАСТЕРА

Особенное свойство художественного творчества узбекского поэта – это его юмор, часто содержащий глубокие жизненные обобщения и становящийся формой выражения философских и социально-исторических наблюдений. ...Э. Вахидов, объясняя важность и силу смеха, призывает к ответственности за насмешливое слово, за «шутку», ибо не только «великие идеи» и высокие порывы производят перевороты в личном и общественном сознании, но и смех.

НОВЫЕ ИМЕНА

Ашот ДАНИЕЛЯН



Сады души моей

Тишина – это тоже музыка,
Иногда она даже больше
Условностями обросшего
Музыкального языка.
Но есть ли путь осознать сполна,
Будучи мыслей узником,
Где закончилась тишины музыка?
Где началась тишины тишина?

караван истории

Рустам ШАГАЕВ



УСТОЗ

...он [Рузы Чарыев] дал каждому из нас в руки по альбому с репродукциями античных памятников. Мы быстро пролистали их и отложили в сторону.

А он помолчал минуту и сказал:

– Знаете, ребята, а я могу изучать эти книги ночами напролет...

...Он считал, что самое главное для художника – умение сохранить детскую чистоту восприятия, свежесть взгляда.

СОДЕРЖАНИЕ

**«ЖИЗНЬ МОЯ, СУДЬБА МОЯ – РОДНОЙ МОЙ,
НЕПОВТОРИМЫЙ УЗБЕКИСТАН!»**

Валентина Титова. Ода Отчеству.....5

ПРОЗА

Алексей Устименко. Хмарь стеклянной Бухары. Повесть. ...6

Александр Махнев. Муки творчества. Литературные миниатюры.....132

ПОЭЗИЯ

Бах Ахмедов. Ноябрь понимает все...60

НОВЫЕ ИМЕНА

Ашот Даниелян. Сады души моей.97

Александр Икрамов. Особенный день. Рассказ.100

ПЕРЕВОДЫ

Мухаммад Али. Умаршейх Мирза. Книга вторая романа-эпопеи «Амир Темура Великий». Перевод с узбекского М. Али и С. Камиловой.63

Сухбат Афлатуни. Луны блистание... Переводы и комментарии.112

Менглибой Мурадов. Моя детская душа. Повесть. Перевод с узбекского Р. Ашрапова.118

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Владимир Карасев. Два этюда одинокого странника. Эссе.136

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Николай Ильин. Памяти мастера.142

Нодира Мирхайдарова. Аллюзия в лирике А. С. Пушкина. ..148

КАРАВАН ИСТОРИИ

Рустам Шагаев. Устоз.145

Хроника литературной жизни.151

На 2-ой странице обложки журнала картины Рузы Чарыева.

На 3-ей и 4-ой страницах обложки журнала картины Файзуллы Ахмадалиева.



Материалы в рамках гранта «Популяризация культурно-исторического наследия Узбекистана, произведений классической и современной узбекской литературы» отмечены эмблемой Общественного фонда при Олий Мажлисе.

ЗВЕЗДА ВОСТОКА

2016 № 4

Учредитель

Союз писателей Узбекистана

ИНДЕКС – 831

Журнал зарегистрирован
Узбекским агентством печати и
информации
Рег. № 0296
06.09.2007 г.

Адрес редакции:

100027. Ташкент, ул. Узбекистанская,
д.16 А (5 этаж).

Тел: 245-27-87.

E-mail: zvezdavostoka1932@mail.ru

web-site: www.zvezdavostoka.uz

Дизайн, верстка, оригинал-макет

Мадина Абдуллаева

Подписано в печать2016 г.

Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.

Усл. п.л. 13,3. Уч.изд.л. 14,86

Тираж 900 экз. Заказ

Цена договорная.

Отпечатано в типографии

ИПТД имени Гафура Гуляма.

г. Ташкент, Шайхантахурский район,
ул. Лабзак, д. 86

Редакция журнала уведомляет
авторов о том, что к рассмотрению
принимаются рукописи,
выполненные в компьютерном
наборе.

Набор текста в любом формате с
приложением электронного варианта
и распечаткой.

Рукописи не возвращаются и
не рецензируются.

Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

Перепечатка без согласия редакции
не допускается.

Ссылка на журнал «Звезда Востока»
обязательна.

Copyright © «Звезда Востока»



**«Жизнь моя, судьба моя –
родной мой,
неповторимый Узбекистан!»**

Ода Отчеству!

Родной Узбекистан! Будь вечно молод!
Живи, гордясь истоками своими,
Всегда энергией кипучей полон!
С почтением произносим Твое Имя!

Заводы строим и сады сажаем,
Упорно движемся к вершинам новым,
Благим трудом богатство умножая,
Меняя облик края дорогого.

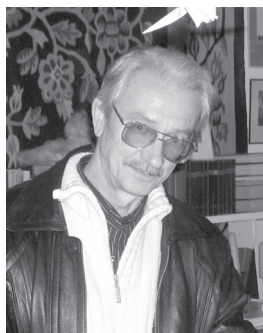
Ты в Море признан – гордый, суверенный –
Не зря имеешь Голос на Планете,
Останешься в грядущем незабвенным,
И верят в будущее Твои дети!

Цвети на радость дружному Народу,
Живущему единою семьею!
Вовек сиять немеркнушим восходам!
Земле остаться доброй и живою!

Валентина ТИТОВА



проза



**Алексей
УСТИМЕНКО**

Родился в Новосибирске в 1948 году. Окончил ТашГУ (ныне НУУз). Работал корреспондентом, главным редактором журналов «Звезда Востока» и «Восток Свыше». Автор многочисленных прозаических сборников, документальной биографии «Владимир – митрополит Среднеазиатский», романа «Странствующие в золотом мираже». Член СП Узбекистана.

ХМАРЬ СТЕКЛЯННОЙ БУХАРЫ

Повесть

*Его жизнь сгорала как-то криво,
с одной стороны,
как неудачно закуренная папироса.*

Анатолий Мариенгоф

ПЫЛЬ ПОД СНЕГОМ ВДОЛЬ ОБОЧИН

Запад начался на Востоке. Этот парадокс развеселил Сергея, и он уткнулся носом в закопченное окно вагона, чтобы разглядеть поподробнее, – что там, за ним?

Все так! Не иначе...

Запад начался на Востоке после солончаков, шебенистых гор то танцующе обступавших, то отбегавших к изломанному горизонту, после песочных свеев, желтыми сугробами набегавших на самые рельсы и, наконец, после пыльных и странных всадников, время от времени возникавших на холмах поодаль и чингизхановым взглядом провожавших их недлинный состав – от паровоза до самого последнего – их с Колобовым белого туркестанского вагона.

Цивилизация Запада напомнила о себе выложенным кирпичиками перроном, несколькими дощатыми тротуарами и лениво проползшим мимо стекла некоротким вокзалом, ничуть не меньше Виндавского, с несколькими чешуйчатыми куполками на крыше, с окнами, увенчанными то угловыми, то полукруглыми наличниками, да еще и увиденным сквозь просвет этих окон вагончиком трамвая, разворачивающимся на своем конечном кольце на площади за вокзалом.

Напомнила и неторопливо ушла назад: их отдельный вагон отгоняли куда-то далеко в сторону, на тупиковый путь, где ему теперь и следовало обосноваться на несколько ташкентских дней.

Паровоз чихнул последним облаком пепельного дыма, прошипел паром от какого-то своего внутреннего неудовольствия, пискнул тонким свистком, погромел расцепляемым железом, еще раз пыхнул дымом и укатил назад отдохнуть и отдышаться.

– Кончилась цивилизация, – сказал Сергей, отлепляя нос от нагретого стекла. – Нет города. Миражем явился, миражем и иссяк.

– И какой дурак повеличал тебя деревенским поэтом? – спуская босые ноги с диванчика, произнес Колобов. – Ты,

Сергей Александрович, человек городской, рафинированный. Набить бы тому морду за поэтическое непонимание.

– Бил уже. И еще буду.

– Ну-ну, – потеряв одну босую ногу о другую, сказал Колобов. – Можешь с себя начать... А пока – чего бы поесть? Да и пива хочется. Пошли на вокзал сходим, поишем. Потом уж и за работу.

И он опять поширкал одной ногой о другую.

– Сергей Александрович, вы здесь? – раздалось снаружи.

– Это мой милый Шурка! – засмеялся Есенин. – Кто еще здесь про меня знает? Пришел встречать.

Здесьшний почтово-телеграфный чиновник Александр Васильевич Ширяевец в белой полотняной тужурке, строго натянутой на крепкое тело высокого человека, в черных и мелко-полосатых брюках, понизу, у обшлагов, обрызганных белою пылью, действительно стоял перед вагоном под высоко торчащей над ним деревянной продыmlенной лестницей. И в некотором смущении от незнания, как себя вести с заочным другом Есениным, сложив две свои ладони вместе, приветствовал того этим, пока еще не личным, рукопожатием. Он был старше гостя на все восемь лет. И, хотя тоже писал стихи, издал пару сборников и слегка, в общей поэтической куче, печатался в разных столичных альманахах, как всякий провинциал, уверенно себя не чувствовал.

Ведь что такое провинциализм? – не думал, но как будто внутренне сейчас чувствовал Ширяевец. – Это невидимая зависимость от того, чего ты в силу своей ото всего отдаленности не знаешь... Из-за своей нестоличности и посторонности. Вот Александр Блок не знал, что Ширяевец тоже поэт. Хотя и не из питерских, но – тоже... Потому и не принял его шесть лет назад, когда со всем уважением подкатил к нему в Питере Александр Васильевич. Обидно и до сих пор. То есть, выходит, здесь незнание не у него – у Блока. И не получается ли, что и Блок от этого может оказаться провинциальным?

«Господи, докатился... Собственной головой глупости измышляю», – подумав так, Александр Васильевич расцепил влажные ладони и захлопал ими по обшлагам.

Есенин же, взглянув на эти его черно-полосатые брюки, отчего-то тотчас успокоенно подумал: как хорошо, что сегодня он позабыл припудрить лицо. Здесь это было бы неуместно.

Он спрыгнул с подножки, и столбик пыли тихо осел уже и на лакированных концах его полотняных туфель.

Увидев, что черный блеск есенинской обуви мгновенно исчез, Ширяевец еще более засмушался – вроде бы он виноват, а не ташкентская пыль... К тому же на Есенине был надет настоящий целый костюм, а поверх светлой головы покачивалась, несомненно, заграничная шляпа. И от этого никак не истребляемого смущения подмышками у Ширяевца еще более взмокло.

Что из того, что здесь его многие знают поэтом... Что из этого... Особенно если мокро под пиджаком. Это ни для кого не хорошо...

Из-за плеча друга Ширяевца выглядывала кругленькая девушка в белой панамке, белом полотняном костюмчике, почти точно таком же, что и тужурка у Сашки, и в белой же юбке намного ниже колен. Девушка отчего-то внимательно смотрела на шляпу Сергея. И ему стало весело. Сдернув ее со своей головы, он, почти не глядя себе за спину, запустил ее в отворенные двери тамбура.

– Глупо, – сказал Колобов, высунувшийся посмотреть на встречу друзей. Он легко остановил ее вертящийся лет, наступив на подлетевшую шляпу босую ногой, и добавил. – Это вполне можно истолковать как покушение на уполномоченного представителя НКПС...

Теперь, решил Сергей, можно было бы и обняться.

Сначала, понятно, с Сашкой.

– Рад, что приехал, рад тебя видеть... – бормотал Ширяевец, пытаясь слегка отвернуть свой нос, прижатый к Есенинскому уху. – Ты не подумай... Мы не провинция. В Ташкент многие знаменитости приезжали. На этот самый вокзал. Вера Федоровна Комиссаржевская, например. Ты не думай...

– Она здесь и умерла, – высунувшись из-за Ширяевца, сказала девушка в белой панамке.

А вот сейчас, после Сашки, можно и с ней.

– Это моя невеста, Маргарита Петровна Костелова, – сказал освобожденный от рук гостя Ширяевец, глядя теперь на светлый затылок Есенина, с налета уже обнимавшего ото всего этого неожиданно обмершую невесту.

– Тогда поцелую еще раз, – легко откликнулся Сергей. – А то, как знать, помру здесь вслед за вашей Комиссаржевской и более не успею ничего подобного сделать.

– Я это пошутила... – сказала невеста.

– Вы сейчас куда? – крикнул Колобов с высоты тамбура.

– В Ташкент-город, – оглянулся на его хриплый голос Есенин. – Вслед за Комиссаржевской.

– Я, правда ведь, пошутила, – почти беззвучно вышептала свои четыре покаянных слова Рита, покраснев так, что веснушки исчезли с ее лица.

– Ну, а я – пиво пить...

– Пойдемте ко мне! – вежливо пригласил Ширяевец, начиная размышлять, удобно ли начать спор об имажинизме уже сейчас, по дороге к нему, чтобы сразу поставить все точки над «і» в их некоторых с Есениным творческих размежеваниях, или сделать это потом, после борща, который с утра – в ожидании встречи со столичным знаменитым гостем – наварила матушка Мария Ермолаевна.

– Благодарю, посмотрим, – неопределенно произнес босой Колобов, исчезая в вагоне.

– Ну, а мы пошли... – сказал шагнувший вперед Есенин, принаравливая шаг к нешироким пространствам между многочисленно-бесконечными змеями рельс.

И сразу же черная угольная пыль легко примешалась к белой, лессовой, уже лежавшей на светлой парусине есенинских туфель.

– Может, трамваем? – неуверенно попробовал предложить вконец смущенный Ширяевец.

– Нет, нет! – неожиданно для самой себя заспорила все еще продолжающая краснеть Рита. – Идемте пешком. А Саша нам про город рассказывать будет. Он мне так много про него говорил...

Ей вдруг очень захотелось подольше побыть рядом с действительно не похожим на всех уверенным гостем. И даже мелькнула совсем невозможная мысль о невыходе на работу: бог с ней, с библиотекой; в конце-то концов, она все шестидневки в ней почти что безвылазно...

Встречная вежливость исчерпала себя, освободив место некоторому напряженному молчанию. Дружеский разговор был еще не ко времени. Деловой – Ширяевец опять вспомнил о своем неприятии имажинизма – тоже еще как-то не годился для осуществления. Да еще как-то не притерлись эти люди друг к другу. Письмами, которых скопилось множество, притерлись. А вот личностным разговором – пока нет. Живое слово осторожней бумажного. Бумажное знает себе цену, а потому и лезет вперед.

Молчание тянулось ожидающе. Есенин все ждал, что, наконец, вот-вот заговорит Восток, к которому он так долго ехал, которого достиг и который он сейчас попирает своими пыльными ногами. Но Восток молчал.

Вместо него вдоль всей дороги, лениво тянувшейся от вокзала, стояли серые двухэтажные дома, вроде бы даже казармы. Несмотря на самое еще и не начало лета, дорога эта уже была истолчена даже и не в пыль, но в какую-то невесомую пудру, маревом висящую надо всем, что двигалось, пробегало и проходило рядом.

А еще был большой белый снег, шевелящийся от этого – мимо него – пробега и прохождения.

Подогреваемый растеплившимся солнцем, снег шел то вниз, к земле, к обочинам, то волною уходил вверх, танцевально кружась.

Его белыми хлопьями были усыпаны и неприлично болтающиеся грязные горбы нескольких плешивых верблюдов, будто надетых на одну веревку. Тянувшихся караванно – длинно и скучно – параллельно с ними.

Но и в них никакого Востока Есенин ничуть не увидел, – диловинка, что ли... Мало ли их, то ли из Астрахани, то ли отсюда, то ли еще бог весть откуда добредало и до Москвы, и даже до Питера. Навидался до усрачки.

У самого первого из них мягкий снег застрял на ресницах. Больших, изогнутых, будто бы у той – как там ее? – актрисы из Камерного: цвели тополя густым, все облепляющим, всюду танцующим пухом.

Можно было бы написать, что белый снег тополя засыпал всю дремотную Азию. Но ее все еще не было. И засыпать пока было нечего.

– Сначала – на Пьян-базар... – собрав во влажный кулачок расплзшуюся уверенность, произнес Ширяевец.

– А Комиссаржевская не там была?

– Там есть что посмотреть, – как будто бы оправдываясь, произнес Ширяевец.

Кулачок разжался, хотя он этого так не хотел.

– Вы такой шутник, Сергей Александрович! – заступилась за жениха Рита, однако не повернув к гостю своей головы в панамке, но лишь быстро скользнув по нему опасливым взглядом. Так, вероятно, можно было обезопаситься от насмешек.

– Да нет... Действительно. Может, там пиво есть? Тогда пошли.

– Вообще-то базар называется Воскресенским, – вспомнила Рита.

– Тем более... Раз Воскресенский, значит, и церковь где-нибудь рядышком есть. А есть церковь – иши вокруг кабаки!

– То есть как? – взглянул на Сергея Ширяевец. – Церковь есть. Только не совсем рядом. И только не Воскресения, а Иосифо-Георгиевская. А насчет кабаков... Чайхану одну помню.

– У нас есть очень красивые церкви, Сергей Александрович. Много. Совсем как в России. Саша их любит, – опять опасливо взглянула на него Рита.

– Ну и черт с ними!

– То есть как? – теми же словами, что и Ширяевец, теперь спросила она.

– Сергей Александрович церквей не любит...

– Да ну их, действительно... Надоели. Почему все решили, что я обязательно должен любить церкви?

– Ну как же... А стихи?

– Они – имажинисты, – наконец вставил свое о своем телеграфист Ширяевец. – Для них главное – образ, метафора. Их вера – не в твоего Бога, а в метафору, которую они называют образом.

– То есть тоже Богом. Но это же как в церкви, – попробовала отстоять себя Рита. – Вот и пусть! Для меня важны только стихи. Вы последнее что написали?

– Хотите, чтоб я прочитал?

– Рита, – попробовал остановить ее Ширяевец, – человек с дороги. Устал.

– Брось, Шурка. Чего еще делать поэту, случайно заехавшему в чужой город? Только стихами спастись.

Прежде обогнавший их караван верблюдов медленно остановился. Они уже опять догнали его и, на некоторое время замолчав, принялись смотреть, как заснеженные верблюды стали укладываться на все ту же белую пыль. Их передние ноги подломленно подгибались, верблюды падали головами вперед, и только потом их, наконец, догоняли тоже как будто бы подломившиеся, но уже задние ноги.

Пыль дымилась клубами над всей ими занятой улицей.

Они, так шумно и пыльно падая на костяные колени с проплешинами из-за давно вытертой из них острой шерсти, словно становились на свою собственную, верблюжью, молитву какому-то своему, верблюжьему, богу.

– Тогда слушайте. Из неопубликованного. Нет, вру. Из опубликованного на стенах Страстного монастыря в первопрестольной столице...

Верблюды пускали слюну. Мокрая зелень падала вниз, облеплялась пылью и становилась похожей на белые шарики для китайского пинг-понга.

– Вот они толстые ляжки // Этой похабной стены. // Здесь по ночам монашки // Снимали с Христа штаны.

– Это имажинизм? – спросил Ширяевец.

– Нет, реализм, – ответил Есенин.

«Глупо, конечно», – хотела сказать Рита, но не сказала, потому что испугалась. Сказала неожиданно другое:

– Я все-таки должна идти... У меня работа... В библиотеке. Там, наверное, ждут.

– Никто там тебя не ждет, – вежливо заметил Ширяевец. Ему вновь сделалось неудобно. Он только не мог понять, из-за чего больше: из-за стихов ли, из-за прилипшей к спине рубашки, из-за торопившейся Риты, не к месту затеявшей этот пустой, несерьезный разговор, увоявший в сторону от разговора, почти наметившегося – серьезного.

– Ждут! Ждут! Ждут! – упрямо бросала Рита.

Она говорила быстро, отворотив лицо от разговаривающих, чтобы им не сделалось видно, что она, не веря еще самой себе, уже, может, разочарована в этом госте с его костюмом.

– Мы еще увидимся? – спросил Есенин.

– Увидитесь, – в некотором облегчении оттого, что она все-таки действительно уходит, сказал Ширяевец.

– Ждут! – с обидою, что ее не уговорили остаться, в последний раз произнесла Рита и, протыкая пыль деревянными каблучками, бесшумно побежала вдоль беложелтых стен, из которых здесь состояли как будто бы все, тянущиеся неизвестно куда, улицы.

Пятнистое шевеление синей тени от листьев – единственное, что напоминало о живой, рядом, жизни.

– Что у нас дальше по программе? – спросил Есенин голосом ведущего концерт.

– Я ведь еще ничего не показал...

– ...хотя мы, как я думаю, наверняка уже прошагали полгорода. Как верблюды, идущие к Комиссаржевской.

– «Чай-хонэ» тут все-таки есть. Я вспомнил.

– Нет. Пожалуй, веди уж домой. Что там, ты говоришь, твоя матушка приготовила?..

– Борш...

– Вот и давай к нему, друг Шурка. А на город да на экзотику время еще останется. Есть хочу.

Солнце утренним быстрым разбегом уже взлетело на полную высоту и там замерло, задохнувшись, дыша вниз, на землю, жаром разверстой печи.

ХОХОЧУШИЙ ДОМ

*...и там замерло, задохнувшись,
дыша вниз, на землю, жаром разверстой печи.*

Шли молча, сосредоточенно, окончательно понимая полную беспомощность избегнуть пыли, а потому вступая в нее неробко и почти без внимания к ней.

Есенин, пожалуй, теперь вполне мог бы говорить о поэзии. И даже вскользь упомянул двух-трех московских поэтов. Но Ширяевец не ухватился за их имена. Он их не знал, как не знал и никто во всем провинциальном Ташкенте.

Да и нельзя было, в серьезном понимании телеграфного чиновника Ширяевца, говорить на серьезную поэтическую тему как бы даже и на скаку, пыля, потя и голодно думая о борше.

Сейчас, перепрыгивая одну горку пыли, чтобы тотчас впрыгнуть в другую, он бы и не смог доказать Есенину, что иконное моление на один только образ, на метафору, на белую сердцевину луковицы, очищенной от золотой шелухи привычности, наращенной временем на сочной первооснове всякого русского слова, что это главное в серьезном стихосложении. Иначе – как же Некрасов? Иначе – как же обязательные смыслы, нужные для народа, для людей, для их правильного понимания жизни, ее красоты?

В красоту надо пальцами тыкать, чтобы ее увидели да разглядели. Ту, что округ

есть, существующую необозначенно. А имажинисты новую строят. Спасибо, что еще в заумь не впали, как некоторые...

Если и брать нужное слово для сотворяемого стиха, то уж брать старое, обкатанное, как галька в горной реке, человеческими ртами обглаженное за многие сотни лет. И брать его в привычно красивом для русского уха смысловом, а не бессмысленном сочетании. Бесспорно, бывает, что и у них тоже получается как будто красиво. Как красивой бывает все та же луковица в еще не содранной с нее шелухе. Вот ведь сказано у него, хорошо сказано: «Все мы яблоко радости носим, // И разбойный нам близок свист. // Срежет мудрый садовник осень // Головы моей желтый лист»... А смысл не всяким улавливается. А если не улавливается – читателю худо. Перестанет читать, не поймет. Или, наоборот, не поймет – перестанет читать. Для кого же тогда писать, если не для читателя?

Для друзей-поэтов?

Подумав про них, Ширяевец еще больше огорчился.

Вспомнил, как весною – и как это он проглядел? – в газете «Известия ТуркЦИК» они тиснули объявление о поэтическом предстоящем диспуте про этот бог весть для чего-то изобретенный имажинизм. Слышали звон, да не знают, где он. Полезли в заочную драку, чтобы только помахать кулаками. С Есениным, вот теперь уверен, из самосохранения не полезут... Не дураки. Зато непременно должен подраться с ним он, Шурка Ширяевец... Надо же, напечатали припублично – «илеаусинизм». Слышали звон... Сергей бы не разузнал. А то – позор.

«Бедный, бедный Йорик... Бедный, бедный мой Шурка, – думал о своем и Есенин, то и дело останавливаясь и отряхивая штаны. – Будь я на его месте, повел бы гостей в настоящий старый Ташкент. Сразу. Чтoб оглоушить. Он же – водит по новому. Вечное провинциальное желание... Надо же показать, что мы тоже такие, как вы, столичные... Не меньше, не хуже. Что и у нас все то же самое, что и у вас...»

Ленивая вода в арыках, зелеными струящимися русалочьими косами отражая чистую зелень карагачей, бежала мимо них по своим равнодушным делам. Тополинный же снег пропадал в переливающейся воде совсем безвозвратно.

«Пропадет Шурка... Чужой он, пожалуй, здесь. Понимает, а пытается опровергнуть. Про азиатчину даже пишет, не про одни свои Китежи. Поживет здесь еще чуть-чуть, примется всякое слово в стихах писать с большой буквы. Как всякие те... Доморошенные стихослагатели. Вечно не знающие, о чем стоит сказать, но пишущие, пишущие... Не способные без многозначительности удержать в собственной заднице свой литературный зуд – обязательно всех надо оповестить. Пусть всякий видит... Вот он я! Пишущий с большой буквы!»

– Вот, – сказал, наконец, Ширяевец, – мой дом. Улица Новая, дом пятьдесят пять...

Нельзя сказать, чтобы двухэтажный этот дом внушал уважение своей благородной старостью, сочувствие своей оригинальной неказистостью или уважение своей надышанной домашностью. Он был действительно нов, молод и так неуютно-розово банален, что, должно быть, ему самому не жилось в бесстыдном спокойствии от этой банальности: было противно. И он прятал себя от случайных, пусть и редко останавливающихся на нем, глаз прохожих в зелено-серую пену все тех же спичками торчащих серебряных тополей.

Говорливые горяшки, похожие на скинувших шубу из перьев, сдувшихся российских голубей, пытались разговорить это – с корой отслоившейся розовой штукатурки – казарменное сооружение. Но дом молчал, верно, в обиде на свою стандартную скучную судьбу.

Зато из двух окон второго этажа несли веселый, горохом раскатывающийся хохот. Точь-в-точь оживший смех самого толстого из репинских запорожцев.

Есенин, перестав выхлопывать пыль из брючин, замер, не разогнувшись: смеялся Колобов.

– Ты как здесь? – вместо того, чтобы остановить свой первый взгляд на хозяйке, робко глядящей на Колобова из угла, присвистнул Есенин.

– Скучно, – сказал Колобов и хлопнул себя по лысеющей голове. – А здесь, как оказалось, ждал борщ.

– Однако как ты нас нашел?

– Смешно сказать, но Ташкент столь ограниченный город, что всякий служащий вокзала знает всякого телеграфиста Ташкента. Не очень-то их и много, – проговорил начальник вагона и протянул руку Ширяевцу:

– Колобов. Григорий сын Романов. Утром мы удостаивались видеть друг друга.

– Сергей, – наконец поклонился Марии Ермолаевне и Есенин.

«Пропал разговор», – подумал Ширяевец и улыбнулся:

– Милости просим...

«Ну и черт с ним, с имажинизмом. Авось до завтра не состарится».

Было много хорошего зелено-сладкого вина, разливаемого по чайным чашкам нестаринного сервиза. Было еще и немало борща, революционно пламенеющего красным, оставшегося после предварительного налета на него, содеянного в чужой квартире скучавшим Колобовым.

Не было только сметаны ко всей этой революционной красноте. Как не было ее и во всем порушенном переворотами русском Ташкенте 1921 года. И в давно разворошенном Петрограде. И в распахнутой настезь навстречу переменным ветрам вечно базарной Москве. Голод России, как старый, всех покусавший пес, еще не перемахнул через холодный Уральский Камень, но его тень уже возникала то там, то вдруг тут, скача без хозяина на своих шелудивых лапах.

Сметана всегда исчезает, попадая в промежуток между строительством чего-нибудь нового и уничтожением чего-нибудь старого. Исчезает, будто проваливаясь в невидимую черную яму. Исчезает после того, как суматошные люди, начиная строить воображаемо-великое, отвергают прошлое, в котором не существовало ничего великого, но была сметана.

Разливать – разливали. А так, чтобы пить всем – не получалось.

Ширяевец вообще не пил, даже из вежливости. Не любил, оберегая себя для будущей лучшей литературной жизни где-нибудь не здесь.

Есенин же не оберегал, тихо пробуя ледяную успокаивающую зелень, но все же делая это также менее остальных. Водка оставляет голову чистой, делая мир легким, надо всеми плывущим воздушным пузырем. Вино утяжеляет все, что вокруг, и тянет вниз. На эту землю, где сон. Водки же, к радостной для него досаде, не оказалось.

За всех отбивался Колобов, вертя и передвигая полные и пустые чайные чашки, будто наперсточник на базаре.

Но только все равно, даже и в разной степени трезвости, вроде бы, наконец, привыкли друг к другу. И уже начинали разнослойно гудеть от позднего разговора похрипывающими голосами.

Слава богу, пока все в этом гаме и шуме существовало как будто тихо.

Колобов, привалясь к раскрасневшемуся от начавшегося разговора Ширяевцу, горячо внушал ему нечто, поплескивая на пол из чашки, подпрыгивающей в его суетящейся руке. И, удивительно, Шурка ему тотчас же отвечал. Горячо, возможно, и убедительно.

«Громят... Точно, громят. Смерть имажинизму! А с Шуркой Колобову не справиться. Колобова Шурка побьет. Шурка все стихи знает. Не утерпел. Без меня начал меня побивать».

Есенин же почти весело ухаживал за Марией Ермолаевной, то и дело подсовывая ей новую чайную чашку, придвигаемую Колобовым. Словно прося прощения за Гришку, нежданно ввалившегося сюда. И еще не потеряв беспокойства за что-нибудь, что этот наперсточник здесь опять сможет вдруг выкинуть.

И ему уже хотелось кого-нибудь убить, быть может, даже самого себя.

Мария Ермолаевна смущалась и не отказывалась, боясь обидеть гостей.

Было обидно, что день кончался в такой пустоте.

Уже вечер пытался своей синеющей темнотой прикрыть снаружи все светлые окна разгулявшегося хохочущего дома, оставив не подоткнутыми лишь некоторые

уголки своей растянутой и непрозрачной простыни. И поэтому еще можно было разглядеть отраженный внутренний свет жилья на снаружи заглядывающих через распахнутое пространство стекол серебряных листьях.

А Шурка все болтал и болтал с согласно кивающим Колобовым, иногда вдруг наклоняющимся к уху Ширияевца и дошептывающим туда нечто уточняющее. Ширияевец довольно соглашался.

– Все, – наконец сказал Колобов. – Значит, договорились?..

– О чем это они? – помаргивая добрыми непонимающими глазками спросила у Есенина Мария Ермолаевна.

– Обо мне, – уверенно произнес Есенин, зло радуясь возможности наконец уйти. Ширияевец не провожал.

– Ему завтра на службу, – пояснил, зевнув, освободившийся от разговора Колобов. – Пусть отдышится. А дорогу к вокзалу я уже знаю. Авось не заблудимся. Да и воздухом подышать неплохо...

Жирная сажа небес с кварцевыми блестками звездного песка ничуть не удивляла. За долгие дни пути и длинные стоянки на таких полустанках, где на сотни километров вокруг, кроме этого неба, никому ничего было не найти, оно надоело своей южной тяжелой привычностью.

– Так что имажинизм? Отстоял его от Ширияевца?

– Имажинизм? Какой, к черту, имажинизм? Он мне на днях пару мешочков пшенички подкинет. Просил до Самары подбросить. Кого-то там подкормить собрался.

– А ты?

– Я согласился. И ему взамен тоже кое-чего оставляю. Сахар, соль...

– Ты думаешь, здесь этого нету?

– Есть, да не то. Не за такие деньги. Авось со здешними сговорится. Он человек в делах понимающий. Может, еще себе и прибыль принесет.

– Вера в метафору, которая называется образом...

Пахло невидимой теплою пылью. Возможно, впрочем, сейчас не существовавшей. Ведь ночью пыли не видно. А значит, ее как будто и нет. Неназванное не существует.

– Брось, Сереженька! Стихи стихами, а есть-то иногда следует. Из того, что добыл. Да... И не забудь мне спасибо сказать.

– За что это еще? Позволь, наконец, полюбопытствовать...

– Ну как же... Я тебя от литературного разговора спас. Поэтов от всего подобного нужно оберегать. Чем больше они о ней, о литературе, перед всеми талдычат, тем хуже для стихов. Жизнь вытекает из них, как из прорванного презерватива. И на стихи о той жизни мало чего остается.

– Пошляк, – произнес Есенин.

– Я борюсь за поэтов. В том числе и за тебя, дурака, взяв под свою ответственность. Признайся, только по-честному, мамою поклянишься, – доволен, что я спас тебя нынче?..

– Толку-то что?.. На днях – все равно говорить. Не отстанут. Ну да ладно. Пошли быстрее. Спать очень хочется, а я еще бумагу слегка помарать хотел. Вот, погоди, напишу свое «Гуляй-поле»...

ДЕРВИШ С БРАСЛЕТАМИ НА НОГАХ

...напишу свое «Гуляй-поле»...

Утром возле их отцепленного вагона густо пахло свежей листвой деревьев. Это был запах салата, приготовленного при встрече Марией Ермолаевной. Но тянуло еще и густым духом привокзальной уборной, спрятанной неподалеку, за семафором, куда бегали только днем, и сладко-кислым угольным дымом, не исчезающим даже тогда, когда блестящие стальные нити бесконечно сходящихся и расходящихся железнодорожных путей оставались пусты.

Местное железнодорожное начальство в старорежимных фуражках (поскольку еще не определилось для себя, чем является этот прицепной спец-вагон и его обитатели – опасностью и проверяющим начальством или же бахвальством московских авантюристов, которым почему-то неразумный НКПС выделил передвижную жилплощадь), то приближало их всех к себе, то отдаляло: то подводило вагон под самые окна начальника станции, то загоняло за грязное депо в самый дальний тупик с поперечной шпально-мазутной перекладиной.

Пейзаж менялся, запахи оставались: уборная, кислый дым, зелень сочно нарезанного салата.

На Колобова такие перемены внешних впечатлений никакого влияния не оказывали. Старший инспектор центрального управления материально-технического отдела НКПС – Народного комиссариата путей сообщения, он же – по другим официальным бумагам – председатель контрольной транспортной фронтово-разгрузочной комиссии Гришка Колобов в одинаково непрерывной заботе о чем-то своем, солеобменном, носился туда-сюда... Больше – с тщательно завязанными мешочками. Меньше – с мятыми бумагами из желтого, в тон своим сапогам портфеля, с которым под мышкой, сделав торжественное лицо, иногда все-таки устремлялся на встречу с товарищем Михайловым Гавриилом Михайловичем – бывшим членом Городской Думы Ташкента, ныне начальником транспортного отдела Наркомата рабоче-крестьянской инспекции Туркеспублики.

В туда-сюда обмениваемых мешочках крахмально похрустывал сахар. По бумагам расплывались позарез нужные фиолетовые подписи. В полупустом портфеле постукивала резиновая печать с деревянной ручкой.

Как всякий ничего не производящий чиновник, он завидовал всякому, кто что-либо производил. А поскольку идут в чиновники люди, не способные ничего произвести, но не лишенные тщеславного человеческого дара чем-нибудь, но – распоряжаться, с чего-нибудь, но – иметь прибыль, ему оставалось одно: брать с тех, кому он служил.

То есть и с еще до конца не осознающего себя большевистского государства, и со всех людей, которых обобщенно называют народом. Это, понятно, производилось лишь во время служебной деятельности Колобова. Вне ее, то есть вдали от конкурирующих глаз, он не брал у народа, а, в основном, только обменивал у него. Не брал, а даже как будто давал ему, этому народу, недостающее. Естественно, в обмен на деньги или какой другой товарный эквивалент.

Если бы на обратном пути удалось проскочить все еще возможный где-нибудь под Оренбургом или же под Самарою небескорыстный заграничный поезд, то в России бы можно было тот сахар или возможную – позже – соль продавать стаканами.

Когда их белый вагон оказывался близок к окнам начальника станции, вагон можно было оставлять в одиночестве. Когда исчезал за черно-кирпичными стенами депо, приходилось, с попеременным сидением среди душных стен, охранять его изнутри. Больше – из-за колобовского беспокойства: не сперли бы оставшиеся мешочки и появляющиеся новые!

Есенин злился и, проходя мимо, слегка попинывал их ногой. Сахарный крахмал возмущенно похрустывал.

Сергей и сам был готов проскулить точно так же.

Колобов неорганизованно бегал. Ширяевец, извиняясь за свое отсутствие, равномерно ходил на службу.

Ожидание новых знакомств скучно затягивалось.

Город спал под пыльно-голубым маревом, струящимся над зелеными стрелами тополей. Спал не открыто, таинственно, как спит какая-нибудь расхристанная новая бабенция в уплотненной – теперь обшей – квартире, из каких-то своих соображений на ночь не запирающая остекленную свою дверь.

Хотелось открыть и войти. Но одному было страшно. Зеленые стрелы, пронзая марииную мглу своими шелестящими острями, сулили неозначенную опасность.

Но, господи, как же хотелось войти.

Спал неизвестный город, раскидавшись по всей своей ширине, голой ногою сбросив с кровати мягкую простыню утреннего тумана. Спал, как, наверное, спит, не запершая за собою дверь таинственная, но вдруг до сбывшегося почти осязания прибившаяся бабенка.

Отвори, войди, овладей и присвой без сопротивления.

И тех верблюдов, капающих слюной, и все те тополя в арабесках листвы, между которыми прячется гурливая воркотня светло-коричневых горлинок.

Слушая, наслаждайся, запоминай и опять и опять – присваивай без конца.

Душно возле вокзала. А в городе, должно быть, раскрытые окна и совсем другие, тонкие, никем еще не истерзанные Шехерезады выглядывают из них, гордо не поворачивая головы никому вослед.

«Еще один день – и я дойду до такой степени, что можно будет ехать обратно, – невесело думал Сергей. – Шехерезада уже вспомнилась. Осталось добавить какого-нибудь мифического Саади, сбрызнуть Хорасаном и опять поездка окупится... Съедят, не узнав, а каково здесь на самом деле?»

Одиноким черным паровоз пропыхтел мимо, шипя паром и прокручивая впустую большие железные колеса с красной и шершавой сердцевинкой.

«Да пропади все пропадом», – подумал он снова и, схватив шляпу, шумно спрыгнул на мазутную шебенку возле рельс. Не вспомнил, закрылась ли за ним вагонная дверь, но не стал возвращаться.

Гремящий тарантас выкатил его на длинную улицу, дотягивающуюся, как сказал, покивав, извозчик, до старого города.

– Иски джува, – кивал он головою китайского болванчика, – Иски джува...

Тарантас прыгал по выбоинам дороги и после каждого подскока, ударяясь о землю, выбивал из трещин кожного сидения тонкие столбики шепчущей пыли.

Ехали не так чтобы долго, но перед мостом через широкий арык извозчик вдруг остановился и, обернувшись к Есенину, кнутом показала далеко за мост, куда-то вперед:

– Иски джува... Там. Старый город.

– Ну так вези...

– Нет, – сказал извозчик. – Слезай гражданин-товариш. Туда не поеду. Улицы не мои.

– А чьи? – спросил Сергей.

– А так... – сказал тот. – Ихние. Не поеду.

И, сказав, отвернулся.

Мост был безлюден, как почти и вся улица за ним впереди. Тополя вдруг исчезли, допустив небу сделаться ближе, опустившись до плоских крыш как будто бы чьих-то домиков. Невидимых, но угадываемых за глиняными стенами, неохотно – совсем на чуть-чуть – раздвинувшихся, чтобы пропустить внутрь себя в жидком стекле струящуюся ручейком эту самую улицу.

Еще можно было развернуться и, вот так прогулявшись, подкатить обратно к вагону – дверь все-таки, кажется, не закрылась... Но разом припомнив колобовские мешочки, Есенин выпрыгнул в пыль.

«Отвори, войди, овладей и присвой без сопротивления...»

Сон не продолжался, но и реальность не обрелась.

Знакомые по картинкам арбы, виденные во «Всемирной иллюстрации» в хорошем полиграфическом исполнении, здесь поражали неточностью форм из-за поднятого ими все того же коричневого марева. Они ползли неторопливо, будто в раздумье.

Большие колеса, в которых невозможно было найти особого по сравнению с малямы, европейскими, механического смысла, скрипели тонко, но не пронзительно – верно, самым надоедало за целый день.

Должно быть, деревья на каждое из них шло раза в четыре больше, чем на одно обычное, малое. И это – при золотой ценности всякого случайного ствола.

Впрочем, в арбе тихо поскрипывало и пошатывалось всего два колеса, вместо неэкономных четырех.

А у отказавшегося сюда въезжать возницы оказывался тонкий вкус: стилистически двухколесные арбы никак не гармонировали с его четырехколесным тарантасом.

Улица длилась, как длится время, длины которого никто здесь не знал.

Ослики бежали неторопливо-быстро с упрямостью танцующего человека.

Когда встречные арбы съезжались друг с другом, вместо того, чтобы искать возможность разъехаться, их арбакеши начинали длинный разговор между собой, жуя зеленый насвай и поплеывая им на сведшую их дорогу. Этого не могло случиться ни в каком Хорасане. Но и на Рязань это тоже не походило.

Шершавое пространство между стенами невидимо существующих за ними дворов больше напоминало улицу, ведущую в баню в мужской помывочный день: никаких женщин на ней не было видно.

Впечатлений опять не происходило.

И без того полупустая улица, без женщин, жизненно не существовала.

Не существовал и он, бредущий с краю ее.

Особенно попервоначалу, когда приходилось отскакивать в сторону от арбакешей, молчаливо, не предупреждаяше, чуть ли не наезжающих на него, будто он невидимый или прозрачный... Но потом, когда появился первый смуглокожий мальчишка, молча последовавший за ним, ощущение изменилось: захотелось пойти быстрее, стать незаметным. Тянуло постоянно оглядываться.

Мальчишка шел за ним с упорством преследователя, Иногда – будто даже и крадучись, подпрыгивая, как таящийся охотник, прячущийся от куста к кусту: это уже к полудню накалившаяся земля жгла его маленькие пятки.

Пространство сузилось до размеров человеческой жизни.

А мальчишка уже сделался не одинок. Подпрыгивающей воробьиной стайкой, только не чирикающей, отчего-то молчащей, теперь двигалось за Сергеем их много больше. И тот, первый, стал среди них неотличим; они были одинаковы.

Есенин ускорял шаг, но они шелестели по пыли, не отставая.

Он пошел медленнее, и они, легко примерившись к нему, пошли точно так же.

От всякого шума и человеческого движения в их сторону и воробьиная стая, взьерошив серые перья, с шорохом и пересвистом давным-давно бы, вспорхнув, поднялась, разлетелась. Эти же стали идти плотнее друг к другу.

И они были приметно видимы, в отличие от него: арбакеши, нет, не боясь наехать, но словно чуя в мальчишеской стае, преследующей чужого чудака, ошущаемую опасность агрессивных волчат, объезжали их стороной, видно, торопясь столкнуться со встречной арбой, остановиться, поговорить и поплевать в пыль изжеванный насвай.

Иногда впереди, иногда сбоку оказывались и другие идущие люди, но они были сами по себе, существовали неотличимо от глиняных стен, от пыли, от улицы, где так заметно обозначался преследуемый нездешний, неазиатский, прохожий.

Движение этих людей было по отношению к нему совсем потусторонним, собственным.

Сергей было юркнул в полумрачное пространство за зелеными деревянными столбиками под надпись, обещающую «Чай-хонэ», однако там оказалось пусто, и белые пиалы невостробованно стояли на столике в углу подле громадного, но отчего-то невзгретого грязно-желтого железного самовара.

Есенин покашлял ожидающе, но никто не вышел, не подошел к вдруг возникшему посетителю, не плеснул золотой зелени чая в выхваченную из верха фарфоровой башенки белую пиалу.

Мальчишки стояли поодаль, на том же нетерпеливом расстоянии, что и во время своего бега за ним. Даже не разговаривали, ожидая, когда он выйдет обратно из пустого, не принявшего его отчего-то полумрака этой как умершей «Чай-хонэ».

Между пальцами босых ног, когда они слегка переминались, столбиками вспучивалась

тоненько выхлестнутая пыль – так же, как и из трещин старинной кожи измученного годами недавнего тарантаса.

И опять они пошли вместе, отвлекая его от одиночества, от возможности видеть этот как будто существующий вокруг него все еще ожидаемый Восток, этот Хорасан, который вполне мог тоже засуществовать, если бы его не мешали вообразить.

«Отвори, войди, овладей и присвой без сопротивления...»

Столбики пыли между грязных мальчишеских пальцев. Сухой фарфор, не поданный с полнотой для жаждущего питья.

Он пробовал остановиться, обернуться – останавливались и они.

Он пробовал идти, и они двигались следом, придвигаясь все ближе, ближе, совсем близко. Что-то должно было произойти.

Улица, наконец, по-настоящему загустела людьми. Это, как он понял, приближался большой базар, впитывающий в себя все живое и выбрасывающий потом все наружу: фонтанчиками людской пыли между пальцами босых ног.

Перед базаром преследователи совсем оживились и, зачерпнув желтой глины с земли, несколько сухих комков запустили ему вдогонку.

Есенин остановился, ожидая их легких ударов в спину. Но комья оказались столь сухи, что рассыпались, не долетев.

«Сейчас они найдут камни потяжелее, – решил Сергей, снова остановившись. – Дома догнал бы, надрал уши. А здесь... Вот так сейчас и запустят».

Он резко остановился, все-таки как бы угрожая. Сведя брови, оглянулся на них – они снова придвинулись.

Надо было идти дальше, но перед ним теперь стала новая преграда. Теперь на его пути замер совсем странный человек с густо окрашенными черными бровями и с большими, подведенными по-китайски глазами, внимательно ворочающимися под тяжелыми веками. Человек был спрятан в выцветшую одежду – шинель не шинель, но явно шинельно-мутного сукна, и в нательную рубаху до самых колен. Впрочем, видимую совсем на чуть-чуть...

Густо обвешанное мешочками, сумками и сумочками разных цветов, деревянными плоскими коробками и железными, на первый взгляд, совсем ржавыми банками, невысокое тело человека постукивало, позванивало, побрякивало в ответ на всякое самое малое не то чтоб движение, но – даже дыхание его.

Есенин почти отскочил, чтоб не стукнуться, чтоб не сбить с ног или же самому не оказаться сбитым.

Человек, опирающийся на палку, и не подумал повернуть головы в его сторону: из-под бесцветных бровей и белых, спаленных солнцем, ресниц его черные беззрачковые глаза в упор усталились на босоногих.

И те замерли, даже словно бы отскочив: так от удара о стенку отскакивают стукнутые об нее во время жесткой игры тяжелее монеты.

Чтобы исчезнуть, рассыпаться, разбежаться, всей прежней стайке хватило меньше минуты.

«Дервиш, действительно, истинный дервиш», – подумал Сергей, встряхнувшись как ото сна. Ему захотелось поблагодарить эту из ниоткуда вставшую спасительную стенку, но дервиш стоял спиной к нему, продолжая убеждаться, что пространство за идущим здесь русским человеком дочиста опустело.

Холщевые его штаны были грязны и еле-еле доходили до шиколоток. Тонкие крепкие ноги тонули в давно не блестящих калошах. А на голом черно-коричневом пространстве кожи, между штанинами и раскаленной резиной калош, побрякивали еще и серебряные кольца тонких браслетов.

«Отвори, войди, овладей и присвой без сопротивления...»

«А может, здешний колдун... Видно, и глаз у него сильно тяжел: вон как поразбежались! Лучше, пожалуй, и мне не видеть... Да все равно спасибо бродяге!»

Он вежливо кивнул грязной спине и вновь зашагал к базару, гудящему нерасшифрованным пока гудом, всех всасывающим и всех выплевывающим.

МАУЗЕР НА ДАСТАРХАНЕ

*...и вновь зашагал к базару, гудящему нерасшифрованным пока гудом,
всех всасывающим и всех выплевывающим.*

Здесьнее солнце являлось не тем, что в России. Оно было кем-то подменено. Отличие ощущалось в его лучах. Собственно, они здесь – выпускаемые, золотые, согревающие – отсутствовали. Вместо них из раскаленного белого круга на белом же небе, размазанно поразлегшемся надо всем, остро торчали почти что различаемые на слух потрескивающие лучины оранжевого и слепящего открытого огня. Непогошаемого до первых расплавленно-мягких звезд.

Еще больше захотелось чаю или же просто воды. Освобожденный от пустого преследования, он не стал себя легче чувствовать, но, наоборот, ощутил тяжесть ног. Все та же бесконечная пыль, невесомая, почти невидимая, тянула вниз, к земле, к себе самой.

Сергей вновь сунулся в полутьму еще одной «Чай-хонэ». И опять наткнулся на пустоту – никого внутри вновь не оказалось, будто в комнате, откуда все скопом уносить покойника.

Не вспомнив о пиджаке, он спиной прислонился к саманной стене, выдернул из нее зеленую травинку, проросшую в горячей шели, пожевал, двинулся дальше.

Не может быть, чтобы и там, впереди, все так же оказалось негостеприимно мертво.

В третье прохладой приглашающее пространство он решил уже не входить. В жизни – не в сказках: третья попытка всегда, пожалуй, столь же неудачна, что и первые две. Если только не на Востоке. Все-таки – если не на Востоке.

– Входи, Сергей Александрович, – позвал его голос из темноты.

Удивившись самому себе, то есть тому, что он не удивился, Сергей шагнул в сторону голоса.

Солнечный свет еще оставался внутри глаз. И ослеплял, не освещая.

– Присядешь?

– Еще бы! – произнес Сергей, медленно приглядываясь к темноте.

Голос оказался знакомым. Петроградским. Но в Ташкенте? Но здесь?

Теперь проявилось и все остальное, постепенно обозначиваясь контурами, тенями, пятнами.

– Конечно, не узнал?..

– Отчего же, – уже ища глазами, куда бы сесть, ответил Есенин. – Отчего же... Первый лорд Адмиралтейства?

Человек, наконец отчетливо обрисовавшийся в приглушенном свете крупную головой с широким поблескивающим лбом, столь же тяжелым подбородком и с придавленными к черепу ушами, засмеялся:

– Не поверю, Сергей Александрович, что так вдруг взял да и узнал... Нет, не поверю. Кто-нибудь показал, что я здесь.

– А вот да и узнал, Федор Федорович! По голосу. У меня на звучание слов слух особый, памятный.

– Ну, с твоим-то, Сергей Александрович, мой не сравнится...

Сказав так, человек слегка вежливо сдвинулся в сторону, хотя мог бы этого не делать. Деревянный помост-супа, поверх которого он сидел, свесив вниз свои лакированные башмаки (хотя на супе положено было сидеть как раз без них, без башмаков, но – подтянув, подвернув разутые ноги пятками под собственный зад), имела еще много места. Не заставленное тарелками, лишь застеленное мягкими курпачами¹, оно допускало еще человек с пяток. Сидел же всего один Федор Федорович Раскольников, недавний еще комиссар Морского генерального штаба, потом правая по морским делам рука наркомвоенмора Троцкого, наконец с июня 1920 года и, выходяло, почти по сегодняшней день командующий Балтийским флотом.

Маленькими аристократическими ручками он быстро приподнял точно такую же,

¹ Курпача – длинное и тонкое, как правило, ватное простеганное покрывало на скамьи и т. п.

как у Есенина, лежащую сбоку от себя шляпу и переложил ее – тоже совсем ненадолго – в сторону.

Освобожденный из-под шляпы, тотчас сонно блеснул тяжестью сжатого в смерть металла серо-сиреневый маузер.

– Остерегаетесь? – скосив глаза в сторону пистолета, спросил Есенин.

– Ничуть, – опять засмеялся Раскольников. – Привычка всегда иметь при себе.

И снова почти накрыл длинноствольный маузер прежнюю шляпой. Словно просемафорил.

– Что скажет таксыр¹? – приложив густо волосатые руки к белому распаху рубахи, приняв сигнал, подсеменил чайханшик.

– Еще две палочки шашлыка нашему гостю...

И уже для Есенина:

– Шашлыки здесь всегда хороши.

– А я, не поверите, совсем сдохнуть собрался. Куда ни зайду – никого, пусто. А если кто и есть, так прячется по задворкам, будто я прокаженный.

Раскольников хмыкнул:

– Так ведь – ураза. Пост до заката. Пока солнце – ни пить, ни есть никому не положено. Зато, как под ночь, ешь и пей всего вволю. Дуй про запас...

– Но как же... – он посмотрел на чайханшика, теми же волосатыми руками насаживающего мягкие куски красного мяса на острые шампуры.

– Да это-то на что? – пальцем постучал по своей шляпе веселый Раскольников. – Я не магометанин, знаешь ли, Сергей Александрович... Привычка.

То, что Раскольников не магометанин, Есенин еще кое-как знал. Да и вся красная Россия вместе с ним.

Любопытнейшая для него, для Есенина, это была фигура. Не менее десятка лет силился он понять и его и таких, как он: действительно ли они верят в то, о чем говорят, и делают то, во что верят? Или же все это вместе одно сплошное политическое хулиганство? Вот такое, как у него самого всегда, например. Неужели и им всем точно так же скучно жить, как бывает ему? Но только он один, он в одиночестве. А они – и объединились, и расшебурили народ оттого, что однажды им сделалось скучно.

В петербургских и петроградских хулиганствах, внешними неробкими делами уверяясь в этом, Есенин означивал себя первым. В петроградских же, революционных хулиганствах вперед – еще прежде обозначившегося знакомства – выставял Раскольникова. Этот соль по мешочкам не распахивал, мучицу из Самары в Ташкент и из Ташкента в Самару не перетаскивал. Этот, по-размышлению, как будто бы оказывался настоящим.

Даже если и заиграешься, не став настоящим, никакая судьба, никакой случай тебя не поддержат.

Всякой самой малой, самой незначительной собаченции стоит почувствовать в голосе, в дыхании, во взгляде стоящего перед ней человека либо страх, либо всего лишь неуверенность, на ее собачий инстинктивный ум приходит одно: облаять, бросить, искушать и повергнуть.

На Раскольникова не бросались. Он костенел в себе собственной настоящестью. Тихого человеческого окрика этого человека, уверившегося в том, о чем говорит, его одного слова, не все произнесенного, оказывалось достаточно, чтобы управиться с самой опасной, с самой расхристанной толпой кронштадских матросов, с вооруженной вольницей, не боящейся ни сухопутного черта, ни морского дьявола, ни даже вставшего на дыбы распропагандированного пролетариата.

Броневые щиты бортов. Тяжелые усы горизонтально торчащих пушек. Мачты, протыкающие небосвод и облепленные металлическими наростами, будто березы – грибами-чагой. Томлением и потом набухшие кубрики-трюмы с покачивающимися постелями-гамаками... Все это годами было главным и единственным домом ничего иного более не знавшей толпы в бескозырьках. Это было их домом. И этот дом были они сами...

¹ Таксыр (узб.) – господин.

Но по его, Раскольникова, слову они открыли кингстоны, путив соленую воду в собственное надышанное пространство существования, чтобы потом плохо и медленно тонущие черноморские корабли еще и в упор добить, дострелить снарядами, раскаленно выплюнувшимися из горизонтальных ими, по сути, в себя же направленных стволов. Они топили свой дом, чтобы он не достался Антанте. Они топили и добивали самих себя.

Он им сказал так сделать.

В Ленине сомневались, в Троцком...

Этот же – настоящий – выстраивал любых горлопанов в молчаливый, веривший ему ряд. И, не вытаскивая свой маузер ни из-под какой шляпы (впрочем, всякий домысливал, что тот, вороненый, все-таки там...), вел их по той дороге, на которую же был поверстан и сам своим большевистским окостенением.

Его самая мелкая цена – девятнадцать вышколенных английских офицеров.

А самая большая?..

Сергей себя тоже считал совсем настоящим. Отличие же крылось в том, что от его настоящести стальные дредноуты не уходили на дно Черного моря, люди не целили друг другу в лоб из равнодушного к ним оружия. Но и они, научаясь, тоже жили так, как он проповедовал им, толпе. Проповедовал о том, что умел сам: они старались любить и разлюбить, как он; старались целоваться, как целовался он, а еще – отругиваться от мерзостей жизни так же гармонично, честно и зло, как это делал он, Есенин, в своих стихах.

И они должны были полюбить этот Восток так же, как полюбит он, – если полюбит... Если хотя бы найдет, обнаружит его, наконец.

В нем жила сила, способная заставить других делать то, что способен был делать он сам.

Хотя у него и не всегда хватало обиденного мужества, чтобы заставить себя стать сильным.

И если бы он выстрелил в себя, если бы он повесился от пьяной петербургской тоски одиночества, – он не сомневался! – самые лучшие из любивших его сотворили бы то же самое. Но он не делал этого, понимая всю силу свою, как, однако, не понимал ее тот же уравновешенный немец Гете: заставив стреляться многих из-за несчастной вертеровской любви, сам же, оставив ее сюжетом собственных книг, чужих жизней и собственной биографии, бросился в следующую подвернувшуюся, выуженную из жизни, любовь.

Разница между ним, Есениным, и неторопливо пожевывающим мясо и попивающим чай Раскольниковым пряталась в существе событий: сила Сергея сгушенно таилась внутри него самого и не выпускалась им наружу, как только лишь через глубины его стихов; сила же Раскольникова действовала наружу, за компанию беря себе в слуги его самого, как раба на галеру.

Первый был волен, второй – нет. Второму нужен был маузер, засунутый под идейную шляпу, обязательный маузер, время от времени приоткрываемый.

Сергей прятал себя, занавешиваясь поступками хулигана, маскарадными масками, танцующими для всех.

Раскольников хулиганил крупно, – распахивая бушлат перед всякими чужими людьми, чтобы всякие видели: вот он я, Раскольников, вот я и есть ваша идея.

Теперь сидел здесь и жевал мясо.

– И все-таки, – спросил Есенин, приблизив ко рту первую свою палочку шашлыка, истекающего желто-прозрачным жирным соком: здесь мясо не сбрасывали ножами с шампуров на тарелки, как это делали в дореволюционных, еще не голодных, ресторациях Москвы и Петербурга, здесь его ели почти напрямую, стягивая крепко прикусанными зубами с длинных неостывших шампуров.

– И все-таки странно вас видеть в этом степном блаженном Ташкенте, в этой совсем не морской Бухарии... Какие корабли вы решили здесь потопить?

– Здесь ничего уже топить не надо. Здесь уже все потоплено. Значит, следует идти дальше.

Приподняв шляпу, он вынул из-под нее маузер и спрятал его под полый пиджак.
– Отсюда? Где все так интересно? – спросил Сергей, пораженный неискренности заданного вопроса.

Раскольников внимательно посмотрел на него:

– Это здесь-то интересно?

Есенин кивнул.

– Нет, брат Сергей Александрович! Есть места и поинтереснее, к тому же – под боком у здешних. Слышал об Афганистане?

Есенин, конечно же, слышал. И даже знал, что англичан оттуда недавно поперли. И что Россия, то есть по-нынешнему РЭСЭФЭСЭЭР, первой в мире признала новую независимость. Впрочем, подумал Есенин, всякий не откажется и от случайного даже попутчика, собираясь идти через незнакомый лес, каким для самоуверенных большевиков сделались все страны, окружавшие эту РЭСЭФЭСЭЭР. Не без удовольствия, но и не без опасения сначала понаблюдавших, как выкидывают из европейских политических зарослей русского царя, а потом осторожно начавших входить в новую дружбу с неизвестно что собой представляющим – то ли сильного медведя, то ли хитрую лису – российским государством.

Вдруг да и устоит... Не силой – так хитростью. Не хитростью – так силой.

Не провременить бы.

Афганцы быстрее умных европейских голов, а впрочем, возможно, что и вполне бездумно, тотчас же кинулись в важные для них договоры с Россией. Неважно, кто там теперь в ней у власти. Важно, что имя – Россия – осталось. С таким поплавком, да и не выплыть в полную национальную независимость?..

– С этого года у нас с ними дальше пошло, почти угадав, о чем подумал Есенин, добавил Раскольников, – дипломатические отношения установили. И я – дипломат.

– Ты? Вы? – забыв дожевать кусок, уставился на него Есенин.

Ничего не расслышавший чайханшик, учтиво приподнялся со своего места в углу и, опять приложив руку к сердцу, подтверждающее кивнул. Похоже, случилась правда.

– Но дипломат... это... это...

– Думаешь: смокинги, приемы, официальное имя... Буржуазное в тебе начало сидит, Сергей Александрович. Царское заблуждение. Вот хочешь – со мной поедем? По-настоящему жизнь увидишь. Не из поезда. И с тобой тоже считаться начнут...

– В Афганистан? Я?

– Ну да! Документы я вмиг выправлю. Имею право. Дособираем здесь посольский караван и – в несколько переходов уже там...

– А как же Шурка? – опять не успев сообразить, что, собственно, такое он говорит, произнес Есенин. – Я к Шурке приехал. К Ширяевцу.

– Мальчишка, – рассмеялся Раскольников, пораженный такой несерьезностью ответа.

И Есенин тоже легко рассмеялся. Однако веселая мысль – а может, действительно?... – уже поселилась. Они оба, смеясь, все-таки смотрели друг на друга теперь очень внимательно и серьезно.

– А что этот твой Ширяевец, он, конечно, тоже поэт? – остановил свой смех дипломат Раскольников.

Есенин, интуитивно почувствовав в этой фразе некоторую иронию не по отношению к Шурке, а как бы к себе, ответил опровергающе:

– Почему непременно поэт? Он на телеграфе работает. Как это теперь называется – советский служащий.

– Вот! – ораторски вскинул вверх свой тонкий палец мгновенно посерьезневший дипломат. – Вот то, что нам тоже очень и очень нужно. Случай – в самую точку. И его, и его ты, Сергей Александрович тоже бери обязательно. Завтра же направь ко мне. Понимаешь, мы этим афганцам только что подарили полную радиотелеграфную станцию. Да на кой черт она им, если работать не научились? За какую ручку крутить и куда что втыкивать – кто им подскажет? Спецы всегда нужны. А тут как раз

ты. И Ширяевец твой из телеграфа. Понимаешь? Пролетарская помощь братьям по эксплуатировавшемуся классу. Пускай пользуются. А то у них, если кто калоши на босу ногу имеет, тот уже и богач. Со станцией, может, лучше жить станут...

И добавил, подумав:

– Коли ничего не угробят.

И еще другое добавил как бы совсем от себя:

– Сами без штанов шастаем, а богатства направо-налево рассовываем. Как будто невесте гостинцы даем, всякою разностью приманиваем: спи сначала со мной, а уж потом и с кем хочешь...

Наконец подытожил:

– Разве что – для пользы революционной. Потому и гостинцами называем, что в гостях у них всем нам быть. Главное, чтоб скорей захотели. Пока есть революционная ситуация.

День потускнел. Солнечный свет медленно принялся перебираться со змеящихся лиц под стеклянные колпаки керосиновых ламп.

Чайханщик заметно стал ерзать в своем, заставленном пиалами, углу.

Пришла пора уходить.

И когда они вышли, продолжая вести только им, по-видимому, сейчас нужный деловой разговор, он словно принял другое лицо. С него непригождающейся теперь шелухой спало прежнее напряжение. Пританцовывая и напевая, при всей своей азиатской тучности, но почти невесомо для самого себя, он заскользил среди стен «Чай-хонэ», среди ее внутреннего двора, среди пыли ближней улицы.

Сдернул тряпку с клетки из ивовых прутьев, где до своей песенной поры неслышно сидела птица – бедана. Расставил по нишам внутренних стен, расписанных красными и зелеными райскими цветами, несколько еще пока не зажженных керосиновых ламп, успев на ходу протереть закопченные прежним вечером их тонкие и пузатые стекла.

Наконец кивнул дервишу, сидящему на противоположной стороне улицы.

– Хорошо? – спросил дервиш.

– Совсем хорошо, – согласился чайханщик, горстями разбрызгивая теплую воду из жестяного ведра на пыль возле входа, на пыль внутри двора...

Пыль исчезала, уходя во влажный запах осторожно, наконец, задышавшей сырой земли.

– Вот она, контрреволюция, – вспомнив про безучастно к ним сидящего дервиша, прервав по-большевистски уверенную мысль, сказал Раскольников и сплюнул. – Говорят, вокруг двора эмира бухарского таких было – пруд пруди. Эмир прикормил. Жаль. Не успели схватить, чтобы кончить. Сбежал, подлец, со всеми своими гаремными б.... Может, в Афгане где... Отыщется. А этот – зажился. Пускай, до поры... Дармоеды.

Есенин оглянулся – «Отвори, войди, овладей и присвой без сопротивления»: две восточных фигуры, стоя друг перед другом, о чем-то вольно и весело говорили.

В глубине оставленного двора, из которого он только что вышел с Раскольниковым, хотя еще и было нежно светло, стало светлее. Это наверняка освобожденный от них чайханщик развел оранжевый ровный огонь внутри круглой глиняной здешней печи – тандыра. Есенин уже знал запах хлебной теплоты от горячих лепешек, терпеливо – до ожидаемой коричневой корочки – прижавшихся изнутри к раскаленной шершавости ее вогнутых стен.

Вечное... Как будто бы настоящее...

Ожившее в своем естестве тотчас, как они вышли, ушли, освободив реальность от своей нереальности.

Цены такому вечному естеству никогда не назначить.

Цену же Раскольникову определили совершенно точно – девятнадцать английских офицеров.

Три года назад английская эскадра, почувствовав свою силу в слабости слабых, не таясь, вошла в Ревель, чтобы, впрочем, не этою силой и не внешним страхом от

даже толком не пострелявших орудий, но одною, пожалуй, английской самоуверенностью захватить в свой броненосный кулак эскадренный миноносец «Спартак» – надежду сделанной неподалеку революции.

Командующего флотом Раскольникова могли бы тогда даже и не узнать: ранги отменены. Те же бушлат над потной тельняшкой, бескозырка с замурзанными лентами и маузер в деревянной кобуре на кожаном от плеча к поясу изжеванном трещинами ремне.

Не этот ли самый? Впрочем, конечно же, нет...

Выдал прежний, теперь, после революции, уже и не свой, однокурсник по гардемариным классам. Выдал не по предательству, но по своей убежденной правде, что первым предал не он, а этот Раскольников, переметнувшись к все презирающей, все разрушающей матросской гольтыбе. Предал существующее прошлое ради никогда не осуществляющегося будущего. Бушлат над потной тельняшкой, бескозырка с солеными лентами на ветру, маузер, деревянную кобурой сухо постукивающий по черной штанине. А мог бы быть тонкий аристократический кортик... Белая слоновая кость в позолоте отделки, две цепочки-обоймы с кольцами и якорек.

О чем говорят те оставшиеся двое?

Дервиш берет в руку почти что огонь – дышащую лепешку из нутра раскаленной печи... Нет, сначала отказывается. Но чайханщик до счастья добр:

– Уже совсем скоро вечер... Аллах всепрошающ. И ты – другой. Тебе можно...

Раскольников тоже все продолжал говорить. Кто бы поверил: «первый лорд русского революционного адмиралтейства», как по-джентельменски называли этого пойманного ими Раскольникова захлебывающиеся от сенсации газеты доброй Англии, теперь шел по старому городу древнего Ташкента бок о бок с русским же поэтом Есениным, продолжая рассуждать еще и об экзотике ближайшего Афганистана. Но если в цивилизованной Англии фотографировали его крепкие ноги в надетых ими же, англичанами, еще более крепких, железом гремящих, кандалах, то в нецивилизованном по всем статьям Афганистане его обязательно примутся фотографировать в черном блестящем смокинге цвета мокрого шелка, за полый которого не спрятать маузер даже и без кобуры.

Как он перенесет такое? Английские кандалы, несомненно, полегче.

– Я все-таки очень рад, что мы, наконец, по-настоящему познакомились, товарищ Есенин, – перехватив взгляд Сергея, смотревшего на его вышагивающие ноги, прервав свой рассказ о чем-то, сказал Раскольников.

– Станный случай... А ведь могли бы легко познакомиться и в Петрограде или же в Москве. Так нет же... Станный...

– Могли бы конечно. В Петрограде меня к тебе, Сергей Александрович, твой друг Ивнев затаскивал. «Пошли да пошли к Есенину...» С палочкою, хромою и голосок не для оратора: попискивающий, повизгивающий голосок. А как заладил, как уцепился – не оттянуть. Смотрит на меня сквозь лорнетик и как пилою картовою пилит: «К Есенину да к Есенину...».

– Это он знал, что под вами машина ходит. Прокатиться хотел. Хромому этого всегда хочется.

Есенин любил Рюрика Ивнева. Наверное, как раз за все эти мелкие маленькие хитрости. А еще больше за вечные его надрывные поиски – и в стихах, и в стихах тоже! – какого-то настоящего самого себя.

Есенин и сам всегда мучился. Мучился, но не метался. Рюрик же Ивнев не мог жить в успокоении. Рюрик бросался в омут самомучительства и, захлебываясь, если выплескивался из него живым, благодарил, но, нет, не Бога, которого время от времени легко бросал, нелегко к нему возвращаясь, но – судьбу внешнюю. Такую, какой она была за окном.

А там разгульно гуляли красные флаги, там, казалось, был весь настоящий мир.

Там, наконец, то и дело мелькал говорливый комиссар Анатолий Васильевич Луначарский, своей правильно подстриженной, не мечущейся во все стороны, интеллигентной бородкой указующий на вроде бы правильность того, что происходило. И только что выбравшийся из омута самопоедания Рюрик Ивнев, только что, наконец,

спасшийся от самого себя, бросался к нему, едва ли не положив ладонь на ладонь, как перед новым архиереем, для целования.

Есенин любил его за все эти поиски, но всегда удивлялся выводам, производимым Ивневым.

Стать личным секретарем Луначарского? Да не глупо ли, не самоубийственно ли для поэта быть вторым при ком-то, кто даже и первым-то никогда не был.

Мотаться в спецпоезде по стране? Как это делает вот сейчас он, Есенин? Тоже, коль не приглядываться, как будто неплохо... Да одна разность. Есенин поехал, словно бы что-то чтобы найти. И в себе, и в стране, и во всем по округе. Рюрик же – в недавнем еще 1919 году – не искал, но уже развозил по весям как будто им одним найденную коммунистическую идею будущего, спасительно для него посверкивающую из глубин очередного, должно быть, омута.

– Так что вот так... – произнес Раскольников. – Если б не другой тогда митинг... Если бы я так тогда не спешил...

– Ну и слава богу, что не получилось. Иначе и не должно было быть...

– Это отчего же? – удивился Раскольников.

– Да мне еще матушка говорила: настоящие, то есть для души, знакомства должны быть случайными. Тогда они к счастью.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ, ЧЕРТ ЕГО ВОЗЬМИ, ВЕЧЕР

*...настоящие, то есть для души, знакомства
должны быть случайными.*

Тогда они к счастью.

– Ну и чучело ты, Серега! – едва продрав глаза, сквозь утреннее прокашливание забормотал Колобов. – Где тебя носит? Целый день места себе не находил. Бежать надо, дела делать, а тут – ты пропал. И я, как дурак, вагон сторожу – когда заявишься... Да и заявишься ли вообще?

Есенин повернулся на другой бок, досыпая.

– Что ли не знаешь, что, бывает, и в Ташкенте постреливают. А уж в горах до сих пор стрельба настоящая идет. Тебя же Бог знает где носит.

Спрятавшись под одеялом, Есенин захотел еще и лихо всхрапнуть, позлив Колобова, чтобы тот оставил его в покое. Но услышал:

– Думаешь, только один я такой, переживающий, что тебя не пристукнули? – делая вид, что злится, продолжал нравоучительствовать Колобов. – Твой Шурка здесь полдня просидел. Очень беспокоился. Но не за тебя, дурака, а за литературный твой вечер.

Байковое зеленое одеяло с фиолетовым штампом НКПС и с сиротскою надписью «ноги», вышитой с крайнего, самого затасканного, боку, зашевелившись, осторожно сползло с насторожившегося уха.

– Мой? Ты не врешь?

– Когда, когда... Вот нынче и назначено. На шесть тридцать. Если до этого вновь не исчезнешь куда-нибудь, где тебя, дурака, и пристрелят.

– Дурака, дурака... Заладил. Типун тебе на язык! – спуская ноги со скамьи, отвечал Есенин, начиная думать о том, в каких словах он расскажет Шурке Ширяевцу о дельном для них предложении, а вовсе не о том, что сегодня предстояло еще и выступать.

– Нет, все-таки... Ты бы предупреждал, Сергей Александрович, где блукать собираешься, – потянувшись, опять забормотал Колобов. – Ей-богу, недосуг до полуночи тебя сторожить.

– Какой из тебя сторож, Колобов! Ты и не учуял, когда я пришел. Так и все твои мешки повытаскивают, не заметишь.

– Мешки? – вспомнив о как будто главном, привскочил Колобов. – Мои мешки?..

Есенин серьезно кивнул, стараясь смотреть в сторону.

За окном, свистя паром и раскачивая всей силой своей тяжести их одинокий белый вагон, пропыхтел идущий на водную заправку железный зверь-паровоз.

Когда же Сергей оглянулся, Колобова уже не было: исчез пересчитывать.

Все хорошо. Только если б не этот литературный, черт его возьми, вечер...

Поэт Александр Васильевич Ширяевец еще во дни слухов, что в Ташкент едет немалый, и, похоже, по-настоящему настоящий поэт Есенин, уже имел поручение от здешнего, серьезно к себе относящегося, но предельно небольшого объединения поэтов – сговориться. Ведь те слышали, к тому же еще и то, что один из их числа, то есть именно он, Шурка Ширяевец, достаточно лично знаком с этим поэтом. С поэтом шумным и, должно быть, для шума же придумавшим имажинизм. Имажинистами числились и некоторые из них, ташкентских. Впрочем, ни называвшиеся этим именем, ни знавшие их под этим же именем, по-гамбургскому счету, абсолютно не ведали, чего же это, собственно, такое на самом деле. Явление непонятное, а потому часто и отрицаемое. Следовало поговорить, укрепиться в направлении, или же – отказать от него, если имажинизм – это всего лишь новая литературно-революционная галиматья...

Александр Васильевич солидно покивал, что знаком, согласился походатайствовать и вышел с собрания пригласивших, ощущая иголками покалывающий холодок страха в спине. А ну как да и откажет? Именно потому, что близко, да еще и по письмам знаком с ним, с Шуркой: к своим с серьезностью никто не относится.

Откажет да и уедет. А ты оставайся на посмешище провинциалов.

Про позорный к нему невыход Блока знал здесь, в Ташкенте, всего он один. Про позорный отказ и невыход к объединившимся поэтам узнают не одни лишь они, но и весь интеллигентно-малый русский Ташкент.

Лоб и ладони влажнели испариной в нервном несогласии с игольчатым холодком.

На дух нужны были Сергею все эти местные поэты?..

Требовался подход с иной стороны. И он образовался.

Ответственный работник просвещения Александра Евгеньевна Николаева, говоря о себе так: «Я была женщина оригинальная, и когда мне на грудь возлагалась мужская ладонь, становилась еще оригинальнее», женщина, ничуть не знакомая ни с каким Ширяевцем, ходящая в мужской толстовке, перепоясанной тонким плетеным ремешком, курящая папиросы фабрики желтых табаков, махорочных, сигарных, и гильзовых изделий, или же 3-й государственной табачной фабрики им. тов. Троцкого, а еще – заведующая детским сектором Туркестанской публичной библиотеки, обладала великою грудью навыкاته и талантом сводить друг с другом людей друг другу же совершенно не нужных. Зато – в нужном ей месте... В квадратной зале публичной библиотеки.

Товариш Николаева, решив, что приезд столичного поэта Есенина как раз новый нескучный повод для подобного, начав все разузнавать, тут же обнаружила, что среди ее коллег тихо существует гражданка Костелова Маргарита Петровна, невеста того Ширяевца, который уж точно не Кольцов и не Некрасов, но все-таки в ближайшем будущем официальный ее, Маргариты, сожитель по двуспальной кровати. А еще, что гражданин Ширяевец уже пил с Есениным вино у себя дома, следовательно, способен либо самостоятельно пригласить друга Есенина на литературный вечер, либо свести к поэту ее саму, товарища Николаеву, с тою же демократической целью. Естественно, узнав обо всем задуманном от своей, возможно, почти что жены гражданки Костеловой, к которой товариш Николаева и направилась для окончательной организации нужного дела.

– Ни за что! Ни за что не пойду просить о нем Сашу, – покраснев, отодвинулась от настойчивости Николаевой оказавшаяся совсем не тихой Маргарита Петровна Костелова.

– Причина? – не уставая всегда быть конкретной, пыхнула синим дымом папиросы «Salve» товариш Николаева.

– Ну не пойду и все... Он хам и пошляк.

– Опять не причина. Хотя, возможно, вам это известно лучше, чем мне... – взбурившаяся толстовка работала ровно – вверх-вниз – как шатун паровоза. – Однако это не известно тем, кто любит его стихи.

– Я их тоже люблю, – отступив от первой линии обороны, произнесла Маргарита.

– О вас речи нет. Вы можете и не приходить. Это ваше дело... – еще одно мутноватое облачко, покачиваясь, всплыло к пыльному потолку. – Но вы обязаны сделать так, чтобы он пришел, а вечер состоялся.

– Попробую, – не отводя глаз от упорно наступающей на нее (вот-вот прижмет к деревянному стеллажу!) прокуренной массы уверенного тела, наконец произнесла Рита.

И Ширяевец теперь, направляясь с Есениным к библиотеке, был нескончаемо рад, что все так хорошо получилось. Есенин мог ему отказать, если бы он шел от себя. Но через него – другим получилось бы нехорошо, если бы отказывать... Отказа и не могло бы получиться.

Еще и не женат, а какая польза от этой милой любимой Риты.

Блок не повторялся.

Обреченный выслушивать подробно всю историю приглашения на собственный же литературный вечер, Есенин шел молча, продолжая думать: сейчас рассказать вдруг отчего-то так развеселившемуся Шурке про предложение от Раскольниковца или же – после ожидавшегося прочтения стихов... Оказывалось, что – после.

Две ташкентские улицы – Романовская и Воронцовская – две юные особы, сошлись на углу, расцеловались и вновь разбежались, оставив на перекрестке за своими каменными и глинобитными спинами длинное одноэтажное здание Туркестанской публичной библиотеки с душевной, мгновенно пропотевшей залой, переполненной приглашенными и неприглашенными людьми.

Впрочем, Блоку все-таки не захотелось быть отомшенным.

Маленькое пространство перед венскими стульями ждало лишь Есенина, но ничуть не его, не Ширяевца. Ширяевца будто и не случилось. Ему кивали, его узнавали, здороваясь. Но к пространству, где уже серьезно, все в той же толстовке, правда, с добавлением зеленого вязаного галстука, символа торжества, словно греясь, постукивала ладонью о ладонь, провоцируя положенные аплодисменты, товарищ Николаева, где в первых рядах сидел весь местный пишущий цвет объединения поэтов, и где, вполне возможно, было оставлено и какое-нибудь малое место ему, поэту Ширяевцу, его не допустили. Набившиеся люди, задерживая дыхание, допускали протискивающегося сквозь них поэта Есенина, но не видели надобности делать то же самое еще и для Ширяевца.

Когда стало тихо и движение ожидания иссякло, вперед вышел невнятный человек, однажды взявший на себя роль ведущего всех здешних чтений, как ему тогда же показалось, по собственному снисхождению к неумелости других.

Ширяевец, видя его, всегда начинал с одного и того же: пытался вспомнить его фамилию, столько раз уже виденную в пролетарских газетах под всякою злободневными стихами, и все никак не мог. Злился, а потому всегда впустую прослушивал и предвзвешивающие, и сопровождающие, и комментирующие слова говорящего.

Хотя, конечно, это могло быть и профессиональной особенностью невнятного человека – выпускать на волю слова, за которыми ничего не стояло.

То и дело, круто изменяемое людьми время научило его говорить перед всякою аудиторией, и говорить так, как будто искреннее его никто никогда не говорил.

Но время, как тот же поэт Ширяевец, никак не замечало его стараний. Он же – старался всюю.

Немолодой среди молодых, он делал все, от себя зависящее, чтобы приобщиться, нет, причаститься от святых для него частиц поэтического искусства. Не под их влиянием, но по собственным внутренним соображениям он стал красить волосы, перестал складывать свои многочисленные стихи в четырехстрочные привычные строфы и, легко вскочив, поскакал по стихотворной лесенке Маяковского. Для него это было

запросто, поскольку он писал не талантом, а грамотностью. Словно вожжи с одной стороны лошадиного крупы везущей его по литературным колдобинам кобылы перекинуть на другую. Главное – чтоб везла.

Его не признавали своим ни местные, вскрикивающие родовыми лозунгами рождающейся страны постреволюционные реалисты, ни интимисты, едва ли не наполовину состоящие из барышень, припублично сбрасывающих с себя ночное одеяло, чтобы всякому, кто желает, продемонстрировать свои, пупырышками подрагивающие синюшные животы и груди с плоскими от неприкосновения к ним выцветшими сосками, ни футуристы, мечтающие о густом дыме заводских труб, слава богу, еще отсутствующим в Ташкенте, ни имажинисты, до сих пор так и не понявшие, кто они есть.

Зато он легко мог стать любым из них.

Даже, пожалуй, и холодеющей от собственной смелости синюшной барышней.

Теперь он тоже был как будто готов вывести этого столичного поэта на откровенный разговор, приблизившись к нему с вопросом о новости, вчера обнаруженной. Услышав из накануне вскользь брошенной Ширяевцем фразы, что новая поэма о революционном предшественнике всех нынешних событий, о Пугачеве, Есениным завершена, и вроде бы даже здесь, в Ташкенте, он приготовился узнать, не азиатская ли скрытая сила Ташкента повлияла на творческий успех? Но не успел.

Увидев перед собой единственный не занятый стул, Есенин выдернул его из первого ряда, крутанул на темно-коричневой ножке и, обернув к себе полукругло гнутою спинкой, оперся на нее и быстро-быстро, почти что сглатывая все положенные знаки препинания, еще даже и через голоса не рассеявшихся среди этой маленькой залы людей заговорил словами стиха:

– Утром в ржаном закуте, где златятся рогожи в ряд, семерых ошенила сука, рыжих семерых шенят...

Теперь слушали тихо, внимательно. Ширяевец, прижатый к косяку двери в конце залы, опять радовался, что все, наконец, случилось, и он добрал к своему поэтическому – среди собратьев – авторитету еще одну немалую толику подтверждением знакомства.

– Это он из старого, – ни к кому, но лишь к самому себе обращаясь, произнес шепотом сосед Ширяевца – беленький старичок в круглых меньшевистских очочках. – Это многими читано...

В рядах впервые захлопали, оплавав судьбу несчастной собаки, зная ее еще прежде или же – не зная: Есенин помнил, что она всегда одинаково действует на большинство. Большинство тотчас впадает в благожелательную умиротворенность, приготовившись к возвышенному поэтическому покою, ненавистному ему до мозга костей, и вот тогда наступает время весело шандарахнуть по этим благостным фигурам чем-либо непотребным, заставлявшим мужчин краснеть, дам восторженно-недовольно уходить в белизну, а барышень и их прибриолиненных кавалеров топтать туфельками, свистеть и восторженно, по-собачьи, повизгивать.

Еще один... два... три... успокоительных, убажачающих стиха. А там и за клистир можно браться.

Полупридушенные жарою лица блестели влажными лбами и бисеринками пота под припудренными щеками, в невидимых складках каждой напрягшейся шеи, на кончиках увлажненных носов. Раскрытые для сквозняка окна сквозняка не давали: с риском выдавить стекла распахнутых рам их закупоривали влажные рубахи и платья рассеявшихся и на подоконниках слушающих людей.

Есенинское построение литературного вечера шло почти что своим чередом. Все выше и выше взлетал его голос. Все влажней и влажней становились его светлые волосы. Уже почти потеряв свою вечную волнистость, никогда не исчезавшую даже и из-под шляпы, они теперь повисшими прядями липли к разгоряченной чтением коже лица.

Он почти что не делал необходимого передыха, бросаясь веселыми словами в восторженные уши пришедших... Вот-вот предстояло разрушить все им же построенное

поэтическое сооружение приготовившимися к лету, подкатившимися к самому горлу живыми разрывами, приготовленным к тому – для всех неожиданным – фейерверком слов. Но, словно проснувшись, словно вспомнив о том, что и он для чего-то здесь существует, воспрянул все тот же невнятный человек, точно, будто нож под живое сердце, воткнувший в паузу между стихами холодный нож своего вопроса:

– Все мы знаем, что Сергей Александрович только что здесь, в нашем Ташкенте, закончил писать новую поэму в стихах про народного героя Емельяна Пугачева. Так не попросить ли нам...

– Не попросить! – оборвал никчемную сейчас речь Есенин. И ему сразу стало скучно. И он сразу увидел, что и зала после этих слов ненужного человека постепенно принялась отходить от словесного морока, под которым бог весть каким образом, не заметив того, только что находилась.

Гришка Колобов, видимо, правильно сделал, что не пошел. «Эка невидаль при ликбезе присутствовать», – по-своему все правильно определил он.

Скомканные платочки, ожив по-весеннему, терли мокрые шеи под воротниками и аккуратненько, самыми кончиками, промокали кожу над красно-подкрашенными засладковевшими женскими губами.

– Вот она суровая жестокость, где весь смысл страдания людей! Режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей, – опять попробовал прочесть свое тихо остывающий Сергей.

И его, замерев, опять стали слушать, стараясь понять, о чем это он говорит теперь? Как будто о хлебе, да вроде бы стих неожиданно стал какой-то другой. Не есенинский... Деревенский-то деревенский, да только сколоченный почему-то вовсе не из избяных бревен и смолистых досок.

– Наше поле издавна знакомо с августовской дрожью поутру. Перевязана в снопы солома, каждый сноп лежит, как желтый труп.

– Это он из Маяковского, – заскучал человек в очках.

– Да о чем вы говорите. Это по-прежнему он сам, Сергей Александрович, только новый. Новый Есенин!

– Ну да. Это о нас. Это политика... – согласился старичок и невпопад похлопал.

– На телегах, как на катафалках, их везут в могильный склеп – овин. Словно дьякон, на кобылу гаркнув, чтит возница погребальный чин.

– Но как похоже на Маяковского, хотя ведь это же, конечно, не Маяковский... – неуверенно, и сначала тихо самому себе, а потом погромче и сидящей близко к нему Николаевой, не смущаясь, что произносит это в середине стиха, наклонился невнятный человек.

– Пусть читает, чего хочет. Народ разберется.

– А потом их бережно, без злости, головами стелют по земле и цепями маленькие кости выбивают из худых телес.

– Нет, это не просто. За этим что-то стоит. Многое, очень многое, как мы все понимаем... Это политика.

Зала душно шуршала, еле-еле, по-банному, распаренно шевелясь.

Какое уж тут для них: «Отвори, войди, овладей и присвой без сопротивления».

О поэзии здесь можно было больше не говорить. Одна поэтическая душа – Шурка, да и тот шарахается от пошлых азиатских красотей к старообрядческой тяжеловесности стилизованного стиха. Клюев, да и только! То пшенички подбросит, то чимбет¹ воспоеет...

Многим отелился Господь, но ведущие литературных вечеров явно не Его порождение. Эти всегда сделают так, что живая литературная душа, томясь их присутствием, отлетает от словесного тела, оставляя одиноким прислушивающимся людям безрадостное звуковое звучание.

С Есениным же случилось сейчас еще большее, не из одних только сторонним

¹ Чимбет (чачван) сетка у паранджи, закрывающая лицо мусульманской женщины. Иногда – и просто платок, поднятый ею до глаз.

человеком объясняемых стихов исчезала душа. Но и он сам вроде как разделялся, раздваивался, делился надвое: на себя самого, читающего перед рядами, и на себя самого, смотрящего с превеликим спокойствием на все возле него, читающего, одновременно происходящее. Он читал стихи и видел себя, произносящего их совсем отдельно, со стороны. Он равнодушно наблюдал за тем, как он сам не в обязательно нужном месте допускал паузу или ни к селу ни к городу вставлял в произносимый текст ненужное там слово, до этого в стихе не существующее. Он видел всего себя, наверное, точно так, как эта самая отлетающая душа видит откуда-то то ли сверху, то ли со стороны свое прежнее обиталище – в смерти распростертое тело.

Скомканную остывающую простыню, вот только что влажневшую от последней испарины. Неразвернутую облатку горького лекарственного порошка, уже не понадобившегося. И кого-то, теперь навсегда чужого, хотя в памяти некогда самого близкого, кто бродит теперь подле холодной кровати нового мертвеца, чистою простынею занавешивая зеркало на стене и останавливая часы с разболтанным боем за пару минут до несвершившегося боя.

Тусклый свет вечера мутновато прогуливался по лакированной черноте концертных туфель Сергея. Рубашка под пиджаком грела спину горячею мокротой, но он читал, его не снимая. И, продолжая отделяться от самого себя, удивлялся: отчего он этого не делает? Отчего мучается, держа – ни для кого – свой московский форс?

Отойдя от себя в сторону, внутренне не переставая вслушиваться в то, что читал тот, стоящий за спинкой стула, он принялся разглядывать залу и очень неожиданно удивился некоторому откуда-то появившемуся числу не здешних, а как будто московских лиц. Да не как будто, а точно. То ли одинаковость приходящих на его стихи одинакова для всех городов похожей благостью выражений. То ли даже немногие, им реально узнанные лица, для малой залы, однако же, смотрелись некоторой многотостью.

Узнавание происходило ровно под голос его собственных стихов – не отвлекая, за него как будто бы говорил другой, беспокойство не возникало, оставляя время дальнейшему любопытству.

Душа отлетела, и он плыл в ней. Ничего небесного в этом не было. Он не воспарял и не надменничал издали. Он просто разглядывал всех со стороны, пытаясь понять: для чего эти люди – и вон тот, и вот другой – сошлись в этой зале.

Нет ничего тошнее провинциальной аудитории, разбавленной пресыщенными столичными лицами. Первые не знают предлагаемого им литературного товара, а потому уверены, что их могут обмануть, подсунув не лучшее. Эти всегда настороже. Вторые же все заранее знают, а потому не сомневаются, что уж их-то не обманут, а потому и совсем уж настороже.

Из знакомых, неожиданно явившихся ему здесь, а не в Питере либо в Москве, первым обнаружился Ванька свет Рукавишников. По возрасту, впрочем, вовсе Иван Сергеевич. Три кучки прокисших волос: две горизонтальных, колючих – усы, и одна вертикальная, взлохмаченными козлиными струйками вниз – борода.

Прячется у задней стены. Отводит глаза. Уверен, что из-за гнутой спинки венского стула, за которой стоит Есенин, его не увидеть и не узнать. И он – прав. Оттуда, издали, действительно, не увидеть.

Но откуда ведать этому Рукавишникову, что отошедший в некоторую от себя сторону Сергей видит его, не отвлекаясь от им же одновременно произносимого. Дурак Рукавишников. Хоть все же поэт, литератор, как ему уверенно мнится.

Оттого и прячется, что стихи ему здесь не нужны. Ему нужен он сам, Рукавишников: давно хочет сделаться Наполеончиком среди по всей России всяких всякое же пишущих. Этот покрупнее да пострашнее невнятного человека. Хотя так же далек от всяческого литературного понимания. Ни для него самого, ни для других это, что удивительно, не секрет. Берет другим – убежденностью, что способен осчастливить всех поэтов, ежели те проникнутся его главной идеей – Дворцом для писателей и всех остальных придумщиков. Всемирным, или Всероссийским – там посмотрим...

Главное, что уже и Луначарский проникся. Осталось поэтов с писателями коммуною осчастливить.

Есенин хмыкнул, припомнив. Спинка венского стула вздрогнула. Пришлось сделать паузу: пусть думают, что поперхнулся.

Невнятный человек протянул стакан в серебряном подстаканнике с неубранною, как всегда у комиссарствующих большевиков, позванивающе торчащею оттуда ложкой.

Отодвинул ладонью. Продолжил.

– Никому и в голову не встанет, что солома – это тоже плоть!.. Людоедке-мельнице – зубами в рот – суют те кости обмолоть.

Нет, этот пришел не за стихами, как наверняка одна треть залы. И не на Есенина посмотреть, как остальные две трети. Просто размыслил: придут поэты и не поэты, соберется вся пишущая ташкентская братия едва ли не полностью. То есть где, как не здесь, с ними перезнакомиться. Полная возможность.

И на кой черт ему он, Есенин.

Дождаться конца недолго осталось, – вот уже и поперхнулся поэт. Отладит свое, а уж тут ему, Рукавишникову, главное бы, успеть... Не эфемерное стихотворчество из-за венского стула лирически пробубнить, но большевистскую мечту им преподнести. Сам Луначарский... И тот не додумался. Он же, Иван Сергеевич Рукавишников, выходит, по государственной ценности, возможно, даже больший теперь человек, чем лысенький толстячок Анатолий Васильевич.

На море оно б состоялось лучше всего, это государственной важности его мечтание. В Москве холода к тому не благоприятствуют. В Питере сырость умучит. Над морем же, если такой Дворец поставить, с залом, конечно же, не такую, как здесь – в титку тараканью, а поболее – в одну тысячу пятьсот сорок восемь саженей с половиною, да-да, с половиною, величественно бы гляделось... Чтоб, культурно сгушась, ходили там все, сколько их ни на есть, лучшие и по нынешнему, и по будущему коммунистическому времени поэты с писателями и художники с музыкантами. Чтоб вокруг всего этого счастья вились бы деревья, все больше южные, яркие, как девичьи сарафаны. А все бы талантливые люди, ходя промеж них, высоко и непонятно беседовали бы. А на их грекоподобных хитонах были б карманы с золотой каймой для бумаг, чтобы все – неподдельно, как на казначейских билетах, на которых бы бумагах они все ими порожденные мысли записывали бы. Но уже так перелопатив, чтоб самому бедняцкому крестьянству они стали понятны. И пролетариату, уже поостывшему к революциям, конечно, тоже.

Так получались новые сады Аристотелевы. Советские сады советских же Аристотелей.

И чтоб женщины тоже в хитонах. Они в них виднее своим естеством, чем в какой-то там поневе. Тут и равенство будет соблюдено. Все-все одинаково. Впрочем, можно и по отдельной даже комнате, саженей по восемь всякая сторона, квадратом таким. Тоже, вот, скрытым напоминанием о соблюденном равенстве. А в каждую – для непредвиденной гигиены – эмалированный таз и синенький железный умывальник, может быть, и с отдельным куском сладкого мыла марки «Нестор». Но это пока не обдумано.

Зато без общего для всех бассейна – никак. Коммуною есть борщи и коммуною же купаться. Кто хочет – пусть и в хитонах, а которые за революцию, те правильнее, чтоб без них...

Есенин все-таки глотнул холодного чая, выдернув из стакана мокрую ложечку и, не зная – куда ее деть, сунул в карман пиджака.

Все они одинаковы: и футурист Бурлюк с деревянной ложкой в петлице, и имажинист Есенин с чайною ложечкой в кармане концертного пиджака...

А чтобы на коммуну Дворца у моря не было нареканий в художническом их дармодействе, они все б сообща исполняли бы своим личным трудом государственные культурные законы по прославлению сделанного для них правильного настоящего,двигающегося к тоже уже возделываемому полезному для государства общему творческому будущему.

– И, из мелева заквашивая тесто, выпекают груды вкусных яств... Вот тогда-то входит яд белесый в жбан желудка яйца злобы класть.

Даже глаза повлажнели от такой выдающейся картины, которая так хорошо нарисовалась на берегу того далекого моря. Можно и поаплодировать. Слава богу, стульями загремели. Не поторопились бы расходиться.

Закончив, он за нагретую рукой спинку в последний раз повертел венским стулом, укрепив всего на одной ножке, потом переставил к окну и наконец уселся впристык к подоконнику – предстояло еще раздаривать собственные автографы. И пока невнятный человек с крашеными волосами метался по библиотеке в поисках непредвиденной чернильницы и какой-нибудь ручки с не совсем скребушим пером, и пока недавние его слушатели едва ли не все уметнулись из залы в узенький коридорчик, где, кем-то назначенный для этой цели, сидел обязательный сторож библиотеки с напутствием так расторговаться есенинскими «Трерядницей» и «Исповедью хулигана», чтоб ни одной книжицы не осталось, Есенин устало вглядывался в ослабевающую духоту сиреневого ташкентского вечера и думал: сейчас сказать Шурке о предложении Раскольниковца или уже по дороге домой?..

Через пять минут оглушенный криками сторож удивленно сидел перед опустевшим расшатанным столиком и, растерянно глядя на кучку бумажных червонцев и россыпь монет (эк, сколь денег на пустяковины понакидали!), вспоминал, что и сдачи-то не всем успел посчитать: гуртом налетели, расхватали и помчались обратно в залу.

Рукавишников терпеливо поглядывал на суетню и мечтательно представлял себе, как все эти люди, судя по всему любящие литературное слово, чуть не бегом помчатся к нему навстречу, когда он им всем предложит возможность осуществить свою поэтическую жизнь пребыванием во Дворце Искусств.

Конечно, могут обидеться, что не им первым, не ташкентцам, предложено окутать тела белоснежно-голубыми хитонами, что им – осуществись в Ташкенте его филиал – становиться все-таки в очередь после уговоренных уже войти в чистую красоту с неземной обнаженностью любви Питера, Саратова, а главное, Ялты... Ну да объяснимся. Важно сойтись, совместиться в единую творческую семью, облепляя собою, пускай даже и в очередь, некое духовное ядро. Вполне возможно, что даже и в его, Рукавишниковца, центральном лице...

Но, черт возьми, этот Есенин... Все строчит и строчит свои дарственные реверансы. Когда только кончит? Хотя, если снова помыслить по-государственному, организационно, они ведь все сейчас здесь распаренно-размягченные, все вроде как из бани. Самое время приобщить. Надо бы первыми их главных литераторов поотловить. Кто там у них... Ширяевец? Вольпин? Лавренев? Или еще есть Джура... Азиат не азиат – бог весть. Нет, азиатов не надо. Зато Анна Алмаатинская, если содрать с нее холшовую юбку, в хитоне намного величественнее писать бы стала.

Иногда скучно вновь обретать себя. Переставать раздваиваться и, с тоской понимая, что ни новые встреченные тобою люди, ни обстоятельно покрутившие тобой и, наконец, отставшие события не изменили мир внутри этого тебя. Не наполнили новым знанием, не раскрасили новыми красками, не напоили новой мелодией жизни. Ты – тот же, сам себе надоевший, сам с собой давно набеседовавшийся, до тошноты сам с собою знакомый. А если к тому же даже и не новое тобою крутило, а старое обволакивало – совсем пропасть...

Вот одиноко сидящий в углу Рукавишников. Удивительно, правда, что не совсем в своем состоянии: не по-обычному трезв...

Или вот счастливо улыбающийся ташкентской встрече, препочтительнейше здоровающийся (чем не чеховский чиновник, хотя и в неясного цвета служилой гимнастерке с темными пятнами у подмышек и, должно быть, обязательным на спине?) вдруг образовавшийся Вася Наседкин, знакомец еще по университету Шанявского.

– Надпишите, Сергей Александрович, в Москве не осмеливался просить, а как я сейчас здесь после военной службы из Самарканда домой, то отчего же со всеми другими счастья не исполнить?..

Вроде бы попросил по-человечески, но усталая рука написала неумное: «т. Наседкину. В знак приязни. 1921. май. Ташкент».

И еще подсовывали, и еще...

Стальное перо, тыкаясь о дно стеклянной чернильницы, начинало рвать тонкую бумагу титула, побрызгивать мелкими кляксами.

– Давай-ка и мне, – произнес очередной из просителей голосом Шурки Ширяевца.

Есенин поднял глаза:

– Шурка! Милый! Тебе-то зачем? Да и сколько их уже у тебя? Растерял, что ли?

Ширяевец покраснел:

– Да не мне. Ей передам.

Есенин не сразу, но все-таки достаточно быстро сообразил, о ком он так нежно.

Вновь цапнул пером по стеклянному доньшку, черкнул по бумаге. И веселые буковки, просыпанные им на белый бумажный лист, мелкими бусинками раскатились по книжкам: на «Треряднице» – «Маргоше С. Есенин. 1921. май. Ташкент», на «Исповеди хулигана», тоже быстро подсунутой Шуркой, – «Маргоше. С лучшими пожеланиями. С. Есенин. 1921. май. Ташкент».

Вроде бы с любовью, а вроде и как с холодком. Сам сначала не понял – отчего так? Потом сообразил: вот якорь, который сулит то ли смерть, то ли новую, отстраненную ото всего, семейную жизнь Шурке Ширяевцу. Жалко его. Без него, без Есенина здесь, стихи Ширяевца походили на настоящие – степные и деревенские. И сам Ширяевец очень походил на стоящего поэта – даже когда занимался искусственной случайкой российских, туманно вспоминаемых, полей и лесов с далеко уже не девственной, кем-то однажды тоже вполне сочиненной и многожды изнасилованной восточной Шахерезадой. То же ведь: «Отвори, войди, овладей и присвой без сопротивления». Овладеть-то овладел, а только не отворилось ему, и он не вошел...

Похоже, не выдернуть его из азиатского нынешнего песка, им, по совести, и не увиденного, чтобы безьякорно рвануть через горы, зубьями каменного забора опоясывающими с юга Ташкент. И, рванув, наново, по-азиатски, зажить в песках, теперь уж афганских...

– А твоих книжек... Ни одной не потерял. Никому читать не даю.

«Наверное, не очень-то по-настырному просят, – устало подумав, вздохнул Есенин. – Завтра так же вот, как меня нынче, станут и Рукавишникову слушать. Что-то он ведь пишет. За чем-то же ведь приехал. Какая им разница. Развлечение, оно и есть развлечение. Пусть и стихами обмотано».

– Где же она сама?

– Не знаю, – соврал Ширяевец. – Вышла, наверное. Стесняется подойти.

Сказал, впрочем, зная: она не пришла на вечер, хотя столько сделала для него. И сейчас он пойдет к ней, и этими двумя книжками, надписанными Сергеем, словно заочно скажет спасибо и привнесет перемирие, хотя не было никаких и ни с кем ссор. И Есенин ничего не знал и не чувствовал из того, что тихо происходило за его поэтической спиной.

– Ну иди отнеси... – сухо сказал Есенин и отвернулся, чтобы посмотреть за окно, где нетерпеливым юношей не юношеского возраста, вышедшим на свидание, туда-сюда вышагивал другой столичный поэт – Иван Сергеевич Рукавишников.

Сиреневое небо уже сделалось фиолетовым. Тоненькая девчонка в черно-красном каком-то длиннющем платье разбрызгивала горстями стеклянную воду, взблескивающую от желтого света окон и булькающую в жестяном ведре. Вода падала на притоптанную у деревянных дверей ее дома желтую глину глиняных кирпичей и испарялась. Сначала почти мгновенно, сразу же, соприкоснувшись... Потом чуть медленнее, неторопливее. Глина начинала темнеть и отдавать иссохшему от жары воздуху запах влажной земли: степи – после исхода истаявшего снега, лесной дороги – после серенького дождя.

Есенин попытался сосчитать прыгающие косички, разбросанные по ее плечикам.

Но они подпрыгивали от ее движения и счету не поддавались.

Отойдя в сторону, чтоб его не обрызгали, остановился после своего хождения и чего-то все ожидающий Рукавишников. Он видел в окошке силуэтный профиль Есенина, смотрящий мимо него, и старался не приближаться к квадрату света на увлажненной только что улице, чтоб не обнаружить себя. Вернее, себя, договаривающегося с кем-то из выходящих. Он ловил их взгляды и даже говорил с ними, и даже договаривался... А когда оставался один – пытался выбить из головы последнее строфы услышанного только что в библиотеке странного, неесенинского, стиха. Строфы не исчезали, а толклись, шевелились, отходили и, тотчас же возвращаясь, набрасывались снова, вертятся внутри Рукавишникова какими-то, им не расколдованными, смыслами:

– Все побои ржи в припек окрасив, грубость жнуших сжав в духмяный сок, он вкушающим соломенное мясо отравляет жернова кишок. И свистят по всей стране, как осень, шарлатан, убийца и злодей... Оттого, что режет серп колосья, как под горло режут лебедей.

Девчонка обтерла руки о складчатые бока худенького платья и ушла за свою дверь, вмазанную в глиняный, тоже впитавший несколько стеклянных брызг, еще не остывший дувал.

Железное кольцо стукнуло несколько раз о непокрашенную доску и замерло еще на тысячу лет.

Если бы он сейчас знал места, где эти здешние русские аборигены умудряются по вечерам по-русски, от всей души, напиваться, он бы тотчас ушел туда. Но идти было некуда и почти невозможно из-за смертельного риска – взять и заблудиться.

МАЛЬЧИКИ С НАКРАШЕННЫМИ ГЛАЗКАМИ

*Но идти было некуда и почти невозможно
из-за смертельного риска – взять и заблудиться.*

Толстый человек Азимбай Пулкан-оглы писал длинные стихи и очень этого стеснялся. Собственно, не того, что они были длинны. Его знакомые по маленькому – восемь километров от Ташкента – городку Келесу люди писали еще длиннее. Садык Магзум, Ишим-ходжи, Букей-ходжи и Мирза-Ахмад Сайид – известные повсюду дастанчи¹ – могли по всякому житейскому поводу под две поющие струны дутара невозмутимо слагать высокие дастаны, всякий раз дружно прерываемые вскриками общего восторга.

Различались эти сложения очень немногим...

Главным образом, голосами. Басовито-рокочуший голос Садыка Магзума, протираемый, правда, не дальше двора, не походил на высокие голоса Букея-ходжи и Мирзы-Ахмада Сайида. У Ишима-ходжи голоса словно бы не было, но зато его дутар, накладываясь поверх произносимых слов пронзительной непохожестью своего, вызываемого Ишимом-ходжи, звука порождал уже даже и не общий вскрик, а тоску каждого по отдельности о странно быстро утекающей жизни, о юности, перебежавшей от тебя к кому-то другому, ее недостойному, о первой женщине, которую если и не любил больше, чем всех последующих, самых любимых, то все-таки любил как-то иначе, не как потом...

Все они пели, однако, о понятном, привычном, одинаково переживаемом всеми же и сейчас – в смутное время всяческих разрушений, стрельбы, одиноких коней, указов и комитетов, и переживаемом когда-то давно – и во времена самаркандских Тимуридов, и во время бухарских Аштарханидов. Их песни были неизменяемы, как

¹ Дастан (фарси) – эпический литературный и фольклорный, часто исполняемый песенно, жанр. В классической тюркоязычной литературе дастанами называют и большие, сюжетно законченные поэмы. Дастанчи – собиратели и исполнители дастанов.

виднеющиеся на горизонте зубцы гор, царапающих небо, да и как само небо, равнодушно покрывающее всех и во все их путные и беспутные времена.

Их стихи были надежны, как старые жены, клетки из ивовых прутьев для кекликов и каменные тропинки в горах: ни вправо не свернешь – пропасть, ни влево – отполированная шаркающими по ней тюками груза, плечами странствующих и лошадиными крупами стена утеса. Но был ли какой вселенский смысл в том, чтобы из века в век наслаждаться одними и теми же словами, пусть и расставленными в чуть ином порядке и отличающимися друг от друга лишь звонкостью или глухотой звука в момент, когда они произносились? Отличием, возникавшим от звонкости и глухоты голоса тех дастанчи, что их выпевали или просто произносили.

Азимбай, внимательно оглядываясь по сторонам, время от времени даже начинал думать, что во всей этой нынешней политической суете, во всех этих, обладающих как будто какой-то идеей, русских, так бестолково и мелко суетящихся на фоне спокойно существующей (и при них) остывающей восточной вечности, что во всем этом обретается какой-то все-таки смысл. По крайней мере, эти русские в своих стихах и газетах понапридумывали много новых слов про многие ранее ни во всем Туркестане, ни в Ташкенте не существовавшие предметы. И они – реальность. Не отмахнуться. Как реальна и обязательна здесь азиатская чилля – сорокадневная обморочность жары, от которой никаким веером тоже никак не отмахнуться и не спастись.

Учиться у них он пока опасался, как и вообще опасался показывать свои стихи. Садыку Магзуму, Букею-ходжи, Ишиму-ходжи и Мирзе-Ахмаду Сайиду в первую очередь. Подумают – девона,¹ раз принялся делать поэтическое дело так, как не принято. Но вот дать их послушать русскому приезжему шоиру² можно было с самым малым риском. Не понравятся – свое непонимание с собою и увезет, никому не оставив на ославление в литературном Ташкенте. Понравятся, – может, и поддержит перед всеми этими заслуженно уважаемыми, но столетиями об одном и том же поющими аксакалами, не дав им возможности сделать его, Азимбая, опасным вероотступником от восточного слова.

Товарищ Михайлов, ташкентский знакомец, тот, что с железной дороги, давно все объяснил ему про заезжего на гастроли поэта. Судя по всему, если и очень талантливого, как говорят, то все-таки находящегося не в фаворе у новой власти, поскольку его парадно не принято.

Смушало другое: как раз сегодня, в день их приезда, через два дома в третьем осторожно, чтобы не перепугать власть, загудели карнай³ и запопискивали сурнай соседского бешик-тоя⁴. То есть через череду невысоких дувалов воссели на почетные места для гостей все те же, избегаемые им, люди: Садык Магзум, Букей-ходжи, Ишим-ходжи и Мирза-Ахмад Сайид; ну хоть бы у одного из них, к его радости, – просто Аллах, Милостивый и Милосердный! – зубы заболели бы или живот прихватило, чтоб не пришел. Так нет же! Все тут, все под боком! Все не вовремя: попробуй не заметишь приметного гостя, а заметив, попробуй не подойди, не изъяви почтения, не порадуешь хозяина встречи собственной же радостью, что такая встреча, волею того же Аллаха, взяла и случилась. Стихи, как и песни, в кармане не удержать. Услышат, когда гости придут. А услышав, вряд ли расслышат...

С этим праздничным шумом, совпавшим здесь так некстати с приездом к нему поэта Есенина, он теперь связывал и еще один свой страх – как это и он сам, зная о бешик-тое, не пойдет на него, тогда как по традиции он не мог не прийти туда, куда пришли все остальные.

К этому страху, усиливая его, добавлялась и мысль, что за ним непременно еще и придут, зазывая отдельно, как заывают здесь обязательно каждого по важности большого человека. А он, знающий языки – арабский, фарси, русский и даже чуть-

¹ Девона – человек не от мира сего, сумасшедший.

² Шоир – поэт.

³ Карнай – духовой музыкальный инструмент (труба из латуни длиной около трех метров с большим колоколообразным раструбом). Имеет низкий звук.

⁴ Бешик-той – праздник в честь новорожденного. Бешик – детская колыбель.

чуть (с недавней войны, где случай по-всякому поворачивал) еще и английский – именно к таким и относился.

Шелковый зеленый халат, густо исшитый золотой блистающей нитью, шелковая же тюбетейка, остроконечно торчащая венчающим шишаком, кручено обвязанная тончайшею светлою тканью... И вечная важность чалмы со спускающимся на левое, изумрудно-отсвечивающее плечо, длинным белоснежным концом... Такие одежды тоже облекали его собственной дородной солидностью.

Двое мальчишек, учась хлебосольству, помогали ему быстро и молчаливо, как положено перед старшими, подтаскивая хворост под казан с запущенным пловом, расставляя на русском столе под почти сросшимися чинарами голубые ляганы¹ со светло-коричневым, чуть пожухлым, а все-таки сахарно-сладким прошлогодним виноградом да еще стеклянные русские же стаканы. Из них, как решил Азимбай, и как оказалось на самом деле, гораздо удобнее, чем из тонких и малых фарфоровых пиал, пить шампанское, ящик которого он заботливо приготовил.

Третий мальчишка, присев у бурлящего арыка, куда для охлаждения уже были опущены зеленые пузатые бутылки, старательно отлавливал из воды отклеившиеся мокрые этикетки, чтобы потом, по извлечению шампанского, вновь аккуратно наклепнуть их на зеленое бутылочное стекло.

Еще были женщины, подметающие двор. Одна – всюду записанная как официальная жена Азимбая. А вторая – как бы ее сестра, всеми так называемая, но всеми же и понимаемая как младшая жена хозяина; приход русских давно научил их жить тайно. Обе они тотчас исчезли в глубине большого дома, лишь только тарантас с гостями подкатил к резным воротам Азимбая и почти мгновенно, почти без всякого промедления, был впушен во двор, всосав за собой на подметенную и политую землю живое облако плотной степной пыли, накрывшей всех.

– Ты все хотел настоящую азиатчину повидать. Вот мы и приехали, – не глядя на Есенина, но весело рассматривая зеленый халат, произнес Колобов.

– Дурак, – так же, не глядя на него, но приветливо – на хозяина, почти неслышно бросил Колобову Есенин.

Азия хороша. Азиатчина будет похуже. Но их всегда все путают. И любящие здешние края, и ненавидящие их.

Но, действительно, может, хоть в этот узбекский двор девственная Шехерезада заживала?

Поскольку сюда быть договаривались через него, Колобова, он и здесь чувствовал себя первым по важности. Первым же он и выпрыгнул из тарантаса. Правда, чуть не свалившись, – желтый портфель с печатями и бумагами, сопровождающая его повсюду ценность, занимал ту руку, которая могла бы помочь удержаться в равновесии.

Но устоял.

На Востоке следует жить постепенно. И по тому, как этот человек с портфелем суетливо укрепился на земле первым, Азимбай Пулат-оглы понял, что перед ним не поэт. Но не походил на поэта и второй из тарантаса, по виду мальчишка с клетчатым носовым платком на голове – четыре узелка по краям, прятавшим в золото выцветшие, лохмато кудрявые волосы, а еще – голубая рубаша с двумя отстегнутыми пуговицами под горлом и с рукавами засученными, а еще – мятые брюки в бекасамовскую полоску и матерчатые штиблеты с дырочками по краям...

Был еще третий, под уздцы захотевший свести лошадей в тень, но освобожденный от этого молча забравшими повод мальчишками. Но этим третьим был Михайлов, маленькое лицо которого вполне умещалось за круглыми стеклышками очков, Азимбаем привычно узнанный, следовательно, читать стихи надо будет перед золотой шапкой волос того, молодого, он-то и есть поэт Есенин.

Отвечая Колобову, Сергей почти наверняка знал, что нет никакой Шехерезады,

¹ Ляган – празднично расписанное большое керамическое блюдо.

больше того – никакой Азии и здесь тоже, пожалуй, ему все-таки не обрести. Он начинал понимать, что ее вообще не может быть ни для русского человека, ни для всякого нездешнего. Ну не в шелках же халата пряталась эта Азия, не в белоснежных же складках наверченной плотно чалмы! Во всем этом большом зеленом дворе ее никак было не найти. Она исчезает от взгляда всякого постороннего, сделавшего наивный шаг к ней навстречу. Исчезает струей воздуха, всколыхнутого исчезновением точно так же, как исчезли женщины Азимбая, едва лишь отошли в стороны чинаровые створки его резных ворот, впуская гостей.

Азия внешне гостеприимна. Но в этом гостеприимстве она прячет себя.

Можно целые годы изживать себя в стенах любого здешнего туркестанского дома, приветившего тебя, и ничего не узнать больше того, чем чужаку будет дозволено быть узнанным. Это русский мужик уступит тебе даже и собственное место на теплой печи или, согнав на пол всех своих мал-мала меньших, отдаст тебе их лавку для твоего гостевого сна. Он, поди, и женку свою в кокетстве перед случайно загостившимся гостем не остановит, даже и подначит, когда это выйдет к месту. А поколотит, а за волосы отдерет – это потом, в семейном уже одиночестве, когда она уже не поймет и не вспомнит, за что?!

Именно сейчас, когда это было так необходимо – «Отвори, войди, овладей и присвой без сопротивления» – привычного раздвоения не происходило. Происходило противоположное, всегда настигавшее Сергея неожиданно, но определенно. Заключалось же оно в резком сосредоточении (неужто влияние азиатское подтолкнуло?), когда невесть откуда налетевшие образы, вертясь всепоглощающей словесной или даже просто красочною воронкой, втягивали его в себя, утапливали, лишали внешнего воздуха, мешали всплыть на поверхность реального мира. И тогда он хватался за неслышные запасы того воздуха, тех впечатлений, которые однажды вжились в него, вошли, прирастились и проросли. Только ими тогда ему оставалось дышать, чтобы не задохнуться: так писались стихи, и совершенно точно так же думалось о серьезном. О той же Азии, например, высказывающей даже из сомкнутых вокруг нее рук, как, присев, высказывает из них тело смеющейся девушки с гладкою кожей шоколадно-отполированного дерева... Шехерезада?

Мальчишка с зачем-то подкрашенными глазами лил ему на руки серебряный холод воды из серебряного же кумгана. Холод ее на мгновение, всего на мгновение, помог очнуться...

Как он очутился здесь? Зачем это? Кто это? Он?

Открытое шампанское, шурша разбрызгивающейся пеной, летало над столом, над чередю уже поднагретых солнцем стаканов.

Он же продолжал думать, продолжал понимать то, что происходило. Не сейчас. Не вот только что. А всегда, когда к неазиатскому человеку приближалась эта закрытая Азия. Ведь что происходит... Это только русский поэт будто тот же, искренний до последнего русский мужик, станет рвать себе душу словами пишущегося стиха, в плач раздирать на себе рубаху, бросаясь в толпу не с обнаженной, как в Европе, но с открытой голою грудью. Станет открывать себя со всею своей беспросветной любовью, с накопленной жизненной грязью, с откровенностью призываемой смерти, как никто, никогда и ни в кои веки не открыл бы себя.

Открывать себя словом – заниматься самоубийством, проклятым во Христе.

Открывать, чтобы назавтра, записав на клочке бумаги не без крови и не без следа порожденные стихи, тут же и потерять их. Да еще и понасмешничать над собой, над глупой своей откровенностью.

Нет, Азия так не жила. Должно, и стихи свои от своей, ото всех здесь закрытости с подобной похожею откровенностью писать никогда бы не смогла. Она всегда себя прятала в красочную радугу цветущих цветов, предельно сладко-пахучих, розово-розовых. Она вселяла себя в слабые грудки сереньких птичек-соловьев, и соловьи тотчас обретали несвойственную им яркость трепещущего звука, сразу же начинавшего

собственное существование уже отстраненно от них. И каждый маленький бульбульча – соловей – во всех восточных стихах сразу же становился настоящей непомерно красивою жар-птицею, азиатским павлином с фиолетово-изумрудным, распахнуто веерным, приманчиво колышущимся хвостом. Готовою формулой. Печатью, прикладываемой к любви. Печатью, переходящей из рук в руки, с листа рукописной бумаги на книжный, арабскою вязью прорисованный лист, на текст о двух вечных героях – несчастно мучающемся Фархаде и сладко страдающей Ширин.

Они – это общее для всех. Чтобы рассказывать о себе через чужих и прятать за ними свое. Даже самый лучший здешний поэт ограждает свою истинную искренность общими образами, глиняною стеною – дувалом, за которым никто не увидит, как он там по-настоящему жив. Не услышит и не прочтет.

Впрочем, возможно у их хозяина Азимбая все это не так. Он ведь тоже (Михайлов предупредил) пишет стихи. Да, кстати, Мариенгофа! – вот кого напомнил подкрашенными глазками юркий мальчишка. Точно так же когда-то подкрашивал их и он, Мариенгоф, весело иногда говорящий, что любое обобщение неверно. Наверняка украл чью-то мысль...

Может, эти-то стихи родятся другими. Время-то уже давным-давно вывернуто наизнанку. Хотя... Опять-таки не здесь, не на Востоке.

Но посмотрим...

Еще один день, покачиваясь, уплывал в никуда.

Быстрое постукивание по натянутой коже дойры¹ все быстрее и быстрее закручивало в танце тонких мальчишек с накрашенными глазками. Далекое, похожее на эхо, приглушенно-ответное ритмическое гудение, кажется, немного беспокоило Азимбая. Он то и дело поглядывал то на пальцы и ладони мальчишек, барабанивших по гудящей коже, то на запертые резные ворота двора, будто боясь, что они распахнутся. И Михайлову, похоже, было не по себе. Но этот, ерзая на своем стуле и облизывая липкие после шампанского губы, глядел только лишь на мальчишек.

– Чего это он? – спросил Есенин у Колобова.

– Да боится, что на службе дознаются, что он на танцы бачей ходил смотреть. Запрешены ведь они, эти танцы...

– А как же...

– Радуйся. Это хозяин наш для тебя их повывел. Ты ведь здесь гость почетный. Хотел Азию, вот и получай. Для тебя ведь так раскрасились, сучьи дети. Радуйся, – почти с нежностью повторил он.

Развешанные на деревьях птичьи клетки, плотно покрытые разноцветными тряпками, хранили внутри себя настороженную тишину. Но всякий раз, когда новый, плавно танцующий мальчишка, туда-сюда поводя накрашенными глазами, проплывал мимо, даже не задевая, внутри клеток слышалось живое трепыханье спрятанных там под тряпками кекликов или перепелов. Они пугались невидимого ими движения, шелеста раздувавшихся рубаш, больше похожих на женские платья, и неожиданно резкого разбрасывания в стороны тонких рук, выпархивающих из широких рукавов женских одежд живущим телом вспорхнутых птиц.

Толстый человек в хорезмийской барашковой шапке, похожей на слегка приплюснутый горшок, осторожно стоя в стороне от танцующих, то ли читал, то ли пел сопровождающую этих танцующих медленную песню. Монотонно вытягивая слова в какой-то длинно-единый ряд, поводя звуком произносимой им песни то вправо, то влево при вовсе немзыкальной помощи голубого фарфорового блюдца, то подносимого ко рту, то убираемого от него, он, казалось, был занят своим собственным, не зависимым ни от кого делом.

Есенину человек не нравился, звуки из-за своей непривычности европейскому уху хотя и скользили мимо него, не достигая, но следить за мальчишками изрядно мешали, весьма раздражая.

¹ Дойра – музыкальный инструмент вроде бубна.

Выстукиваемый дойрою ритм убыстрялся, убыстрялся, уже даже будто бежал, сократив пустоту между звуками до невидимой, почти не улавливаемой ухом паузы, переходя в гуд, гудящий почти без разрыва...

Но, будто ухнув о стену, смертельно разбившись и умерев, он разом оборвал свой давящий на уши стук. И тогда стало слышно, как быстрее прежде бывшего громкого звука рвется из груди раскрасневшихся мальчишек, казалось, теперь навсегда босыми пятками ввертывающихся в землю, их неостановимое дыхание. В мертвом молчании, оторвавшись от ненужной им теперь музыки, быть может, и от самих себя. До смазывания собственных контуров, до ухода почти в беспредметность от никаким теперь глазом не уловимого движения они вертелись друг вокруг друга, как вертятся, тоже никем в работе не видимые, но все-таки существующие, деревянные пропеллеры на самолетах-бипланах.

Казалось, им никогда не остановиться. А если и остановятся, то упадут, не удержавшись в вертикальных проблесках и струениях, и останутся лежать неподвижно, выдохнув из себя в танец всю свою дышащую жизнь, не оставив ее даже в капельках невыступившего – как будто из-за смерти – холодного мальчишеского пота.

Боязно было вздохнуть, скрипнуть стулом и пошевелиться – разбудятся и упадут.

– И теперь я тоже... Стихи буду читать, – сказал Азимбай Пулат-оглы, и все вздрогнули, будто тремя резко прозвучавшими словами разбудили и их: и Есенина, и Михайлова, и даже забывшего, что в гостях надо мудро болтать, авось и дело от этого выгорит, разомлевшего Колобова.

Начал он тихо и торопливо. Всем даже не показалось, но все тотчас же почему-то сделались убежденными: вот-вот появится кто-то, кто оборвет это чтение, отодвинет от Азимбая слушающих и начнет составлять протокол.

Толстый человек, опустив на глаза свою хорезмийскую шапку, похоже, подремывал.

Ни песен, ни звуков карнаев не доносилось и из соседних дворов. Отпелись? Отыгрались? Ушли?

Азимбай понемногу читать стал быстрее, торопливее, заглатывая внутрь себя непонятные ни Колобому, ни Есенину, но все-таки угадываемо поэтически выстроенные узбекские слова.

Читая, он смотрел не на слушающих, а куда-то в глубину пространства, несомненно существовавшего за створками закрытых ворот.

В некоторый момент Есенину показалось, что Азимбай дождался тайно ожидаемого. Снаружи как будто расслышались голоса, тоненько прозвякнули медные колечки, рассыпанные по окружности невидимой дойры, похоже, неподалеку несли, но неосторожно кто-то откашлялся.

Азимбай стал читать совсем быстро. Даже Михайлов, пытающийся перевести Сергею смысл отзвучавшего, уже не догонял убегающих вперед него слов. Наконец, совершенно отстав, он перестал холодить мокрыми бормочущими губами есенинское ухо и замолк окончательно.

Азимбай на ходу посмотрел на него, но не остановился...

Произносимые слова торопились наполнить собою, если хотя бы и не весь окружающий мир, то по крайней мере этот живой гостеприимный двор с прячущимися по углам раскрашенными мальчишками с женскими лицами, угадываемо взглядывающими вниз из-за темного стеклянного окошечка, спрятанного в глубине балахоны. И все это тоже могло вовсе исчезнуть, потому что прохладным ветерком задышал во все влажные разгоряченные лица посмотревший на них тоже откуда-то сверху равнодушный ко всему вечный азиатский вечер. Но его быстро отогнали, воткнув в нишу стены и в искусственное дупло старой чинары два пахнувших нефтью и горящими тряпками ровно затрещавших факела.

Шампанское оказалось выпито, слова произнесены. В ворота стучали.

Азимбай, услышав, не сразу остановился. К этому моменту разбег чтения был

взят им немалый. И, прежде чем оборвать себя, он не то удивленно, не то вопросительно взглянул на Есенина. Не зная, что делать, Есенин молчал.

Паузу оборвал Колобов, ловко, как ему показалось, поймав этот момент для аплодисментов. Ладоши захлопали.

Со стороны улицы почти исчезли человеческие голоса. Зато карнаи взывали бизоньими голосами.

Мальчишки бросились распахивать створки ворот. Новые трепещущие факелы огненными всполохами втекли во двор Азимбая, разметывая прыгающие черные тени по всем сторонам освещенного праздника.

Еще переговаривались, знакомились, приветливо хлопали друг дружку ладонями по спине, а весело проснувшийся толстый человек с голубым блюдцем у рта, не глядя ни на кого, но видя всех сразу, уже затягивал первые строфы древнего шашмакома,¹ понятного и любимого этими всеми, кроме, пожалуй, принимаемых русских, один Аллах ведает, для чего-то делающих вид, что слушают, понимают и что им нравится...

Азимбай больше не подходил к ним, вежливо занятый новыми гостями – Садыком Магзумом, Букеем-ходжи и Мирза-Ахмадом Сайидом.

Можно было теперь уезжать, но именно теперь этого не следовало и невозможно было сделать. Какого-то обязательного прощального разговора все еще не состоялось.

Михайлов бегал туда-сюда между всеми. Но попадал то на длинную песню, которую было не перебить, то на слушающих вдруг ее не откликающихся ни на какой его вопросительный взгляд. Наконец ему надоело мешать всем, он отошел в сторону, стянул с носа очки, почти не спружинившие тонкими железными дужками, и стал протирать их с такою же заинтересованностью, с какою только что бегал между несвязно живущими, разными людьми. Более всего его удивляло, что и Есенин как будто стал внимательней слушать всю эту длинную и однообразную восточную песнь, состоящую, однако, не из одной, а из многих выпеваемых. То, от чего стремился почти что совсем избавиться Азимбай Пулат-оглы, жило, не боясь никакой и никому, кроме Азимбая же, невидимой угрозы. Откуда-то из столетий возникая и куда-то в столетия уходя.

Уезжали как-то незаметно ни для самих себя, разомлевших и полусонных, ни для хозяина с его утомившимися длинной музыкой и некороткими песнями гостями. Тоже разомлевшими. И точно так же полусонными. Прощались, бестолково шумя, как прощаются на Руси, отгремев на застолье. Но торжественно, через добрый строй выстроившихся до ворот остывающих людей,жимающих твою протянутую руку двумя своими ладонями сразу.

Встречный ветерок покалывал холодом, но от невидимой в темноте земли, бесшумно принимающей движение колес тарантаса, все еще поднималось тепло вчерашнего уже дня.

– Ну и что мне ему сказать? – хриплым непроснувшимся голосом спросил Михайлов, протирая платком очки, запорошенные теплою пылью.

– Стихи плохие, но их можно печатать, – зевнув, скучно заметил Есенин.

– Отчего же плохие? Ты ведь не можешь этого знать. Языка их не понимаешь... Нельзя же все-таки без перевода, – пробормотал Колобов.

– Отчего плохие?.. Да оттого, что в них два раза помянуто одно слово – «паровоз».

– И что? Это плохо? Так отчего же тогда их можно печатать?

– Так оттого и можно по-нынешнему, что – «паровоз»... А музыка есть, есть... Хотя и странно.

Мир спал, присыпанный звездами.

¹ Макама / макомы – собрание; слова, произнесенные на собрании (араб.) Жанр в арабской и персидско-таджикской средневековой литературе, близкий к европейской плутовской новелле. Ритмизированная проза с рифмами. Объединялась в песенные циклы. Шашмаком – любимый в Средней Азии цикл песен-рассказов.

– Слушай, Гришка, а ты не знаешь, Шехерезада в здешних местах тоже жила? – толкнув засыпающего Колобова локтем под бок, спросил вдруг Есенин.

– Кой черт, жила... Она и там, где ты думаешь, никогда не бывала...

– То есть как? – воздев очки на маленький нос и укрепив их дужками, притянутыми к ушам, поинтересовался Михайлов. – А откуда же она тогда?..

– Да от ума, – не открывая глаз, пояснил Колобов. – Сначала какой-то средневековый литератор, вот навроде Сережки, для «Тысячи и одной ночи» ее сочинил. Потом Римский-Корсаков мысль подобрал, своей музыкальности прибавил... Всю эту Бухарию они и придумали.

– Так ты думаешь... – взглянул на него сбоку Есенин.

– Ничего я не думаю, Сергей Александрович... Лучше толкни Михайлова, похоже, уснул. Так и в арык вывернет.

– Я не сплю, – еще более хрипло ответил тот. – Но все одно надежда только на лошадей, что дорогу углядят... Протирай не протирай очки – ничего впереди не видно. Тьма египетская.

САМАРКАНДСКАЯ БУХАРИЯ

*Протирай не протирай очки –
ничего впереди не видно. Тьма египетская.*

Справедливо упорствующий в истине и от этого постаревший проповедник ислама Куссам ибн-Аббас после неторопливо и несуетно произнесенных для всех толкушихся подле него жителей Самарканда проповедей впал в задумчивое, не положенное ему расстройство. Понимание им, как ему казалось, мира если и не нарушалось, то все-таки и не укреплялось, и не улучшалось, и не создавалось так быстро, как ему изначально было предписано укрепляться, улучшаться и созидаться в вечности.

Все девяносто девять имен Аллаха – велик Он и славен! – перечислил Куссам ибн-Аббас с превеликим почтением в неисчислимом количестве произнесенных им проповедей. Но эти, погрязшие в язычестве самаркандцы, выслушивая, не торопились обращаться в единственно истинную веру. А стоило ему только чуть пригрозить высшими карами не только там, в Небесном раю, куда не быть им допущенными и где без них огорченно просуществуют стеклянно перезванивающиеся арыки чистой воды, мягкие гурии, всегда доступные своими заботливыми телами, и сладкие плоды желто-оранжевой золотой хурмы на вечно зеленых деревьях, но и карами близкими, возможно, вполне земными – с отрубанием голов, увеличением дани за это языческое заблуждение и с дополнительным постоем солдат-сарбазов в их маленьких дворах; стоило ему только пригрозить, как упрямые самаркандцы тотчас хватались за свои отточенные короткие ножи.

Необходимо было долгое время, чтобы они не только забыли свое прошлое, но и уверовали в то, что до них все происходило неправильно. И что вот только теперь началось истинное. Но для этого нужно, чтобы из них исчезло самое вечное, что только может жить в человеке – память. Сколько же новых, цепочкою выходящих из теплого материнского чрева на холодный земной свет, сотворенных и предопределенных волею Аллаха, Совершенного Создателя всего, сколько же их, новорожденных людей, должно было сменить друг друга, чтобы их вечная память перестала быть вечной и сменилась бы на ту, что начала бы жить с ними невечною правдой наступившего дня? Такого не мог знать даже он, Куссам ибн-Аббас, волею Аллаха знающий едва ли не все обо всем этом мире, поскольку все-таки обладал великой и единственно истинной истиною... Но он обязан был такого дожидаться и такое увидеть. Для этого же следовало долго, очень долго существовать, отвернувшись от медленно протекающей

мимо него человеческой жизни. Не глядеть на нее, не слышать ее шевеления, но дожидаться неотвратимого главного, пока все-таки где-то затерявшегося момента...

– И тогда он снял со своей шеи свою голову, голову мудреца, взял ее себе под мышку и ушел вместе с нею в свою пещеру. Дождаться дня своего возвращения к нашедшим истину и исправившимся людям.

Драгоман-переводчик сурово взглянул на слушающих его, откашлялся и закончил:

– С тех пор народ называет его «вечным царем» и стыдится за себя, что еще не достиг совершенства и все еще не достоин встречи с Куссам ибн-Аббасом, мир ему и благоволение...

– А вам, Сергей Александрович, никогда не хотелось вот так же взять и уйти от людей? Куда-нибудь скрыться. Хотя бы на короткое время... – о том же, о чем Есенин и сам сейчас подумал, опередив, спросила дочка Михайлова Леночка.

Представленная ему как Елена Гавриловна тотчас же после нового его выезда из Ташкента в новое путешествие, куда из-за строгой железнодорожной службы сам Гаврила Михайлов не смог поехать, она стала для Сергея «Гавриловой дочкою» за глаза, и «Леночкою» в момент обращения.

Новой же точкой путешествия теперь сделался Самарканд.

Двадцатилетняя Гаврилова дочка тоже носила белую панамку, как почти все девицы Ташкент-города, была скучно серьезной и длинным, красно-синим, с обеих сторон заточенным карандашом «Копиручет» заносила услышанные от драгомана слова в малую под черною кожей альбомную книжицу какого-то еще добольшевистского образца.

– Нет, не хотелось бы, – сказал Сергей и, пожалуй, соврал. Вернее, внутренне понял, что на самом-то деле все происходит наоборот. Что он то и дело, ото всего уходит. Со стороны вроде бы двигается навстречу. Ташкенту. Ширяевцу. Раскольникову. Теткам из библиотеки. Этой вот самаркандской Бухарии. А если вглядеться по-настоящему... то бежит.

Несколько дней назад, когда Колобов сообщил ему, что дал указание перегнать их белый инспекционный вагон в Полторацк,¹ он затосковал, что опять дышать паровозным дымом бог весть зачем. С Шехерезадой уже давным-давно все ясно, – обманула и не открылась.

Нет... Иначе...

Может и открылась бы, даже непременно б открылась, если бы была и существовала. А так...

Дергаться с места в некий Полторацк, чтобы обнаружить, что там тоже есть и библиотека, и свой Шурка Ширяевец, не любящий имажинизм, поскольку никак не способен понять, что он такое?..

Но оказалось, что еще до Полторацка, на полпути, синею сказкой стоит минаретный Самарканд. Ни туда не минешь, ни обратно. Единственная железка – через него.

– Не для чего туда заезжать... – сказал Колобов, предугадывая решение Есенина. – Стихов про верблюдов уже достаточно написали. Слава богу, есть что почитать.

Тем не менее, так и не поняв поэтических причуд, он все-таки согласился ссадить его там на пару-другую дней. До своего возврата через тот же Самарканд.

– ...Так как же? Сергей Александрович? – напомнила о себе Гаврилова дочка.

Есенин пожал плечами.

– И мне не хотелось бы, – уверенно поторопилась сказать Гаврилова дочка. – В момент, когда приближается мировая революция...

Драгоман прищурился, вслушиваясь.

И Есенин тут же вспомнил, что еще не принял решения: ехать ему с Раскольниковым или же поползти туркестанским поездом обратно в Москву? И что Шурке Ширяевцу все еще ничего не сказал, тоже вспомнил. Да не потому не сказал, что решил побережь телеграфиста для провинциально обидчивой библиотекарши... Бог с ней!

¹ Ныне – Ашгабад (Ашхабад) – столица Республики Туркменистан.

Маргарита и так ни за что своего Шурку-поэта, уверен, не отдаст. Ноготочками вцепится, узнав про Афганистан. Обидчивые – это самые злые. Потому и обижаются, что любят себя, а ничуть не других. И воюют за эту любовь до смерти. А что если он до сих пор не сказал ничего только лишь потому, что побоялся: вдруг да и согласится Ширяевец... А тогда... Что тогда? Тогда – самому ли себе не признаться – вся его, есенинская, впрочем, до конца пока не определившаяся охота ехать с Раскольниковым, кончится, слегка лишь начавшись. Ведь тогда ни на час не останется ему одному. С Ширяевцем станет хуже, чем с Колобовым. С Ширяевцем тотчас начнется тот сорт ненавистно-близкой дружбы, от которой по гроб доски не избавиться, не избежать...

Опять он про это, про «убежать». Сумела Гаврилова дочка какую-то кожу с него живую так, походая, легко ободрать.

Полированно-стеклянная майолика стенок надгробия, спрятанного в самой глубине прохладной комнаты, ловила невидимый свет и мягкими взблесками отражала его. По сине-зеленым изразцам, расходясь и сплетаясь, все плотней и плотнее вжимаясь в самих себя сетью непрочитанной молитвы и длинной строкой из Корана, охраной покоя, печатью, замкнувшей спрятанную здесь жизнь Куссама, сплелись арабские узоры древней надписи.

– Странно, но, если он живой царь, возвращения дожидющийся, зачем ему надгробье поставили? – опять, перестав записывать, сказала Гаврилова дочка.

Все четыре ступени вытянутой пирамиды надгробия, опоясанные по низу длиною россыпью восьмиугольных мусульманских звезд, промолчали, как будто бы ничего не услышав. Мелкорезная деревянная решетка – панджара, казалось, и не пропустила эту глупую мысль сквозь себя, не подпустив к вечности.

Мавзолей Куссама ибн-Аббаса, стоящий на вершине холма, к которому десять минут назад они взбежали легко и быстро, неожиданно остановил этот бег и заставил Сергея насторожиться.

Старинная дверь бесшумно, будто сама собой, только лишь они вышли, невидимо затворилась за их спинами. Однако же кто-то, не переставая, смотрел им вслед. Куссам ибн-Аббас?

– Пойдемте скорее назад, – произнесла Гаврилова дочка и поежилась. – Я мертвешки замерзла.

Холодком действительно обдувало. И не только из оставленной темноты. По всей длине этого узенького прохода между справа и слева тянушимися фасадами многих других древних мавзолеев, по всей длине этой улицы мертвых, сбегающей вниз, то там, то тут кто-то невидимый, неслышно перешептываясь с кем-то столь же невидимым, глазел на них не переставая. Вдруг показалось, что за всеми этими плоско-кирпичными стенами, колюче искрящимися голубым огнем изразцов, прячутся столетия мертвые, по-своему живущие прежние люди.

Вон там, вон там затаился, выглядывая из уголка, нестарый еще астроном, друг убиенного Улугбека, Казы-задэ Руми. Темнота – его день. Ночью в узкую шель треснувшего купола своего мавзолея он по-прежнему напряженно разглядывает давным-давно отбежавшие от него живые звезды.

А вон, стараясь не попасться на глаза еще и своим мертвецам, как прежде чужим мужчинам, кутая в тлен парчовых халатов сухую полую кожицу, оставшуюся от смертью опустошенных теплых тел, подталкивая друг друга косточками остреньких локотков, тянут шеи, любопытствуя на них, убегающих, сестра Амира Темура Ширин-Бика-ака и жена его, не отлюбившая, но распавшаяся почти что в земную пыль, Туман-ака. Все еще нежная и в своей невесомости.

Пошелкивая, постукивая, тревожа холодом горячий воздух жаркого Самарканда, зашевелился в своей усыпальнице, стараясь подняться, напрячься и выйти наружу, забытый всеми из нынешних послушный воин Темур глухой его полководец Бурундук. Этот особенно недоволен отстранившим его от жизни временем. Но не тем, что

оно другое, не собственно теперь самаркандское, а другим – тем, что оно истерло в ничто все его всегда заслуженно чтимые боевые кривые шрамы. Ни рубца, ни пореза, ни наращенной заново кожи... Ничего ни на чем. Ни для хвальбы, ни для переживания. Еще одна, отныне из века в век ничтожно повторяемая смерть полководца.

Отворите, отвалите тяжелый камень, дайте выйти, вновь войти в мир, овладеть и присвоить его без сопротивления.

Шорох, шевеление, завистливое глядение вслед.

Как же все на его, на есенинской, Руси и живут, и умирают, и существуют по смерти все-таки иначе. Вспомнилось, как, и пьяному, и трезвому, приспичивалось ему ночами, возвращаясь откуда-нибудь, полусонно пробродить мимо тихих погостов. Или даже сквозь них. И никогда не случалось такого, странно шекочущего затылок, тоскливого страха. Деревянные, распясавшиеся, подгнившие у косяка кресты, в серость разведенные дождями и до шепы исхлестанные режущими метельными снегами, выхлестывающими слезу, или же другие – новоставленные – еще смолистые, еще набухшие неотпускаемой древесной жизнью, казалось, танцевали с ним вместе всегда. Дергались, вытанцовывая, как он, заплетавшимися ногами, общий с живым человеком вовсе не похоронный танец. Те же люди, что безмолвно лежали под ними, под этими последнею точкой жизни поставленными крестами, молчаливо поглядывали из-под земли. Не гневаясь. Не пугая. Не жалея о невозможности соучастия, но жалея, пожалуй, только о том, что эти вот всякие разные люди еще не с ними. Не под сырыми холмами и холмиками, но под мокрым и грустным небом. Еще суетятся, не зная, не ведая, что, вот им, умершим, теперь вполне хорошо. Что они отдыхают, сочувствуя проходящему по ним, через них, веселому человеку.

Русские погосты добры и понятливы ко всякому, кто не у них. Шевелят тонкими березовыми стекающими вниз, всегда плачущими ветвями. Невидимо вздрагивают, когда шекотно падают на них сосновые шишки, если погост, густо прошитый сухими опавшими иглами, вцепился в песчаную твердь степенно дышавшего бора.

Эти же...

Вниз... С нетерпением, но не торопясь, теперь только вниз. Так проходят сквозь черный бессветный коридор, стесняясь собственного подгоняющего страха, дышавшего в затылок и шею, но еще более – себя, боящегося. А потому замедляя обычный шаг.

И все-таки у самого конца спуска с этого холма, с этой каменной улицы не умерших мертвых, почти что уже бегом простучали по кирпичам ступеней, счастливо прыгнув с последней, тридцать шестой, в мутную пыль горячей дороги.

И опять, отстраняясь от реальности ирреального мира, потеряв самого себя, цельного, в привычном своем раздвоении Есенин смотрел со стороны, как он сам, о чем-то болтающий, перебрасывающийся неслышными отсюда фразами то с Гавриловой дочкой, то с внимательным драгоманом, достойно усаживается в черное авто.

Блестящее серебряной резью солнца на никелевых обводах и черным солнечным же отражением на лаковой плоскости капота, на ожидающе распахнутых дверцах, это авто было самым представительным автомобилем во всем Самарканде, а вполне возможно, что и во всей Самаркандской Бухарии, вкупе с Ташкентом. Принадлежала персидскому консулу, находящемуся, как оказалось, в странной – уже не железнодорожной – дружбе с тем же Михайловым, автомобиль встречал их и на вокзале.

– Опять Персия возле поэзии ходит, – ни к селу ни к городу, прежде чем отъехать в свой Полторацк, заметил Колобов, узнав, что автомобиль от персидского консула. Но отчего-то не обиделся на то, что Есенин от него здесь отстал. А мог бы, поняв, что тот более путевой дружбы принял вновь любить одиночество.

Неужели Колобов предугадывал, понимая, что одиночества Есенин и здесь не почит?...

Человеку кажется – смени он страну, государство, город, улицу, дом, рубашку на себе, наконец, и станет он другим. Черта с два! Так и останется, каким был, каков

есть и каким всегда, до гробовой доски сверху, будет: один на один с единственным собеседником, с самим собой. С тем самым собеседником, который с самого рождения, бесприютно и навсегда застряв в твоей собственной черепной коробке, беспокойно толчется в ней, почти непрерывно что-то бормоча.

И вот опять с утра черный автомобиль мотал их по городу, неторопливо ворочаясь полированными боками меж стискивающих стен и сжимающих улиц.

Взбив облако пыли ударившим в землю синим выхлопом, он медленно объезжал седых стариков, молча стоящих за спинами облепивших дорогу мальчишек. Они расступались и одинаково смотрели из-под руки на редкое зрелище – черный лак, проблескивающий раскаленным серебром тонкого никеля.

Взбитая пыль пыхала по их лицам и повисала в воздухе не опадая.

И Есенину стало трудно через нее разглядеть зелено-синюю надпись на входном высоком изразцовом портале оставленной улицы: «Это величественное здание основано Абдул-Азиз-ханом, сыном Улуг-бека-Гурагана, сына Шахруха, сына Амира Темура-Гурагана, в 883¹ году».

Драгоман, переведший эту длинную фразу, сглотнул воздух и стал смотреть перед собой на дорогу.

Есенин оглянулся: ему показалось, что какая-то его часть оторвалась и осталась там, в глубине, в провале портала. Что ее кто-то держит, не отпуская.

– Вот вам и «Шах-и-Зинда», – облегченно произнесла Гаврилова дочка. – Вот вам и «Живой царь». Посмотрели? Что там у нас дальше?..

Ехать в черном консульском авто было мягко и хорошо.

Есенин расположился размашисто, почти уложив себя, стройно сидящего, в поскрипывающую кожу сиденья. Сейчас он нравился самому себе. И его удивительно радовали и горячий ветер, бьющий из боковых насквозь разверстых окошек, и неуспевающие за машиной желтые взвихренные облака. И даже собственные напитанные пылью, раскалившиеся от солнца светлые волосы, наконец освобожденные из-под шляпы, как раз в тот самый момент, когда именно шляпа им была совершенно необходима.

– Не выставляйте локоть из окна, – сказал драгоман. – Обгорит, и не заметите.

– А что мы сейчас проезжаем? – поинтересовалась Гаврилова дочка, развернув на кругло торчащих коленях свои записи.

– Хазрет-Хызр, – поморщился драгоман и, наверное, даже бы сплюнул наружу, если бы на таком ходу это стало возможным. – Прежде – мечеть. Теперь бездомные мальчишки здесь ночуют. Притон. Мир перевернулся.

– Перевернули... – заметил Есенин. – Ему так и надо...

Сине-красный «Копиручет» чирикнул по бумажному листу.

Драгоман промолчал. Возможно, из политических соображений.

И Есенин понял это, а поняв, порадовался самому себе еще больше: выходило, что он вполне способен понимать людей. И почему они именно так говорят. И почему говорят именно это. И почему начинают молчать, не опровергая сказанного, тем самым молчаливым согласием подтверждая правоту произнесенного слова.

И еще выходило другое, что, очевидно, Раскольников не просто так, не от нечего делать и не оттого, что у него там, в Ташкенте, достойных дипломатической службы коллег не нашлось. Не просто так, но потому, что давно разглядел в нем, Сергее Есенине, что-то такое нужное, годное и готовое на то, чтобы не посрамить всех иных русских в чужом и чуждом Афганистане. Во всем Питере никто лучше него не носит строгие галстуки и легкую шляпу. Разве что Мариенгоф... Никто во всей Первопрестольной не пьет больше него, сохраняя поутру чистую голову и трезвое здравомыслие. Никто и нигде, разве только вот в Англии, не способен сделаться скандальным и грубым, сотворяя это по вполне холодному джентльменскому расчету.

¹ В 1434 г. по Р. Х.

«Да, я мог бы сделаться достойным своей цивилизации каким-нибудь посольским представителем. И у меня был бы вот такой же в точности государственный автомобиль, – уверенно думал теперь о себе Сергей. – А в нем можно было бы неторопливо кататься по точно таким же, как в Самарканде, улочкам Кабула. Он ведь тоже дипломатически способен задать скрытый вопрос и дипломатически же промолчать. Ведь молчит же, промалчивает сейчас, когда вроде бы равнодушно готов спросить, с какою же целью готовит свой караван к походу в Кабул молчаливый посланец Раскольников? Не для той ли цели, чтобы разжечь свою русскую революцию еще и там тоже, двинув ее потом и на юг, и на восток с целью же заодно поджечь и близкую Персию?»

Но драгоман выдержанно молчал, об этом пока не спрашивая.

Молчал и молчал... Очевидно не зная, что и Есенину также хочется многозначно промолчать ответно.

Удивительно, но возле базара черное авто не обступали, проходили мимо, иногда оглядывались. Базар самодостаточен. Для него излишни внешние развлечения. Он, как костер, раздувает собственные угли, распалает огненные краски, разбрасывает в разные стороны искры людских голосов, скрипы арб, ослиный взвизгивающий рев и конское ржание со всхрапом. А еще – он более вечен, чем даже великий купол мечети Биби-Ханым, отодвинутой в сторону за ненадобностью плечом базара.

Под куполом гнездилась темнота будущей ночи, всякий раз прячущаяся здесь до времени солнечного заката. Темноту шекотали пыльные солнечные лучи, снаружи через щели и трещины чинаровых дверей и кирпичных стен просверливая гулкое пространство. Вздрагивающая от них, мешающих отоспаться до ночной вселенской работы, темнота поеживалась и мешала бродящим под куполом людям чего-либо рассмотреть.

Драгоман поднял голову вверх и долго разглядывал через большую дыру купола голубое небо, похожее на еще один купол, только лишь вечный и ни от какой старости не обрушаемый, потому что старости у небес не бывает.

– Что там? – спросил Есенин и тоже взглянул сквозь дыру.

– Другое время, – сказал драгоман, не опуская повернутого кверху лица. – Пржнее. То самое, во время которого Амир Темур строил эту мечеть...

– Время не бывает прежним или другим. Оно всегда никакое. И гонять его туда-сюда, от неудачного прошлого к неизвестно какому будущему, глупо.

Гаврилова дочка, достав кожаную книжицу и отойдя в сторону, стала под световой луч.

– Записывает, – сказал драгоман. – Чучело. Все ваши слова в свою записную книжечку записывает. Будто крадет. Чучело.

– Мои? Да зачем? – перестав глазеть в дырку купола, удивленно спросил Сергей.

– Ну как же... Отчет писать или меморий какой-либо. «Великий русский поэт Есенин сказал мне в тот незабываемый день... А знаете, Елена Гавриловна, мы будем с вами большими друзьями, несмотря на многие разногласия во взглядах...»

Несколько голубей, вырвавшись из темноты, хлопая крыльями, ввинтились в голубой проем купола и исчезли в наружном времени, у которого никогда не бывает ни прошлого, ни будущего, а только одно настоящее, которого, в сущности, тоже не существует, поскольку оно незамечаемо.

– Вот черт! – сказал Сергей.

Потерянное голубиное перо, вертясь, опадало сверху.

Подставил ладонь, чтоб поймать. В полумраке не получилось.

А драгоман-то отчасти обыграл его в своих размышлениях. Гаврилову дочку разглядывал. Но все же не его, не Сергея. Да и кто, впрочем, сказал драгоману, что он, Сергей, интересней для наблюдений, чем Гаврилова дочка? Есть ли в нем тот интерес, что стоит разглядывать? Оттого-то и знать не знает, каков этот русский поэт на

самом деле. Да не просто «русский поэт», но как будто уже чиновник российского консульства – товарищ Есенин. Зато он-то, Сергей, сам знает, что он есть на самом деле. А согласие – форма. Кивнет головою в Ташкенте и отдаст все бумаги свои Раскольникову, тот быстро оформит, раз нужно.

Теперь в нем есть тайна. Уже есть. Уже как у дипломата. Грибоедов тоже значился как поэт. А ведь случилось и послужить. И Есенин послужит. Отчего и ему в дипломатии не случиться?

«Опять Персия возле поэзии ходит», – сказал Колобов. О чем это он?

Времена не грибоедовские. Афганистан не Персия. Рассказывали: есть галоши у афганского человека – уже богач. В такой богатой своей нишете любой афганец понятнее русскому, чем даже отъехавшие побитые и отпавшие от России, от РСФСР, прежние свои. Худо младшему брату-афганцу – поможем на ноги встать.

Этот наблюдательный драгоман так и не задал ему ожидаемого вопроса: а, собственно, с какой целью грузит свой караван военный дипломат господин Раскольников? Что из того, что он и знать-то не знает, что этот, сопровождаемый им, поэт Есенин в пустой «Чай-хонэ» о чем-то толковал с Раскольниковым? Пусть не знает... Но они же с Раскольниковым земляки. Это ли не повод поинтересоваться?

Молчит. Молчит, говоря не про то и не то наблюдая.

Впрочем, сам-то Есенин?.. Разве он сам знает истинные цели того Раскольникова? Спросил бы драгоман – промолчал бы. Но не потому, что дипломату не быть болтлив, а потому, что и не знал бы просто, о чем сказать по неведению...

Нет, здесь все ясно. И ему, Сергею, и драгоману, вновь спокойно садящемуся в машину. Русские строят чего-то свое, ими придуманное, убеждая всех, у кого не придумалось, что лучшего и быть не может. И у кого галоши на босу ногу, тот быстрее всех все поймет. И наверняка станет ожидать для своего счастья и еще чего-нибудь сверх них, сверх этих галош.

Улица снова смотрела им вслед мгновенными исчезающими пятнами, впрямь отражаясь на черно-зеркальных боках авто. Смотрела отстраненно. Знала ли, что есть такие, которые за нее планируют будущее по-своему? И за себя, и за нее стоящую.

Не догадываются еще и они, теоретики, что будущего не бывает. А вот он, Есенин, уверен. Как же сработаются?

Со двора персидского консула, сквозь пивную пену зеленых деревьев виделся почти весь Регистан с падающими минаретами у медресе Улуг-бека. То есть не падающими, но решившими, что упадут.

Падающее прошлое теперь попробуют возвратить в текущий день вертикально выправленными минаретами.

Чтобы недоуменно открытый глаз, образовавшийся провалом купола мечети Биби-Ханым, перестал смотреть в бесконечность, а приблизился к конкретно навязанному дню, его замуруют, заделав новонажженным кирпичом. И выход к далеким звездам закроют навсегда. Многозначительно молчащая история, вглядывающаяся в безгранично открытое небо, исчезнет, и на новое историческое мгновение настанет еще одно, всего лишь очередное отремонтированно-организованное бытование.

И прошлое, и настоящее, в теоретическом понимании власть предержащих, вроде бы есть, а на самом деле даже им самим всегда малопонятны. Предметно и материалистически не объяснимы.

А все равно ведь мечтают: отворить, войти, овладеть и присвоить без сопротивления.

Им всегда важно другое, чтобы их сегодняшний день не походил на вчерашний, принадлежащий не им. Если же он оказывается хуже вчерашнего, то наступает тот самый исторический момент, когда из политического рукава приходится доставать крапленую карту со словами про неотвратимо лучший завтрашний день. Хотя никакого времени по-прежнему не существует, как не существует и той же сказочной

Шехерезады. В шелковых шальварах, с полуприкрытой грудью, но с открытой ложбинкой в самом центре танцующего живота.

Гаврилова дочка кругами бродила по сквозным комнатам консульства, и ей было скучно. Ни одной женщины, кроме нее, ни в одной комнате не наблюдалось.

Стоящие вокруг вкусно пахнувшего горячим мясом стола мужчины, как только она подходила к ним, начинали улыбаться по-иному, переставали говорить о прежнем и начинали о другом, чаще всего – об очередном тосте, тут же и возникающем. К тому же у нее обломался синий кончик карандаша «Копиручет» и ей нечем было работать.

Желтое шампанское, выдохшись, почти не шипело в белом хрустале бокалов. Но все равно напоминало ей детство и предновогоднее Рождество.

Она подходила к столу – стоящие расступались, не по-настоящему улыбаясь.

Есенин пил водку, подмигивая ей весело и довольным. Больше подмигивать, как оказалось, некому.

Драгоман шептал что-то на ухо персидскому консулу Ахмедову. Другие тоже кивали, улыбались, пили, смотрели на нее, но не видели.

Персидский консул давал в своей резиденции последний ужин перед утренним отъездом в Ташкент московского гостя. Гость писал стихи, не занимался политикой, и это нравилось консулу Ахмедову потому, что расслабляло и не напоминало о вечно нечестной дипломатии.

Может быть, можно было бы где-нибудь на кухне очинить этот злосчастный «Копиручет», но безмолвный человек в красной жилетке и в опереточном тюрбане уже показывал Гавриловой дочке комнату, где ей следовало переночевать.

Большие люди меморий о нас не напишут. Это сделают мелкие люди, мимо которых, не заметив, мы когда-то прошли, случайно толкнув их локтями.

МЕЖДУ ГОРБОВ ЛЕЖАЩЕГО ВЕРБЛЮДА

*Большие люди меморий о нас не напишут.
Это сделают мелкие люди, мимо которых,
не заметив,
мы когда-то прошли, случайно толкнув их локтями.*

Ташкент встретил по-домашнему: неинтересом к возвратившимся.

Все были заняты своим делом. Раскольников собирал караван. Шурка Ширяевец мечтал жениться, и на дух ему не был нужен никакой другой караван, кроме семейного. Случайный чайханщик выживал из своей «Чай-хонэ» случайных же посетителей. Мальчишки с камнями из глины целились в чужую спину или же, подкрасив глаза, танцевали. Все эти тетушки, битком набивавшиеся в залу Туркестанской публичной библиотеки, деловито спускали свою последнюю, послеклиматическую, энергию на аплодисменты, приобшавшись к высокому. Дурной Рукавишников с мутными идеями пьяного воображения искал подтверждения своим околоробшевицким химерам...

Все верили во что-то, хотя бы – в Него. Но даже и с этим их Господом Богом у всякого из них такое все-таки было космическое одиночество!

А он, Есенин? Чем был занят он?

Красятся волосы, румянятся мальчишечьи щеки и подводятся черным глаза.

Ширяевец вот тоже красит свои стихи в бирюзовый восточный цвет. Да и он, Есенин, придет домой из того же Афганистана и тоже начнет красить свои стихи под въедливую азиатчину, пристегивая ее к себе, а себя к ней. Иначе – «А ты сам-то, Сергей Александрович, не упустил ли все это?» – и не поверят, что, побыв и здесь, и там, не увидел того, что хотелось бы всем, чтобы увидел... Ведь красил же еще раньше некоторые свои прежние стихи под азиатские или большевицкие краски. Ведь покрасит же еще и свое «Гуляй-поле» под газетный цвет власти, как делают все, не сознающие себя в своем естестве.

Гаврилова дочка исчезла, будто ее и не возникало. Возможно, тоже ушла заниматься своим делом.

О новом теперь его, есенинском, деле, за которое он почти уже окончательно решил все-таки взяться, следовало сейчас же переговорить с Колобовым. Не исчезать же и ему, Есенину, в то же небытие, что и Гавриловой дочке.

– Ты знаешь, – начал он вечером, вытянув ноги на скамье своего спального вагонного места. – Только ты не спорь, пожалуйста... Я все окончательно решил и продумал. Я уйду в Афганистан с караваном Раскольников. Я буду дипломат.

– Уходи, – невозмутимо почесав нос, произнес Колобов. – Это правильно. Как раз напишешь потом стихи про верблюдов. У тебя же еще нет стихов про верблюдов?

– Мы там будем по делу. И я там нужен... – многозначительно сказал Сергей.

– Ну, да... Ну, да, – заметил Колобов и, скосив глаза к переносице, попробовал разглядеть только что почесанный кончик.

Погода нынче была тяжелой, паровозный дым не рассеивался, но ватным одеялом серого цвета улегся между вагонов и рельс, всех придавив. От этого смерклось быстрее обычного, и Есенин, спустив ноги, зажег лампу. Вставив поверх огонька пущатое стекло и чуть больше обычного отвернув фитиль, зашарил под подушкой, ища машинально какую-нибудь книгу.

– Читать думаешь? – посмотрел Колобов.

– Нет, – сказал Есенин. – Я просто так... А если Раскольников уже передумал?..

– Такие, как он, не передумывают, – хмыкнул Колобов.

– Скажи честно, тебе действительно все равно, что я вот могу завтра уйти, уехать... Действительно не интересно?

– Мне просто не интересно слушать глупости. Ты хочешь, чтоб я тебя порасспрашивал о деталях твоего похода? А вот это видел? – и теперь уже к носу Сергея, не к своему, он присунул короткие пальцы, свернув нескладную фигу. – Это ведь не я, Сергунька, у тебя должен спрашивать. Но ты у меня. А не спросишь – и сам скажу, не погоржусь.

Раскаленная крыша белого туркестанского вагона потрескивала, остывая. Сквозняк вполне можно было бы создать, но серо-голубое ватное одеяло даже еще плотнее, чем жаркий воздух, забило бы всякое дыхание.

– Хочешь, скажу, чем вы займетесь со своим Раскольниковым? Не сразу, но все-таки займетесь... Понастроите европейских домов. Переедет туда жить какой-нибудь новый Сашка Ширяевец, местные не по-своему жить не захотят. Переедет, вступит в новый дом со своим самоваром и сразу начнет тосковать, как тоскуют все русские – бог весть почему, бог весть где оказываясь. А потом непременно отъедет обратно в какую-нибудь свою Рязань... Окна в домах, ими там оставленных, сначала заколотят, а потом снова расколотят, чтобы, выдрав рамы, пустить на костер под мангалом для варки какого-нибудь своего местного плова. Езжай, езжай, станешь как Сашка Ширяевец...

– Что б ты понимал, политик... – помолчав, недовольно произнес Сергей, вытягиваясь на скамье.

Тягучие гудки одних паровозов непременно навевали бы тоску, если бы их не перебивали тонкие хулиганские свистки паровозов других.

– Ладно... Ты мне одно скажи, будить тебя завтра или погодишь ехать?

– Отстань, дурак. Спать мешаешь...

– Значит, не будить. Ну, спи, спи... В этом всегда больше проку, чем в пробуждении.

– Надо же, и товариш Колобов в философы записался... – пробурчал Есенин и отвернулся к стенке купе, к вытертой зелени тисненых обоев.

Черт, возьми! А ведь, может, действительно лучше проспаться все это?.. Лучше проспать. Не по лени. А все-таки, – здесь Гришка прав, – по бессмысленности всегда происходящего... На кой черт большее из происходящего кому-нибудь нужно? А уж мне-то, мне-то зачем?..

Поговорили и, задув свет, улеглись. Даже почти уснули.

Круглые железные буфера, приняв удар от собратьев, дрожью встряхнув весь салон-вагон, выдернули из полудремы.

Лунные светляки, пробившись сквозь сизые ватные дыры, забежали по стенам, по лицам, по потолку.

– Опять зачем-то перегоняют... – произнес Сергей.

– Да... Забыл тебе сказать... Завтра всем скопом новую фильму пойдем смотреть. Твой Шурка Ширяевец счастлив был пригласить всех в синема. Видит Бог, хочет сказать, что и в таком захолустье культура бывает. Пойдем?

Есенин смотрел на лунные блики и бездумно молчал.

«Уснул, непутевый», – почти нежно подумал Гришка Колобов и закрыл глаза.

Культура в захолустье действительно иногда случается. Но в привезенных из Москвы двух картинах, произведенных для военной нужды: одна – для недели фронта и тыла, проводившейся в феврале 1920 года в Киеве, другая – для скрытой агитации вступать в ряды Красной Армии в 1919-м, – во всем том, что немо мелькало на складчатом экране электротeatра «Хива», не отмечалось ни культуры, ни чего-либо к ней приближающегося, напоминающего о достойной столичности. Искусства не происходило. Но всякому из давно грамотных опять виделись под него, под искусство, покрашенные волосы.

Тапера на табуретку перед обчарапанным пианино отчего-то не назначили, зато в двух-трех углах сырого зальца, еще не просохшего после зимы, как всегда засуше-ствовали два-три темнотой скрытых человека, не устающих, вперебивку друг другу выказывая грамотность неофитов, прочитывать вслух прыгающие по экрану ограни-чивающие воображение титры.

Каждая фильма делана была московским провинциалом в убеждении, что теперь он – столица.

Длинный ряд деревянных кресел с откидывающимися сиденьями, насаженных, как на кукан, на единый стержень, раскачивался, кряхтел, скрипел и почти извивался в такт бормочущим текст, в ритм хохочущему зрителю.

Есенин старался не вздрагивать вместе со всеми, не раскачиваться и не входить в общее со всем деревянным рядом веселое шевеление кресел. Он упирался ногами в пол. Под туфлями шелкала и хрустела сухая семечковая шелуха.

Ширяевец по-своему тоже сопротивлялся бегающим по холсту, беззвучно гово-рящим людским теням. Падающим, вскакивающим, искусно быющим всяк всяко-го, спящим, сопящим, жующим и просыпающимися. Но он был серьезен, поскольку спокойно думал о необходимости в ближайшее время все-таки съехать в Россию из этого подкормившего его Ташкента. Сейчас он уверенно знал, что сценариев для таких фильмов, как вот эти, он легко насочиняет столько, сколько им надо. И они будут не хуже. Стоит только отъехать туда, где существует не здешняя, но настоящая жизнь искусства.

Первая фильма была «Сон Тараса», вещь фантастическая, придуманная, и по-этому актуальная. Делаящий умное и всепонимающее лицо всего лишь в конце рассказанного на холсте случая, красноармеец Тарас поначалу еще глуп от радости из-за вдруг обнаруженной при стоянии на часах толстой бутылки белого самогона.

Часовой красноармеец Тарас, не имеющий благородной привычки бороться с буржуазными искушениями, не отставив винтовку, – все-таки при исполнении – даже и понимая всю заразность случая, отпробывает из бутылки и засыпает.

Деревянные кресла сочувственно передергиваются. Обсуждаемому осуждению сразу подлежит неумелость красноармейца пользоваться даром судьбы – отклады-ваться и засыпать, не выпив и половины. Пропадет же.

Шелуха прилепляется к губам, от напряжения темы не сделавшись сплюнутой.

Сон волен в политике. Он раскован, он готов даже и к царскому возврату. На Та-расе солдатская гимнастерка, но не та же, не прежняя. Теперь николашкина войска.

Но и здесь, в своем пьяном сне, пусть и втолкнувший в иное солдатское галифе, солдат переполнен прежним мучающим желанием – почему бы не к девкам?

Кресла приготовились ерничать, напряглись, ожидая разрядки.

У девки в доме кружевца, занавески, кровать на пружинах. Под кроватью же генерал. Оно, конечно, всякому радостно, что эту фильмой определено правильное место кровавому эксплуататору, и глупой раскоряченной девке, и строевому солдату, впавшему не в тот грех, что пост свой оставил, но что лицеизреел начальника без штанов.

Есенин скосил глаза на соседей. Ширяевец скептически кривил губы. Колобов смотрел со внимательным сочувствием. Рита, полураскрыв ротик, платочком отирала повлажневший от духоты лоб.

Драма стремительными солдатскими перебежками искала развязку.

И она предугадывалась: не в то время и не туда попавшего солдата Тараса, повязав приказным от генерала арестом, мстительно приговаривают к расстрелу.

В зальце свистят. Рассыпают кульки семечек в послереволюционном негодовании.

Сашка Ширяевец улыбается проникновенно.

Должно быть, от этого и вне холста происходящего шума Тарас просыпается. Он в ужасе дышит на настоящих своих товарищей красных армейцев густым самогонным духом, он, оправдываясь, толкует им о своем падении... Но они, по-пролетарски все-понимаючи, тотчас бросаются его поздравлять с тем, что служит он – слава богу! – не в царской, а в Красной Армии.

Ноги Есенина, передавав в труху все, что уже оказалось под ними в шелях между кресел, топтались теперь по твердой, ответно отталкивающей пустоте.

Вторая фильма задергалась на экране сразу же без перерыва. Название высветилось в стихах, заранее предполагая хохот и дерганье кресел, насаженных на один общий стержень: «О Митьке-бегунце и его конце».

Туфли замерли в последнем негодовании.

Агитка поэта Ефима Придворова, взявшего псевдоним, где уничижение паче гордости – Демьян Бедный, о красноармейце-дезертире догнала вот и здесь, в Ташкенте.

Впрочем, Ефим-поэт умер.

И не историк-филолог, пробродяжничавший в литературе весь свой Санкт-Петербургский университет, толкался ныне в праведно-газетных изданиях, но говоруно-раешник, пишущий всякое на потребу дня. Приняв всеобщее умопомрачение за прозрение, а тьму за свет, он жил интересом сугубо историческим. Накальывая на булавки своих стишков всяческих человечков, не соответствующих газете «Правда», однако сопротивляющихся, однако еще живых, еще не до конца задавленных новым днем, он делался счастлив. А то, что были они для него именно человечками, а не людьми, подтверждалось по всей Москве бродящим писательским слухом... Тяжким, ужасным слухом. О том его литературном любопытстве, с которым Демьян пробился-таки на тайный большевистский спектакль, учиненный за кремлевской стеной в Тайнишском саду, где, сунув в бочку измятое тело некой расстрелянной Фанни Каплан, покушавшейся на вождя мирового пролетариата, и утопив ее мертвое скрюченное тело в желтом бензине, как капусту в рассоле, мстительно сжигали его, подняв жирный дым до Ивана Великого.

Пробился и наблюдал, не отворачиваясь.

От Демьяна тошнило.

– Сергей Александрович ушел, – тронув за рукав Ширяевца, тихо заметила Маргарита.

– погоди, не отвлекай... дай прочитать. Надо же знать, кто там у них что делает...

Придержав рукой повернувшееся сиденье, Рита встала.

– Я догоню, – взглянув на нее, сказал Ширяевец.

– Да оставьте вы его, – прошептал Колобов. – Не затеряется...

Фиолетовое небо остывающего Ташкента светилось изнутри розовым светом драгоценного камня.

На бывшей улице Романовского животами в пыли лежали, вытянувшись караванной цепочкой, усталые, с раздувшимися плешивыми боками, непереставая-скучно жующие верблюды. Не те ли самые? Не увиденные ли в первый здесь его день? Караванно куда-то далеко-далеко, в какие-то неизвестные ему, Есенину, красивые страны тихо сходявшие. Что-то ароматное, пряное отнесшие туда. И что-то такое же сладкотомящее или, наоборот, жгуче-острое, небываемое, привезшие обратно. Сделавшие свое равномерное, совсем не бессмысленное дело и теперь осмысленно отдыхающие.

Губастые мягкие рты ворочали, перемалывая, перетирая что-то колющее, степное, вольное...

Они сделали свое путешествие равнодушно и буднично и ныне презирали всякого, кто, как Есенин, бросаясь со своим придуманным караваном в свою Самаркандскую Бухарию, забывал, что придуманные путешествия пусты. Что в них ничего не увидишь и не обретишь, если будешь стараться, вертя головой, увидеть и обрести. Что только вот так, как делают это они, живя изнутри песка и солнца, пыли и света, можно, не ища, не замечая, найти, увидеть и обрести то самое – пряное, жгуче-ароматное, восточное, что они привезли, упокоив между мягких горбов. То, чем были они сами, сами в себе. И чего все-таки по-настоящему не увидел, не обрел, не нашел здесь в самом себе он, Сергей.

Подойдя к одному из них, Есенин, присев, осторожно погладил клочки шерсти на передернувшейся коже. Он хотел обнять его жилистую упругую шею, как всегда в минуты тоски обнимал шею всякой встреченной лошади, топя пальцы в теплой гриве, но верблюд брезгливо отвернулся от неизвестного человека и стал смотреть в противоположную сторону. Куда-то за горизонт, не видимый отсюда из-за домов и деревьев. С его губ длинно и неостановимо падала в пыль вечная зеленая слюна.

Есенин опустил на землю, сел рядом с ним, уперся спиной в ходящий от дыхания бок жующего зверя и почувствовал, что его глаза стали теплыми, даже жаркими. Странно, но неожиданные вдруг слезы оказались горячей горячего воздуха вокруг. И глаза стали забыто мокры.

– А я тоже ушла, – нагнувшись над Сергеем, сказала Рита. Большая панамка сползла ей на нос, и она, не поправляя, просто сняла ее. Мягкая корона пшеничных волос плотную густотой заметно тяжелила голову.

– Неинтересно? – спросил Сергей, чтобы что-нибудь спросить.

– Смешно, – невесело сказала она, внимательно вглядываясь в его лицо. – Вы что, тоже решили о верблюдах писать?

– Почему «тоже»? И почему «о верблюдах»?

– Ну, раз вы здесь сидите... С ними. Наверняка рубашку испачкали. А про верблюдов у нас многие пишут. Наверное, даже все, что здесь живут или сюда приезжают... Так положено. Хотите, что-нибудь прочитаю?

– Хочу, – кивнул Сергей. Опять для того, чтобы только что-нибудь произнести.

В электротeatре «Хива» в надышанном зальце зрители весело реготнули.

– Только уйдемте отсюда, – она протянула ему руку. – Вставайте.

Есенин притронулся к прохладным пальцам, поднялся.

– И знаете что... Только если вы не против... – она как будто замялась. – Боюсь, что они сейчас выйдут. Давайте побежим...

Есенин засмеялся:

– Давайте! Только куда?

Он хотел было добавить обычное, банальное и тем более справедливое, что и сам давно думал так, что от себя, мол, не убежишь. Но не добавил. Похоже, эта девушка знала и нечто другое, чего или не знал, или впопыхах жизни успел забыть он.

Фиолетовое небо потеряло прозрачность драгоценного камня. Занавес закрылся. Сквозь кем-то просверленные дырочки звезд скучающе смотрели на землю отлетевшие туда души некогда здесь поживших людей.

– Я знаю куда. Значит... Бежим?

– А стихи? Когда же стихи? Рита, вы обещали...

– Догоняйте! – ничего не ответив, крикнула она и, легко освободив пальцы, не глядя на Сергея, быстро произнесла:

– Верблюды караванно шеи повыгнули. Глаза блестящие полузакрыты...

– Лучше будет, глаза туманные полузакрыты, стараясь попасть в бегущий ритм ее шагов, слов и движений, поправил произнесенную строку Есенин.

– Пусть, – кивнув, согласилась она, не останавливаясь. – Бредут с караваншиками, как по выгону, по улицам утренним, свежеемытым. Без бубенцов на шее потертой. Без тяжелой поклажи на мягких горбах. Идут как на казнь, преступленьем припертые. С тоскливой слюною на толстых губах.

...Звук ее голоса был громок. Прохожие лениво оглядывались.

– Идут монотонно, с верблюжьей гордыней, с ногами истертыми серым песком. И так непонятно их тело стынет, как будто сколочено из кусков.

...Она и сама понимала, что бег ее странен. Но все-таки бежала, чтобы, как на минуту показалось Сергею, не передумать, не остановиться. И, несомненно, она вела его в какое-то ее пространство, личное и любимое. Она как будто увидела, разглядела в нем человека, которому можно довериться и показать нечто свое любимое, ото всех, скорее всего, и от Ширяевца, сокрытое.

– Их будут кормить порционно, расчетливо. И, как архаизм, умрет караван. И только на прутьях буквами четкими вывесят надпись: «Верблюд-бактриан».

...А возможно, все было и ровно наоборот. И Рита тянула Сергея в пространство своей тайны, в которой жила давно и уверенно, чтобы проверить его, Есенина, какой он на самом деле? Способен ли все-таки понять то, к чему она его вела быстрым бегом? Может ли искренне раскрыться и, если и не полюбить (для любви всегда нужно время), то хотя бы обнаружить в себе возможность такой, как у нее, любви.

– Это что, он написал? Ширяевец?

Рита неопределенно пожала плечами.

...Она, конечно, сомневалась, стоило ли это делать. Желание утешить плачущего пришло к ней мгновенно и странно для нее самой. Она-то и стихи принялась читать, проборматывая их быстро, скороговоркой, не для того, чтобы он их услышал, порадовался им или огорчился ими, но чтобы забить самой себе горло, оградить его от пустого вежливого разговора, в один миг способного убить в ней то желание, что, вопреки охраняющей логике, появилось необъяснимо и ниоткуда.

Есенин не отставал. Он даже захотел забежать вперед, увидеть лицо, понять, для чего весь этот бег, где он наконец закончится? Но не забежал, поскольку не знал пути. И не взглянул в лицо, оправдав себя тем, что слишком много теней, слишком много лиственной густоты. К тому же пришлось слегка отшагнуть в сторону. Моршинистый ствол взорвавшегося зеленым дуба, оттеснив пыльный мир, копошавшийся возле, смотрел поверх всех вокруг с толстовской всепонимающей невозмутимостью. И как-то почти робко, сбоку, но все-таки под его защитой, накрытый живым согревающим шелестом, притулился благодарный этому мир.

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год. Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо чтоб и все знали это...», – отчего-то повеселев, вспомнил Сергей.

Прожив всего-ничего – двадцать пять лет, он все-таки имел право тоже так думать. Литература учила пониманию счастья раньше, чем это делало время.

– Да-да! – кивнула Маргарита. – Мы пришли. Вам вот сюда...

В раскрытые двери домика за калиткой выглядывал узенький коридорчик. За ним же, несомненно, теснились неясные комнаты, обжитые неизвестными людьми.

– Но ведь... – недоуменно начал Сергей.

– Идите, идите, – повторила она. – Он ждет. Он всегда всех ждет. Он невозмутим. Настроение, только что взлетев, ухнуло вниз.

«Опять говорить стихи. Болтать о как будто существующей рядом литературе.

Хвалить домашнее виноградное вино, пахнувшее кислым подвалом и зажившейся жизнью. К черту! Сбежать еще не поздно...»

Но Рита шутиливо толкнула его к раскрытым дверям:

– Да входите же. Я и не знала, что вы можете так смущаться...

Есенин поморщился, неужели не позабыла те слова, что когда-то произнес еще на вокзале?

Тень от фигуры, тоже подтолкнутая закатным солнцем, несмело вытянулась вперед, переметнулась через пару кирпичных ступенек, будто прячась, исчезла в полумраке коридора, вновь обнаружилась и, наконец, с любопытством заглянула в комнату, перегороженную фанерой.

В первом ее отделении, по-солдатски выпрямив спину, на кара-киргизской верблюжьей кошке сидел наполовину голый человек. Пришурившись, он медленно пил чай из фарфоровой пиалы. Черные шаровары с пуговицами у шиколоток и французский, как будто, берет-«garins» дорисовывали этот удивительный эскиз.

Что существовало во втором – не было видно.

Человек сидел на полу, зато большая белая кошка возвышенно высилась над его беретовой головой, неподвижным сфинксом сидя на длинном деревянном сундуке, похожем на табут¹.

Почти не отнимая пиалы ото рта, сидящий человек скосил глаза в сторону вошедшего Есенина и невозмутимо сказал:

– Входите, Сергей Александрович. А то я уж боялся, что хоть близко, а не увидимся.

Белая кошка, взглянув на незнакомого человека, недовольно зашебаршила хвостом по сундуку.

Есенин вопросительно оглянулся, ища Риту. Но ее отчего-то не оказалось...

Удивительным было не то, что человек знал Сергея, но то, что и Сергей где-то уже сталкивался с этим ошупывающим смелым взглядом, видел и запомнил эти слегка навязанные подведенные черным глаза...

«Нет, верно, он с того самого литературного вечера. Третий стул от окна. Второй ряд. Именно, именно... Там я его и видел»

Человек же, поставив голубой фарфор пиалы перед собою, отер губы тяжелой ладонью, сунул эту же ладонь себе за спину, извлек еще одну пиалу, оживил ее горячей зеленой прозрачного чая и, поставив рядом перед собой, пригласил Есенина к ней.

Усталость слегка расплзлась по кошке.

Теперь стали пить, поглядывая друг на друга, но не разговаривая пока.

«Договорился с Шуркой. Через него же просил познакомиться. Но тот, спасибо ему, отказался, оберегая. Тогда этот наверняка стал действовать через Шуркину же невесту...»

– Давайте так, – вы сейчас читаете свои стихи. Я слушаю и честно говорю свое мнение. Вы ведь пишете стихи?

Настроение, долетев до конца бездны, ударило об обреченность, разбившись едва ли не насмерть.

– Пишу, – согласился человек, вкусно отхлебнув глоток чая, но стихи читать не заторопился. Глаза знакомого незнакомца веселились, с живостью наблюдая неумелость есенинских пальцев, неловко обхвативших пиалу. Человек оказывался молчалив.

Кошачий хвост застыл, замер и напрягся. Сфинкс же не шевельнулся.

Из глубины других комнат к сидящим рванулись две уличной жизнью изгязненные собаки.

Внимательная подкраска глаз, не теряющая немало любопытства, замерла в ожидании встречи четвероногой разбойничьей улицы и элегантного Есенина.

Слегка напрягшись от неожиданно увиденного стороннего человека, даже слегка отскочив от него, чтобы не налететь, они все-таки теперь осторожно подходили к нему...

Первая – черная, подойдя, ткнулась мокрым носом сначала в странническую пыль,

¹ Табут – погребальные носилки.

осевшую на прежде лакированных туфлях, потом и в его выгоревшие до ломкости волосы, беспутно разбросанные по голове. Вторая же, пугающая всех цветом ею обметенного двора, пренебрегая формальностями знакомства, сразу же лизнула Сергея в щеки и нос, замотав хвостом во все стороны так широко и сильно, что чуть не смела с сундука сиренево-серый высокий кувшин, плотно набитый чисто отмытыми кистями. Но и при этом белая кошка, не шевельнувшись, всего лишь независимо отвернула усатую морду.

И Есенину от этой неожиданной собачьей дружбы вновь стало не по себе, вновь будто чем-то горячим кто-то обрызгал и без того обожженные дневным азиатским светом тоже повыгоревшие глаза. Нервы следовало лечить...

– Отчего у вас веки красные? – посерьезнел хозяин.

– От вашего солнца, должно быть, – не совсем соврал, но и не совсем открыл истину Сергей.

– Да. Его здесь много. Нужно притушивать. А еще лучше ловить и прятать между холстами, этаким гербарий собирать, чтобы потом доставать. При необходимости.

Есенину стало спокойней. Он представил себе плоское засушенное солнце, собак, необжигаемо греющихся под плоским гербарием, стариков, разогревающих самовар кусочками сохраненного света, брошенного в подымливающую трубу, девчонок, на шелковых ниточках прицепливающих к просвечивающим розовым ушам осколки поменьше.

Обладатель сокровищ посмотрел на него вопросительно:

– Только скажите – сейчас и покажу...

– Вместо стихов? – с осторожным удивлением поглядел на него Есенин. – На самом деле?

Молчаливый человек, серьезно сознавшийся в том, что у него есть собственный коллекционный гербарий из засушенных солнечных листов, быстро доглотнул чай из неостывшей пиалы, легко встал и, поманив пальцем Сергея, скрылся за фанерной шаткой стеной. Собаки, по-прежнему дружелюбно метя по кошме рваными хвостами, с готовностью идти тоже глянули ему вслед. Но не оставили Сергея, понимали: негоже бежать впереди гостя. Следовало сопровождать.

Да все-таки не утерпели. Втиснулись между Сергеем и косяком не косяком, обогнали, но чтобы тут же у входа и усесться привычным рядком. Было понятно, что далее их никогда не пускали, далее было святое...

Густо обставив стены квадратными плоскостями, обиженно уставясь в деревянные затылки друг друга, в рамках и без, красками наружу и красками внутрь, прислонившись к стене и отстраняясь от нее, стояли, висели, лежали, обитая повсюду, многочисленные картины. Холст у холста.

Комната пульсировала красным согревающим цветом.

Несмущенно обнаженные женщины, живые одними лишь удлинненными лицами, тихо сойдясь вместе, вливались одна в другую так, что становились общим, в природе не существующим телом: каждая – это все, все – это каждая, и безмолвно судачили об их породившем мире.

А этот самый мир, обнаружив, окружив, обхватив это их общее новое естество и уткнувшись в идеально, словно циркулем, обрисованные груди, в реальности невозможные, обмер, задохнувшись от прикосновения. Оно питало его своим женским молоком, которое невидимо исходило из этих циркулем выведенных кругов, никогда никому не явленных и нигде, кроме как в абсолютной мечте художника, не существовавших. При этом оно все-таки порождалось их сотворенным общим телом, вживе лучившимся красно-коричневым острым теплом, впрочем, возможно, что и телесным обманом.

И во всем обнаруженном здесь, за фанерной перегородкой, хотя и как некая странность, но самостоятельно обретался – пусть и не сразу им угадываемый, однако постепенно все-таки узнаваемый – Восток...

Обреченные на подобную же, стремительно написанную ирреальную жизнь, тонконогие ослики прядали остренькими ушами и тоже толклись, отпихивая друг дружку,

возле невидимых соснов. И, напившись, бежали служить настоящим людям своею ненастоящей жизнью.

Цепью нанизанные на единый какой-то смысл многочисленные верблюды, собранные из желто-оранжевых сдвинутых плоскостей, звенели караванными колокольцами, лениво бредя по начерченному для них на холсте маршруту.

Верблюжьих холстов было много – у всякого собственный, через собственную же пустыню, назначенный путь.

Желтые купола-гумбазы, вздувшись над полузаброшенными степными мавзолеями, ожидающе дремали на грани между землею и небом. Дремали неглубоко, настроенно, дремали, готовясь принять всех, кто ни на есть, постоянно ожидая новых отшельцев от земной суеты, чтобы терпеливо еще на чуть-чуть расширить пространство своего обитания.

Но беседующие под золотыми мечетями и старцы, и молодые, увенчанные тяжелыми чалмами, еще не распушенными, еще не превращенными в погребальные саваны, умирать, похоже, не торопились.

Они, казалось, совсем не слышали надгробного плача других, близких им, женских фигур. На этот раз объемных, не придуманных, выступающих из плоскости картины не циркульными кругами, но остывающей теплотой мягкой плоти, после смерти близкого человека оставленной с этими женщинами один на один, а потому теперь навсегда невогребанной.

Мускулистые кетменшики-мужчины, беззаботно работающие на своих полях, не становясь, как те женщины с удлинёнными лицами, общим телом, распадалась на отдельные пятна жизни, дышавшие клочками разорванного на куски воздуха. На осколки чего-то настоящего, которые кому-то одному, главному, как он, этот главный, как ни старался, не удалось собрать воедино. И оттого в будущем они вечно стали обречены, царапая себя острыми углами плоскостей, убивать, изживать всякий всякого. А этот единый и главный, не смогший объединить их своим божественным словом, не смогший перебороть, а только – простить всю эту томящуюся от самой себя жизнь, обреченно отставив себя от людей и животных, тем не менее приводил их на поклон к своему распятию. Тем самым отводя их взгляд от куполов-гумбазов, с помощью которых эти земные люди стремились обрести вечность, на самом деле застревая между небом и землей и никуда не восходя, как взшел он. Им все-таки явно не хватало духовного молока из неживительной, циркулем обрисованной, придуманной женской груди. Им следовало искать и находить другую.

Несчастные, они до сих пор не нашли и не увидели настоящей теплой, мягкой, не нарисованной, но у каждой единственно настоящей.

Возможно ему даже хотелось остаться, чтоб еще раз объяснить, чтоб еще раз перенаправить их мысль на понимание того, что только через земное возможно приблизиться к небесному, но время его истекло...

Зачем он был бог, а не человек? Кто лишил его счастья сливаться в одно и распадаться на многое? Настороженный красный цвет усиливал беспокойство.

– Стихи? – пораженно спросил Есенин.

– Можно и так посчитать, Сергей Александрович, – сказал хранитель всех этих красно-черных геометрических солнц, которые, если бы не излучались откуда-то из-под красок, не высвечивались бы собственным светом из несуществующего пространства между этими красками и холстом, то могли бы показаться мрачно-тяжелыми, нервными, сделаться одними лишь линиями и плоскостями, ломающими всякий к ним равнодушный взгляд.

Они и не могли оказаться иными, светлыми. Их колорит и не мог оставаться прозрачно-чистым, светло-акварельным, водянисто-прозрачным, как разреженный воздух после грозы. Наоборот, едва ли не вся энергия азиатских ярчайших красок сгустилась на тихо стоящих холстах, воронкой втянув в себя и кирпичные минареты

Бухары, и изразцовые не Хивы только, но всего Хорезма. А еще и солнечно-львиные морды медресе Самарканда, и халатную желто-зеленую пестроту Ташкентского старогородского базара, и пустынные кладбища-мазары...

И если бы эти картины так же густо, как здесь, за фанерными шаткими стенами, толклись бы в Москве или в Питере, то вряд ли бы случилась нужда ехать сюда, чтоб обжечься воочию.

Одни б насладились оттуда, издалека. Другие же, приехав, многого бы поостереглись, поняв, что предупреждающе красным солнце бывает для всех нездешних, не понимающих того, что вокруг, для высокомерно видящих лишь самих себя.

В этих картинах, дыша по-живому, светлось, сгустилось, сошлось вместе настоящее понимание азиатской жизни, азиатского солнца, азиатской ненависти ко всему насаждаемому, ко всему иному, не настоящему на любви к великой и древней азиатчине.

У святого Куссама ибн-Аббаса не было никакой нужды ходить-бродить по людской земле, не видя ее края и конца, чтобы понять, исправились ли грешные люди за время его отсутствия? А исправившись, какой все-таки сделали землю своего обитания? Ночами, невидимо, он мог приходить сюда и по этим беспокойным картинам судить: выходить ли ему из своего подземельного склепа уже насовсем или же погодить?.. Так по одной капле крови ученые профессора способны определить здоровье или болезнь всей огненно-красной системы.

Положив мокрые носы на вырвавшиеся вперед лапы, вытянувшись на деревянном полу, однако не дальше входа, обе собаки смотрели на бродящих по комнате двух людей, от которых сухо пахло дневной раскаленной улицей, на странные многоугольные изображения, истекающие пахучей, сладкою густотой древних красок, и их глаза влажнели от непонимания того, что доступно пониманию этих двуногих.

Здесь вокруг существовал не их мир. Здесь пряталась, похоже, найденная наконец Шахерзада. Настоящая, а не сочиненно-сказочная.

Воздуха не оказывалось, расплавленный желтый мед зноя липко обволакивал всякое плывущее в нем тело. И – отдельно – двух обнаженных женщин, охлаждающихся общим ожиданием медленно, очень медленно приближающейся вечерней жизни. Двух обреченных вечно сидеть перед редко их понимающими чужими глазами на очередной отставленной от стены картине.

Кумган наполнился до самого своего узкого горлышка. Не понесешь, не расплескав. Стеклянная Бухара выплывала их хмари и делалась реальнее, чем даже прежде осмотренный Самарканд.

– Имажинизм – явление формообразующее, – вслух размышляя, произнес Сергей. – Впечатление, облекающее в форму, в образ самое себя.

Он остановился:

– Однако же я теперь тоже прочту стихи! Их еще не слышали здесь в Ташкенте. Про собаку...

– Про собаку? А в Публичной библиотеке?..

– Да нет же... Говорю, что не слышали, – чуть разозлясь, упрямо подтвердил неправду Сергей.

Собачьи морды сонно закрыли глаза, чтобы во сне увидеть какое-нибудь дневное собачье счастье. И поэтому он стал читать тихо. И они не просыпались, не зная, что это почти про них:

– ...По сугробам она бежала, попевая за ним бежать... И так долго, долго дрожала воды незамерзшей гладь...

Черно-красные окружающие картины горели густыми переливами, под красками опалительно дышали затаенные тлеющие угли. Художник, слушая, ничего более не говорил, только переставлял их с места на место, не боясь обжечься, поскольку, похоже, единственный во всем Туркестане знал секрет обращения с солнцем...

– ...А когда чуть плелась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой одним из ее шенков.

Искомое не находилось.

– ...В синюю высь звонко глядела она, скуля, а месяц скользил – тонкий. И скрылся... За холм... В полях...

Наконец, едва ли не отшвырнув еще несколько ненужных холстов, художник замер и, разведя руки, почти обняв, выволок сначала перед собой, а потом, развернув, и перед Есениным нечто длинное, в полукруге.

– Ага, – засмеялся он. – Это здесь мы с тобой, Сергей Александрович! И знаешь, как называется? «Беседа под веткой граната»!

Пять чалмоносцев мудро проживали медлительную восточную жизнь, не замечая никакой иной жизни. Красные гранаты защищали их от случайного.

Собаки, проснувшись, поднялись, встряхнулись и ушли, все про себя понимая, а попутно и про этих двух тоже – этим сейчас не следовало мешать.

– Раз, два, три... И еще... Так их же пять. А нас здесь двое...

– Двое и говорят. Остальные слушают, – отмахнулся художник.

– Опять же не получается... Читаю-то я все-таки один...

– Поправимо. Вот, слушай... ...Кишлак-базар Зенги-Ата спит в полденном зное. Святой мазар Зенги-Ата потонул в покое. ...Изнежен, тих Зенги-Ата, осколок Согдианы. Анашой Зенги-Ата продымил чай-ханы. Гнездится зикр¹ в Зенги-Ата в круглом своде арок. Смутный сон в Зенги-Ата. Полдень жгуч и ярок.

Есенин уже не стоял, прислоняясь к единственному свободному пространству стены. Он ловко бегал по невеликой пустоте комнаты, суженной расставленными холстами:

– Теперь я! Теперь я... Вот, вот... Дальше. ...И глухо, как от подачки, когда бросят ей камень в смех, покатались глаза собачьи золотыми звездами в снег...

Снега не было, но звезд азиатских над ними понасыпали из таких больших и щедрых горстей, что их, как зерна, засеянного в поле, могло хватить всему человечеству.

– Теперь ты, теперь ты давай, – не заметив, как соскочил на это «ты», то и дело вскрикивал Сергей.

– Верблюды бегут, закованные жестью, и такой несется бесшабашный гул, точно степь сорвалась с голубых предместий, табунами кинулась в разгул.

– Да ведь это же будто я написал, – восторженно хлопнул себя по бокам Сергей.

А читающий только кивнул на ходу, торопясь читать дальше, другое. – Много весен перевидано, столько солнцем луженных дней. Вот и теперь весна повыдоила молоко земляных грудей.

– И это! И это мое! – кричал Есенин.

Странное дело: ощущение было и обычным, и как бы отраженным в невидимом зеркале. Та же есенинская раздвоенность, наблюдаемая им всегда прежде, даже делаящая его надвое – на живущего и наблюдающего, сейчас торопилась к воссоединению, к рождению чего-то единого из неединых двух: из художника с его стихами, и из поэта, своим сочиненным имажинизмом вырисовывающего словесные картины. И они совсем не дополняли друг друга, но существовали одинаково ярко в собственном своем миру общею духовною плотью. Вроде бы даже творя ее художнически из одинакового – одного на двоих – восприятия.

Но хотя миры их обыденного обитания наяву оказывались внешне будто похожими, плоскостными, неохватно широкими, на самом-то деле в этой неохватности таилась и их великая разность – разность травянистой степи и песчаной пустыни. Между тем этою непохожестью оба они, вопреки всему внешнему, срастались в свою похожесть...

«Даже подкова у него над дверьми прибита на счастье, – думал Сергей, выходя под звездные зерна. – Будто у нас в избе под Рязанью».

¹ Зикр – радение, религиозный экстаз у суфиев. Цель – слияние с Богом. Достигается непрерывным быстрым кружением с песнопением и бесконечным выкрикиванием молитвы.

Две собаки, вытягиваясь и зевая, смотрели ему вслед, абсолютно не ведая, что какую-то одну из них, пусть далекую и неизвестную, уходящий домой человек выдернул из небытия, надолго вставив в картину, сложенную из классических строф.

«Впрочем, – продолжал он думать, шагая сквозь темноту, – такая же, что и в Рязани, а только пририта-то не по-нашему – рогами не вверх, как положено, но рогами в сторону, полумесяцем, над мечетью... Этим и неодинакова»

Через несколько дней белый туркестанский вагон принялись гонять по темир-джолу целенаправленно: со стрелки на стрелку. Прицепляли к московскому дальнеледующему составу. Предстояло уезжать.

Пока же прощально толпились перед домом Ширияевца под зеленью. Разные люди шли мимо, осуждающе оглядываясь на них, шумящих в будний, а не в праздничный, день. Однако один из них, проходящих поодаль, оглянулся не осуждающе, но с поклоном: не иначе, знакомый.

Обвешанный баночками, коробочками и квадратами измазанных красками деревянных ящичков, человек шел позванивая, постукивая, пошелкивая сухими звуками странствующего оркестра. Выпуклые глаза, спрятанные под плотно надвинутым беретом, несомненно числились среди запомнившихся. Они узнавались, но никак ни с кем не атрибутировались. Разве вот только с тем дервишем, что когда-то недавно был увиден им, Есениным, среди старгородских мальчишек... А еще... Может или не может это быть?... И все же...

– Кто это? – внимательно посмотрев на него, спросил Есенин.

– Девона.¹ Местный дервиш. А вообще-то очень хороший художник Волков, Александр Николаевич.... Маргарита Петровна влюблена в его картины. Подумывает у него живописные уроки брать, кажется, сговорились уже. Я пока против. Хороший по-своему человек, а картины у него странные. Что твой имажинизм. Одни пятна цветные. Не предметы, а разбросанные черепки от побитой посуды.

– Осколки, – произнес Сергей.

Ширияевец удивленно посмотрел на него.

– ...и не разбросанные, а собираемые. Красным солнцем. Для целого.

– Ты что? Видел?

– Ладно, Шурка! Прощай, – не ответив, подал ему руку Сергей. Но тут же и убрал ее обратно, просто обняв. – Приезжай скорей. Тут тебе не место. А в Москве... В Москве много поэтов... И твои стихи тоже устроим. Только про трактора не пиши. И про паровозы. Может, спасешься...

«Причем тут трактора с паровозами?» – подумал Ширияевец.

«И здесь не прижился, и там своего не вытянет», – подумал Сергей, и ему стало грустно: когда и кому было весело оставлять своих близких друзей в компании с невнятными человеками?

Когда расселись и покатили, оставив Ширияевца обреченно стоять у дороги, то ушедшего вперед дервиша нагнали быстро.

Дервиш, идущий мимо бегущего в сторону вокзала тряского тарантаса, с неторопливым уважением поклонился еще раз и отошел в сторону, чтобы не быть покрытым желтой пылью...

Мелкие писатели, уезжая отсюда, всегда знают, о чем здешнем им следует написать. И знают, и пишут, портя бумагу поверхностным персиянством. Есенин жил по иной писательской мере, ничего подчеркнуто не написав.

У больших писателей знание всего чужого будто кем-то специально же отнимается. Чтобы они остались большими, не испортив себя. Дозволено писать навсегда остающимся.

Судьба – это то, что предсказано, чтобы никогда не сбыться.

¹ Девона – сумасшедший.

POST SCRIPTUM, БЕЗ КОТОРОГО ВПОЛНЕ МОЖНО ОБОЙТИСЬ

...«Раскольников уходит из Наркоминдела так же смело, как три года назад увольнялся из армии, и вступает на шаткую палубу литературы, погружаясь в литературу.

Письма Раскольникова к Рейснер, как бы ни был односторонен их поток, как бы ни велик размер, каждое из этих писем (до 60 страниц с бесконечными Р. Р. – Раскольников в смятении просто не мог остановиться) отнюдь не многословно, там каждое слово выверено логически и этически. Это подробная исповедь большого человека, героя. В этих письмах Раскольников ничего не стыдится, он только гордится, что заставляет себя вывернуть душу. Но остались гордость, самолюбие, весьма ценные для познания мира. Эти письма ...сами по себе составят важную страницу нашей истории, подобно заграничным письмам Ленина к Арманд. Это честная исповедь именно большого общественного интереса...

Раскольников войдет в историю не только как герой Энзели, но и как автор писем из Кабула».¹

Другое его – «Открытое» – письмо Сталину, написанное 17 июля 1939 года, известно. Как известна всем и дальнейшая судьба автора, моряка, дипломата и писателя.

...В августе 1922 года, сильно переболев подхваченной в Бухаре тропической малярией, Шурка Ширяевец, Александр Васильевич Абрамов, получил на службе солидный отпускной билет, обозначающий его так:

«Предъявитель сего заведующий Телеграфной конторой при Совете Назиров² Бухарской Народной Советской Республики Александр Васильевич Абрамов, уволенный в 2-х месячный отпуск во все города РСФСР сроком по 11 октября 1922 года, что и подтверждается приложением казенной печати».

Приехав в Москву, жил холостяком. Поначалу нигде не служил. Жил на хлебе и на кипятке из чайника, вскипяченного на примусе. Стихи мало-помалу публиковал. Гонорары шли на подлатывание пиджака и подбойку сношенных сапог.

Маргарита за ним не поехала.

Пересилив любовь, он, по его словам, «...развинченный и усталый, побрел дальше».

«Брел» еще достаточно долго, до своего конца 15 мая 1924 года. Издавал сборники стихов, дружил со многими тоже пишущими. Его любили, наверное, все. Так искренне любят тех, кто не составляет конкуренции. И все же, как написал один из любящих, откликаясь на его смерть: «Никого родных... Ни гроша на похороны...»³

...В 1926 году Анна Ахматова сказала литературоведу Павлу Лукницкому:

– Вы помните, как сравнительно спокойно я приняла весть о смерти Есенина?.. Потому что он сам хотел умереть и искал смерти.

И Лукницкий подтвердил сказанное.

¹ Из очерка Варлама Шаламова.

² Назир – комиссар.

³ Подробно об этом см.: Зинин С. «Александр Ширяевец – поэт Российский и Туркестанский». Изд. Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои. Ташкент. 2013.

ПОЭЗИЯ

**Бах АХМЕДОВ**

Родился в 1967 г. в Ташкенте. Окончил Московский госуниверситет. Кандидат физико-математических наук. Публикуется в литературных журналах и альманахах Узбекистана, России, Великобритании, Израиля, Казахстана и Эстонии. Участник Ташкентского фестиваля поэзии (2008 г.), Международных форумов и конференций.

Ноябрь понимает все...

* * *

Подойди к зеркалу, закрой глаза.
Скажи себе тихо, что так нельзя.
Проведи рукой по холоду дня.
Скажи ему тихо: «Оставь меня».

Но день зажимает тебя в тиски,
и трудно дожить до конца строки.
А из шелей стены выбегают сны,
которым мы вечно что-то должны.

Подойди к зеркалу, открой глаза.
Один будет «против», второй скажет: «за».
И руку спокойно поднимет вверх,
пряча в кармане маленький смех.

Размер неточен, и ритм сбит.
Скажет мне критик и будет сыт
своей правотою, почти святой.
Выйди из зеркала, глаза открой.

* * *

У ноября усталое лицо.
Глаза его холодные прикрыты.
И небо наливается свинцом,
как оболочка дней – извечным бытом.

А впрочем, в мире смертен даже быт.
И это утешением нам служит.
Ноябрь понимает все, молчит
и медленно свои обходит лужи.

А кто-то слепо шпарит напрямик –
подумаешь, насквозь промокли ноги!..
Ноябрь – это осени старик,
уставший подводить ее итоги.

Как человек, не знающий зачем
ему нести своей надежды бремя,
он выберет одну из тысяч тем.
И этой темой снова будет время.

* * *

Осень уклонилась от попытки
смыслом наделить ее навек.
И летели строчки, словно нитки,
и мечтали превратиться в снег.

Но, увы, для снега они были
слишком тяжелы, и потому
превращались в дождь и без усилия
прошивали призрачную тьму.

И казалось, музыкою бредил
этот бесконечный дождь ночной,
Словно в чей-то дом неспящий метил...
Думал, в чей-то...
Оказалось – в мой.

* * *

Что друг другу скажут наши лица,
выходя на свет из темноты?
Станет ли прозрачной та страница,
где мы перейдем с тобой на «ты»?

Может, мы ее оставим чистой...
Может быть, напишем пару строк.
Может, мы сумеем научиться
принимать разлуку как залог,

Как попытку будущих прозрений,
где уже пути обратно нет.
Что друг другу скажут наши тени,
выходя из темноты на свет?

* * *

О ящерка, дискретность вечности,
как можешь ты заморозить!..
Твоя задумчивость беспечная,
твое умение застыть

И вдруг исчезнуть!..
И мгновение
как электрический разряд,
И легкий шок непостижения,
непониманья сладкий яд.

Твой взгляд таинственный и
пристальный
и твой обманчивый покой...
Оставь мне хвост и снова выскользни
незавершенной строкой.

* * *

Трепет метафоры,
ускользнувшей из сна,
все еще отзывается
в памяти пустотою...

Долгая ночь
обернулась в дождь,
а он обернулся снегом.
Мир на рассвете
становится черно-белым,
как старая фотография
с царапинами судьбы.

Зима тиражом
в девяносто экземпляров,
и в каждом – пустые страницы.
И странное ощущение,
что жизнь – вокруг.

Письмо

В его письме была небрежность...
И фразы обрывались вдруг.
Он ей писал: «Твоя надежда,
стара как мир, мой милый друг...

Но все исчерпано, испито...
И смысла дальше просто нет...
И все слова – пустая свита
пустых побед...

Забудь мой голос, друг мой нежный.
Быть может, сердца слепота...
А может, просто неизбежность
и жажда чистого листа...»

Она читала... Мир весенний
заглядывал через плечо.
И время становилось тенью,
точнее, гаснувшей свечой.

Еще немного... Смысла крохи
уже от ночи не спасут.
Зачем, к чему все эти строки,
что всей своею правдой глут?

Так слепота кругами водит,
и мы опять идем за ней.
Лишь дух тоскует о свободе
в плену на сон похожих дней.

* * *

скажи словам скажи устали
скажи словам скажи уснули
скажи себе скажи едва ли
ты усидишь на этом стуле

он уменьшается шагренью
скажи еще скажи уже
беги скорей беги за тенью
живи на скользком вираже

скажи словам скажи отстали
скажи часам скажи стоят
скажи мерцанию печали
так сиротливо не мерцать

скажи что мир подобен бреду
нет ничего не говори
скажи что жизнь начнется в среду
скажи воскресни
и замри

* * *

Птицы – сегодня птицы...
Завтра – быть может, небо.
То, что сегодня снится,
время укроет снегом.

Осень – сегодня осень.
Завтра – к зиме движенье.
То, что сегодня просим,
сделает время тенью.
Город плавает прозрачный,
сны собирая тихо.
Тот, кто сегодня плачет,
завтра увидит выход.

Строчка – сегодня строчка...
Завтра – всего лишь слово.
Птица растает точкой.
Небо начнется снова.

* * *

Она расставляет книги
по возрастанию грусти.
...А где-то туман молочный
собой укрывает город.

Она разбирает письма
из прошлой как будто жизни.
...А где-то огонь пылает,
и отблеск его на лицах.

Она переводит стрелки
настенных часов на осень.
...А где-то часы другие
давно уже спят под снегом.

Она наводит порядок,
хоть знает, как он опасен.
...А где-то в пустой квартире
сидит у окна собака.

* * *

Остатки кофе, как улыбка ночи
всезнающей, всевидящей во тьме.
Но капли света, капли многоточий
мерцают где-то в маленьком окне.

Быть может, кто-то ждет там откровенья
И прячет боль в холодные слова.
О, этот горький опыт отчужденья,
Где ночь в своей надменности права.

Где все незавершенное вершится
На грани забытья и бытия.
Остатки кофе, чистая страница
и жизни обгоревшие края.
Жара и радуга рассудка...
А где-то озеро блестит.
И приступ неба в промежутках,
когда уже бессилён быт.

В кристальном озере сверкает
все то, что ты найти не смог.
И радуга, как мостик к раю,
почти бессмертия залог.

А за окном сплетенье линий,
что прячут новый, чистый звук.
Еще один закончен ливень...
Еще один разорван круг...

* * *

Ночное паломничество к своему прошлому..

Луна блестит, словно тридцать первый
серебренник...
Небо, провисающее под ее тяжестью.

Безмолвная тень Иуды
в каждом преданном тобой дне.

Тихими волнами накатывает одиночество,
оставляя осколки разбитых метафор...

И где-то меж ними трепещет прошение...
Маленькая рыбка, не ставшая словом.



переводы

Мухаммад АЛИ

АМИР ТЕМУР ВЕЛИКИЙ

Роман-эпопея

КНИГА ВТОРАЯ

УМАРШЕЙХ МИРЗА¹

Глава шестнадцатая

I

Младшая дочь Амира Темура Султан Бахт-бегим была подвижной, бойкой, несколько упрямой и по-мальчишески отважной девочкой. С детства она росла озорной непоседой: скакала на лошади, ловко владела мечом и, если предоставлялась возможность, участвовала в боях. Когда речь заходила о замужестве, она тут же бросалась прочь, как горная серна.

Сахибкиран не держал в строгости свою дочь. Вообще Великий амир был снисходителен к своим детям, всегда был с ними ласков и искренен. У него осталась единственная дочь...

К великому сожалению, по возвращении из Герата его ожидали черные вести.

Старшая дочь Ока-бегим тяжело заболела и умерла...

Двое детей от Турмуш-оки – и Джахангир Мирза, и Ока-бегим – умерли в самом расцвете лет. Одному было двадцать, другой – двадцать три.

Сахибкиран был безутешен. Мир для любящего отца стал черным, боль пронзила его сердце, разум, казалось, покинул его, и мука его была нескончаемой и вечной.

Как же было сложно принять от Аллаха еще одно такое мучительное испытание. Как же тяжело было смириться...

Последующие же события превратили его сердце в камень. Великий амир, как правило, перед тем как пойти в поход, бросал жребий, чтобы выбрать жену, которую возьмет с собой. На какую падал выбор, та и сопровождала его. Супруги правителя с волнением ожидали результата, даже тайно гадали.

В этот раз жребий пал на Дильшод-оку. Степная красавица на зависть всем уехала с Амиром Темуром. В Иране во время осады крепости Туршиз Дильшод-ока заболела, и ее срочно отправили в Самарканд. Однако лечение оказалось безрезультатным, и степная красавица умерла.

Покинула этот мир и умница сестра, искренняя советчица и наперсница Великого амира, великая Кутлуг Туркан-ока!..

Столько испытаний разом свалилось на бедную голову Амира Темура!

Как ни странно, за месяц до смерти Кутлуг Туркан-ока, пожаловав в Куксарай, завела разговор о Ханзаде-ханум, которой к тому времени уже исполнилось двадцать четыре года и которая вела одинокую вдовью жизнь.

– Мы долго совещались с махди улё Сараймулькханум... Она очень мудрая женщина. Амир Сахибкиран! Если вы позволите, согласно традициям наших предков мы можем обручить Ханзаду-ханум с Мираншахом Мирзой. По обычаю, если брат покидает этот мир, то заботы о его семье берет на себя младший брат! Амирзаде теперь совершеннолетний, ему семнадцать лет.

Амир Темур не возражал, он и сам много думал о хорезмской принцессе, но

¹ Продолжение. Начало в № 2, № 3 за 2016 год.

не находил решения. «Моя любимая невестка, которую я когда-то назвал не дочерью, а сыном, никогда не покинет мой дом, будет всегда рядом, не будет обижена», – подумал султан.

– Дорогая сестра! Спасибо! Спасибо! Долгих лет вам! – радостно произнес он.

Кутлуг Туркан-ока растроганно улыбнулась.

Сейчас, вспоминая, он понял, что бонуйи кубро была на пороге смерти, чувствовала это и пыталась исполнить то, что не успела.

Свадьба Мираншаха Мирзы и Ханзады-ханум состоялась в Коникиле. К тому времени Мираншах Мирза был назначен наместником в Хорасане, и после торжеств молодые с триумфом должны были отправиться в Герат.

Ханзада-ханум, наряженная в подвенечное платье, крепко прижимала к груди семилетнего сына Мухаммада Султана, сердце ее разрывалось, ей казалось, что она прощается навсегда. Останется одинокой могила ее любимого принца Джахангира Мирзы...

«Что я могу, это желание Аллаха, я готова была быть всегда рядом и прожить эту жизнь в одиночестве! – целуя сына, мысленно обращалась бедная хорезмийка к Джахангиру Мирзе. – У меня не было ни намерения, ни желания вновь выходить замуж... Не было!.. Но меня выдают... Меня и не спросили, хотя я, думая об Амине Сахибкиране, дала бы согласие. В Герат поедет мое тело, но сердце, моя душа до последнего вздоха рядом с вами, мой принц!»

Семилетний Мухаммад Султан, ничего не понимая, молча смотрел горящим отцовским взглядом на мать, которая за один день по воле судьбы превратилась в чужую.

...Через год принцесса Хорезма подарила Сахибкирану внука Халила Султана...

Но это потом.

А тогда Кутлуг Туркан-оку похоронили на кладбище Шахизинда возле могилы Ку-сама ибн Аббоса. Десять лет назад венценосная старшая сестра построила мавзолей для своей умершей юной дочери Шодимул-оки. По ее завещанию ее похоронили рядом с дочерью.

Когда наступает час, человека ничто не спасает: ни богатство, ни родственники, ни власть... Сахибкиран думал, что больше не сможет выдержать ударов судьбы.

Череда смертей, предательство тех, кому он доверял, непостоянство мира охладили его пыл, в душе зарождались страх и ненависть. Он был истерзан душевной болью, утомлен беспокойством, измучен страданиями. Бездна надежды застилала все радости жизни.

По дороге с кладбища в Куксарай наставник Мир Сайид Барака и шейхулислам Ходжа Абдумалик пытались утешить подавленных Амира Темура и Амира Довуд-дуглата.

Все видные деятели салтаната, аксакалы из разных вилайетов выстроились в ряд на улице Арк. Пришедшие выразить соболезнование после прочтения заупокойной молитвы не уходили, а пополняли ряды сочувствующих, стоящих на обочине улицы.

Не успели зажить старые раны, как младшая сестра Сахибкирана Ширин-бика тоже покинула этот мир...

Амир Темур, собрав всю свою волю в кулак, понимая, что дела земные не ждут, рьяно взялся за государственные дела, которых накопилось огромное множество, это встряхнуло султана и возвратило к жизни.

... Младшая дочь султана очень долго не соглашалась выходить замуж.

Но через год после описанных событий в Коникиле все-таки состоялась свадьба: двадцатичетырехлетнюю Султан Бахт-бегим Сахибкиран выдал замуж за Мухаммада Мирака, сына своего старого друга, покойного Амира Шер Бахрама.

В начале 1385 года по христианскому летоисчислению молодожены после медового месяца, проведенного во дворце Боги Баланд, отправились в Хутталан.

II

Дворец правителя Хутталана амира Мухаммада Мирака находился в центре вилайета в городе Хулбук. Самым большим городом этой области считался город Мунк, однако резиденция хутталанских амиров издавна была расположена в Хулбуке.

Лет двадцать-тридцать назад в этом роскошном дворце жили именитые Амир

Кайхусрав и его младший брат Амир Кайкубад. Отец Мухаммада Мирака Шер Бахрам приходился им родственником.

После свадьбы Мухаммада Мирака и Султан Бахт-бегим Сахибкиран немного успокоился. Раньше переживал за дочь. Чувство одиночества в молодом возрасте может привести к печальным последствиям, а этого Сахибкиран не выдержал бы.

Свадьба молодых продолжилась еще неделю в Хулбуке.

Мухаммад Мирак недолюбливал дочь Амира Темура. Он понимал, как сложно будет ужиться с такой своенравной гордячкой. Но желание султана – закон, и не всегда же ему сидеть в наместниках Хутталана, вон и его отец, желая быть поближе к Амиру Хусейну, бросил Хутталан, сколько испытаний перенес, перешел на сторону Амира Темура, оправдал доверие Великого амира. Сахибкиран любил Шер Бахрама. Но тот снова переметнулся к Амиру Хусейну. Хотел плыть сразу в двух лодках и в конце концов был казнен. Он помнил слова отца, которые тот частенько повторял: «Сынок, каждый амир мечтает стать султаном. А это совсем другое дело. Падишахство как солнце: приблизишься – сгоришь, отдалисься – замерзнешь...»

Два месяца после свадьбы молодожены жили мирно, занятые визитами, гостями и путешествиями. Постепенно поведение Мухаммада Мирака стало меняться, хотя осторожный амир пытался быть сдержанным.

Дочь Сахибкирана поначалу ничего не замечала и не обращала внимания на мелочи. Жених ей казался ласковым и благовоспитанным юношей. Только то, что он и днем приставал к ней, смущало ее.

– Моя принцесса... я соскучился... – подмигивая выпуклым глазом, прямо заявлял Мухаммад Мирак...

– Отстаньте! – отталкивала его принцесса.

– Вы моя... Я купил вас у вашего отца, ха-ха-ха! – и, бесстыжий, не отставал, пока не получал свое.

И так через день...

Султан Бахт-бегим не успела до конца понять разнузданный нрав супруга – начался трехлетний поход Сахибкирана на Иран. Из Хумаюн урду во все вилайеты был разослан указ о походе, пришло послание и в Хулбук.

Правитель Хутталана Мухаммад Мирак, собрав войско, отправился в военный лагерь вблизи Герата. Он почему-то не взял с собой молодую жену, а поехал в сопровождении старшей жены-индианки.

Поначалу ее задело, что ею пренебрегли, но потом, все взвесив, она решила, что ее берегут, и это проявление особой заботы мужа. Потом нашлась еще одна причина успокоить себя. Ведь ее отец не брал в поход всех жен и невольниц. Иногда с ним отправлялась Туман-ока, иногда Дильшод-ока, но Сараймулькханум никогда не покидала Боги Чинар. Старшая жена всегда оставалась в Самарканде и встречала его по возвращении, собрав всех женщин гарема. Султан Бахт-бегим тоже в таком же ранге!

Менее чем через год, возможно, было взято во внимание, что Мухаммад Мирак – зять султана, а может, из-за того, что Хутталан – стратегическое место, важное для безопасности, пришло указание хутталанскому войску вернуться обратно. Среди нукеров прошел слухок, что, мол, зятек попросил тестя возвратить его домой.

Не зная об этом, Султан Бахт-бегим в сопровождении невольниц решила навестить почтенного отца, а заодно увидеться со своим супругом и отправилась в сторону Ирана. Такому решению принцессы способствовал визит гонца из Самарканды от Сараймулькханум.

– Ее величество Бибиханум сообщает вам, что Амир Сахибкиран приедет для празднования Навруза и приказал пригласить всех родных на берег озера Севан.

Султан Бахт-бегим обрадовалась. Как же хорошо! Она всех увидит, со всеми поболтает, отведет душу в кругу родных.

Однако принцессе так и не суждено было приехать. Когда она со слугами и невольницами достигла Термеза, ей сообщили о возвращении Мухаммада Мирака.

Мухаммад Мирак, внезапно встретив свою прелестную супругу, вместо того чтобы обрадоваться, выпучив глаза, набросился с криками:

– Куда это вы собрались? Кто вам сказал, что так можно поступать? Почему вы не остались в Хулбуке?

– Я сама...

– А кто вам разрешил?

Принцесса, поняв, что попала в неприятную ситуацию, опустила голову.

– Вы, я смотрю, любите своевольничать! Ну да, птица делает то, что видела в своем гнезде!

– Ие! Что вы этим хотите сказать? Причем тут гнездо птицы? Я хотела вас встретить, что тут плохого?

– Э, у меня нет времени с вами препираться! – бесцеремонно оборвал супруг. Затем беспечно приказал своим нукерам: – Приготовьтесь! Выезжаем!

– Что плохого в том, что я вас выехала встретить? – повторила с чувством собственного достоинства Султан Бахт-бегим. – Ее величество Сараймулькханум всегда выезжает в Ташкент, чтобы встретить Амира Сахибкирана.

– Э... э... это совсем другое... Но я не Сахибкиран, а вы не Ее величество... До этого сколько дынь должно поспеть!

Принцесса от обиды поджала губы и замолчала.

Не разговаривая друг с другом, они вернулись в Хутталан. Это насторожило Султан Бахт-бегим.

Однажды Мухаммад Мирак стал бредить во сне:

– Уйди! Уйди! Уйди! Вон! Вон!.. Хим-м! Хим-м! Хе, какая птица! Держи! Держи...

Султан Махмуд! Где Тохтамышхан?..

Молодая жена испугалась. Смотрит, а ее суженый покрылся холодным потом. Через какое-то время он успокоился и захрапел.

В это время во дворе послышался кашель сторожа. Принцесса совсем потеряла сон. В последнее время супруг иногда был встревожен, подозрителен, у него наблюдался какой-то беспочвенный страх, странные поступки. Но молодая женщина не придавала этому большого значения.

Через какое-то время муж снова начал бессвязно бормотать:

– Да, да, ты?... Ты?... Кто? Искандар Зулкарнайн? Хо-хо-хо! Я Искандар Зулкарнайн! Я!.. Ты?!.. Ты? Ты?

Мухаммад Мирак резко вскочил с места и бросился на Султан Бахт-бегим, в страхе сидевшую в сторонке:

– Ты? Ты? Я Искандар Зулкарнайн! Я! Ты? Я тебя...

В беспамятстве муж протянул руки к ее шее, пытаясь задушить. Может, он думает, что она – Искандар Зулкарнайн? Неужели ее муж заболел, неужели он сумасшедший, неужели он перестал узнавать свою супругу?..

Принцесса хотела кричать, но поняла, что кричать среди ночи бесполезно, и пыталась самостоятельно высвободить шею из цепких рук Мухаммада Мирака. Гнев придал ей сил, она оттолкнула Мухаммада Мирака, превратившегося в безумного хищника. Супруг упал на подушку и снова захрапел.

Наутро, когда супруга рассказала о происшедшем, Мухаммад Мирак ничего не помнил и даже удивлялся.

Султан Бахт-бегим стала подозревать, что ее супругом овладел шайтан. Один случай вроде бы подтвердил это подозрение.

Через две недели принцесса невзначай узнала, что Тохтамышхан отправил гонца в Хутталан. Гонец привез ответ на письмо Мухаммада Мирака... «Надо узнать, что в этом письме! Надо заполучить это письмо! – чувствуя неладное, подумала она. – Я обязательно найду возможность!»

В письме сообщалось, что дела в Золотой Орде идут хорошо, что ей подчиняются теперь все – от Тебриза до Московии, и далее:

«Я благодарен Вам. Вы против Сахибкирана – это то, что надо: победить такого правителя можно лишь объединившись. Нужно собрать всю волю в кулак. Даст бог, Туран будет вашим. Но для этого нужно время. Очень скоро наши люди распространят ложный слух о том, что Тохтамышхан собирается в поход на Хорезм. Амир

Темур, несомненно, все свое внимание направит на Хорезм и отправится туда... Страна будет не защищена. И тогда наступит ваше время. Вы должны срочно собрать соратников, отправить гонимых в Бухару и Самарканд и захватить трон... Пока Амир Темур вернется из Хорезма, вы займете престол... Встретимся в раеподобном Самарканде, в Куксарее...»

Мухаммад Мирак, прочитав письмо, пришел в восторг, на глазах выступили слезы. Но тут же подумал: «А не лукавит ли Тохтамышхан? После того как я завладею троном, не отнимет ли он его у меня? Не останется ли Мухаммад Мирак опять наместником Хутталана? Не зря говорят, нельзя верить в таких делах ни старшему брату, ни младшему!» Он снова начал перечитывать письмо, но с каждым разом при чтении его тревоги и страхи рассеивались.

Он тут же пригласил к себе брата Абулфатха, который был младше его на шесть лет, – несамостоятельного, трусливого юношу. Он всегда не задумываясь делал то, что приказывал ему старший.

Они расположились в гостиной в доме амира, и Султан Бахт-бегим, случайно проходя мимо, услышала их голоса. Дверь в гостиную была закрыта, разобрать слова было трудно. Иногда до нее доносились обрывки фраз: «Тохтамышхан... гонец... Самарканд».

– Я близкий друг правителя Золотой Орды, я друг! Ты видел. Он отправил мне письмо! Он не всем пишет... – хвастался Мухаммад Мирак.

В это время дверь гостиной немного приоткрылась, и Султан Бахт-бегим теперь все хорошо слышала. Правитель Хутталана рассказал о планах Тохтамышхана, изложенных в письме. Потом в подтверждение своих слов стал читать послание вслух. В конце он воскликнул:

– Я захвачу салтанат Сахибкирана!

«Вай! Чтоб ты сдох, безумец! Глупец!..» – подумала Султан Бахт-бегим...

– Сказать тебе, в чем блаженство в этом мире? О, ты не знаешь... – воскликнул Мухаммад Мирак.

Абулфатх со страхом слушал старшего брата. Он считал его порочным и подлым, очень боялся его нрава и никогда не перечил.

– Власть! Моя мечта – властвовать! – восклицал правитель Хутталана. – Еще... люблю я красоток! Красо-о-оток! Я мечтаю растоптать всех их, а лучше мучить, мучить их! Вот блаженство! Счастье! Ох! Вот это будет праздник!.. Плов на курдючном сале, казы, шашлык из печени, жареные перепела, самса из баранины... Вино рекой... И ты все это ешь и пьешь вдоволь! Хо-хо! Потом обнимаешь красавицу, мучаешь ее, выжимаешь из нее все соки, потом снова мучаешь! Особенно дочь Амира Сахибкирана! Я буду мучить родную кровь Сахибкирана! Мучить... мучить... Какое наслаждение! Какое счастье! Праздник для души! Когда я мучаю красавиц, я получаю такое удовольствие! Знаешь, когда я истязую женщин, я так возбуждаюсь, о-о-очень возбуждаюсь! Я становлюсь львом! Ох!..

Глаза Мухаммада Мирака горели от восторга.

Абулфатх, не перебивая, слушал его.

Султан Бахт-бегим, закрыв лицо, потрясенно прошептала: «О, горе мне! Вот нечестивец!» – и отошла от гостиной. Теперь она точно знала, что ее супруг в когтях шайтана.

– Я хочу вас спросить, мой амир, – ласково заговорила Султан Бахт-бегим как-то вечером. – Почему вы во сне всегда от кого-то убегаете? Или скачете на лошади! Чего-то боитесь, что ли, прости меня Боже...

– Боюсь?.. Нет, нет...

– Вчера ночью вы тоже что-то кричали. И раньше так было. Я вам говорила.

– И что я говорил?..

– Если небо упадет, куда мне бежать? Что делать, если земля поглотит все! Иногда вы называете имя Амира Сахибкирана... Говорите: «Я буду падишахом, я буду падишахом!» Каким падишахом вы хотите стать?

Мухаммад Мирак выпучил глаза, словно его поймали на чем-то постыдном.

– Кто вас научил контролировать меня, моя принцесса? Или ваша мать родила вас только для этого? Когда Сахибкиран выдавал вас замуж, он приказал вам следить за мной? Вы жена или надсмотрщик? Это он научил вас следить за тем, что я делаю, куда хожу? Как дышу? Что говорю? Так? Отвечайте же, принцесса!

Правитель Хутталана почувствовал нервное жжение в уголках глаз и непроизвольно начал ерзать на месте. Его взгляд напоминал взгляд хищника. Он часто захлопал ввалившимися глазами, брови нервно задергались. Признаки помешательства были налицо. Султан Бахт-бегим вспомнила, что читала об этой болезни в книге Ибн Сино. Такие люди бывают обычно трусливыми, подозрительными, несносными, замкнутыми, поддающимися беспочвенной панике, чувствующими себя иногда падишахами, иногда дьяволами, иногда животными...

Султан Бахт-бегим не узнавала супруга... Неужели, ее избранник заболел? О боже, какая напасть на бедную голову Султан Бахт-бегим!..

– О боже! Я не узнаю Вас... Что вы говорите, мой амир? Не пристало вам такое! Что за нелепости вы говорите?! Неужели это не сон?

– А что вы хотели, чтобы это был сон? Сон? А?

– Вай... я...

Супруг не дал ей договорить и с презрением закричал:

– С тех пор как вы появились здесь, мне нет покоя... Следите и следите за мной! Вас надо было назвать не Султан Бахт-бегим, а Султан Тергаш¹-бегим! Понимаете... мы тоже не из простого теста, мы понимаем, что все сообщается в Хумаюн урду. Амир Сахибкиран вас выдал за меня, чтобы вы шпионили...

Эти слова переполнили чашу терпения принцессы. Она долго сдерживалась, но теперь не смогла. Обвинять ее в шпионстве, унижать отца, так презрительно насмехаться над ней?! Такое вынести она не могла. И тонкая нить, связывающая супругов, мгновенно разорвалась.

– Ие! Шпионство? Вай! Да кто вы такой, чтобы шпионить за вами? – захохотала от обиды Султан Бахт-бегим. – Бессовестный! Это за все хорошее, что вам сделали?.. За доброе отношение к вам Его величества Амира Сахибкирана? И не только к вам, но и к вашему отцу... Не сочтите деликатность за трусость, мой амир!..

– Что-что?.. Доброе отношение?.. Что такого хорошего он сделал? Сражаешься за него не жалея жизни, бросаешься в самое пекло, но слава достается другим! На курултае о тебе ни словечка! И так всегда: мы сражаемся, кровь проливаем, а все заслуги присваивает он... Вон во время похода на Иран как я только не рисковал! Захватил крепость Аланжук! Ух-ху! Какую крепость взял приступом! Сам тиран Од ее воздвиг. Я разрушил ее до основания! Привел в Хумаюн урду начальника крепости в кандалах. Но не-е-ет! Сахибкиран оставил все без внимания! Ни на машварате не упомянул о нас, ни даже каким-нибудь суюргалом² не отметил... Он меня не поддерживает, а ведь я его зять! Даже пророк почитал зятя! Э-э-э! Это называется справедливость. Все твердит «справедливость», «справедливость»! Справедливость! А где справедливость? В небе?!

– Вы же правитель большого вилайета! Что вы на это скажете? Правителем могли стать другие...

Мухаммад Мирак засмеялся как безумный:

– Правитель вилайета! Правитель вилайета! Хутталан испокон веков принадлежал моему роду! У вашего отца нет ни капельки прав на него! И пусть не думает, что он милостив ко мне! Зять Сахибкирана! Я не стремился быть его зятем, если хотите знать правду! Никто вас не брал замуж, это он просьбами и уговорами выдал вас за меня!.. Ха-ха!.. Ваш отец сам вас выдал! Неходовой товар сбыл мне...

Принцесса задрожала от боли и гнева, пожалев о том, что сейчас у нее в руках нет меча, чтобы дать достойный отпор наглецу! По ее мнению, она не должна более сидеть как «неходовой товар», а действовать, делать что-то!

¹ Тергаш – здесь букв. следовательно, надсмотрщик.

² Суюргал – жалованное поместье за успехи в воинской службе.

Глаза Султан Бахт-бегим яростно блеснули:

– Что-что? Вот негодяй! Каков болван! Ах ты подлец! Бессовестный! Чтоб ты сдох! Ты не мужчина, а тряпка!..

Мухаммад Мирак, глядя на сузившиеся от ярости миндалевидные глаза принцессы, на раскрасневшееся лицо, был потрясен ее неземной красотой. Его охватило страстное желание овладеть ею... Он схватил ее и крепко привязал к столбу в середине комнаты... Затем принес ведро воды и вылил на нее! Его действия мало напоминали поступки здорового человека.

Розовое платье принцессы намокло, обнажив все изгибы красивого молодого тела. Мухаммад Мирак как ни в чем не бывало, задыхаясь от страсти, зашептал: «Моя принцесса... Моя принцесса... Как вы прекрасны, моя принцесса!» Кинувшись к столбу, он разорвал тонкое платье и, что-то бормоча, набросился на принцессу, остолбеневшую от поведения мужа...

Глава семнадцатая

I

Возвратившись из похода на Иран, длившегося три года, Сахибкиран не обрел покоя: его враги все еще не сложили оружия...

Говорят, и его «сын» нашел общий язык с хорезмскими правителями, которые напали на Бухару, подожгли Занжирсарай...

На машварате в Куксарае, помимо основных членов совета, присутствовали участники сражения в Чукалаке. Сахибкиран пригласил их для анализа положения дел. Речь зашла об итогах иранского похода.

В этом походе произошло печальное событие...

...Тогда, после Хамадана, воины Сахибкирана направились в Исфахан. Амир Темур, как правило, никогда не прибегал к жестокости, стараясь сначала договориться, посылал послов, не желая зря проливать кровь. В указе Сахибкиран писал:

«Покоритесь салтанату Туран и заплатите годовую дань... И город будет под защитой Турана! А кто ослушается и не подчинится, окажет сопротивление, кто не поймет нашей доброй воли и пойдет по пути сопротивления, тот ввергнет в страдания своих соплеменников и свой край. А принявшего наши условия мы с большими почестями примем в свои ряды, не причиняя никакого вреда».

Знать Исфахана, ознакомившись с этим приказом, решила попросить приема у Сахибкирана.

– Городское население согласно выплатить дань, Амир Сахибкиран, – поклонившись, сказал градоначальник.

Сахибкиран был удовлетворен, одарил подарками послов.

– Но для того чтобы собрать сумму налога, нам нужны ваши люди, – сказал градоначальник.

Прошение было принято. Согласно высочайшему указу было выделено три тысячи воинов. Все началось ночью. В махалле Чорсу появившийся откуда-то некий горластый Али Кучапо собрал вокруг себя толпу и подговорил ее расправиться с воинами Сахибкирана, преспокойно спящими в разных частях города.

– Всех казнить! Всех казнить! – призывал Али Кучапо.

Многие поддержали его. Поднялся шум. Срочно прибывшие градоначальник Сай-ид Музаффар Каши и другие попытались успокоить разбушевавшуюся толпу, призывая бунтовщика не поступать опрометчиво:

– Прекрати глупые разговоры! Заткнись! Ты вообще из какой махалли?

Слова градоначальника еще более раззадорили Али Кучапо, он еще громче стал кричать:

– Почему мы должны подчиняться Темурленгу? Платить годовую дань?.. Нет, ни

за что! Смотрите! Три тысячи вражеских воинов в наших руках, все они спят. Нас благословляет сам Бог! Три тысячи воинов! Если мы их уничтожим, войско Турана ослабеет и вернется в свою страну! Казним их, друзья! Казним всех!..

Сайид Музаффар Каши попытался возражать:

– Хай-хай! Закройте рот этому подстрекателю, эй, мусульмане! Кто он, его никто не знает, глупец! Им движет шайтан! Разве вы не видите? Он говорит словами шайтана, он обманывает вас! Он накличет на нас беду! Он сумасшедший! Противостоять войску Амира Темура невозможно! То, что мы заключили перемирие, уже удача! Не позволяйте одурачить вас приспешнику шайтана, эй, мусульмане! Эй, нукеры, схватить его! Задайте ему как следует!

– Беду нам принес не я, а они! – закричал Али Кучапо, указывая на вельмож. – Они считают нас невеждами, решают за нас нашу судьбу! Перемирие? Да они нас продали, получили подарки и довольны! Гоните прочь этих предателей! Гоните их взашей! Чтобы духу их не было!..

Разъяренная и обезумевшая толпа кинулась к градоначальнику и его соратникам.

– Ах так! Бей градоначальника! Градоначальника!.. – закричал кто-то из толпы. – Они нас продали! Бей предателей!

Кто-то из толпы схватил градоначальника за шиворот и стал избивать. Остальные тоже набросились на него, за несколько минут тело градоначальника превратилось в кровавое месиво... От многочисленных побоев бедняга скончался на месте. Остальные вельможи бросились наутек.

Под звуки барабана исфаханцы обходили все улицы города, заходили в каждый дом, перерезали горло туранским воинам, многих сажали на копье, рубили на куски... В эту ночь только несколько туранских нукеров смогли сбежать за пределы города. За ночь погибло около трех тысяч воинов Сахибкирана...

О случившемся доложили Сахибкирану, Амира Темура затрясло от ярости. От обиды и возмущения помутилось в голове. Пытаясь взять себя в руки, Сахибкиран вышел из шатра и долго, оставаясь неподвижным и теребя бороду, глядел в сторону Исфахана...

Затем призвал амиров и бахадуров, но не промолвил ни слова: слова были излишни. Произшедшая трагедия изгнала из их сердец жалость и милосердие, которые с таким трудом он взращивал в своих воинах. Их лица буквально горели: «Мсть! Мсть!»...

Как поступить? Кто возьмет ответственность за кровь трех тысяч невинных людей? Какое наказание должно быть за такое преступление? Опять пойти по пути прощения? Если он простит такое, то как сможет жить дальше? Оставят ли его в покое души безвинно погибших? Простит ли его Бог? А что подумают амиры, беки и простые воины? Где, скажут, справедливость, вы не наказали смутьянов, ведь всегда сила была в справедливости, не так ли, Амир Сахибкиран?

Сахибкиран мучился, считая себя виновным в том, что так легко поверил исфаханцам. Неожиданно он вспомнил древнее предание и иронично усмехнулся. Харуну ар-Рашиду один из мудрецов как-то сказал: «Если подданный, видя милосердие падишаха, его мудрость и справедливость, все равно ведет себя враждебно, он – настоящее порождение шайтана. А если падишах, видя действия этого шайтана, чувствуя гнев и справедливое негодование, продолжает вести себя как ни в чем не бывало, такой падишах – осел и балбес».

– Если надо, мы готовы обнажить наши мечи и окрасить их кровью врага! Они – не понимающие добра, неблагодарные! – с яростью воскликнул Амир Темур. – Пусть весь мир узнает, как люди расплачиваются за собственные проступки! Наша воля такова: нужно наказать шайтана! Захватить город! Отрубить головы смутьянам! Шейхов и ученых не трогать!

Амиры и бахадуровы бросились выполнять приказ. Войско в мгновение ока превратилось в жаждущую возмездия лавину. Слева стоял наготове Мубашшир-бахадур, у которого в эту ночь исфаханцы убили младшего брата. С правой стороны толпу возглавлял свирепый и беспощадный Худайдад Хусейни...

Светопреставление длилось долго, землю и небо накрыла песчаная буря. Крики, стоны людей слились в единое стенание.

Уже никто, даже Сахибкиран, не смог бы остановить такую ярость и жажду мщения. Группа горожан задумала тайно ночью бежать из города. Неожиданно выпал снег, и по следам на снегу их нашли и уничтожили. Никто не спасся... На улицах тут и там лежали отрубленные головы, обезглавленные трупы. Впоследствии из голов был выложен минарет...

Когда Сахибкирану рассказали о произошедшем, он содрогнулся...

– Я же не приказывал отрубать головы мусульманам, Мамат!.. – закричал на Мухаммада Чурага-додхаха султан. – Я распорядился лишь найти смутьянов, казнить и в назидание всем сложить их головы в одну кучу!..

Сахибкиран не мог успокоиться, злился на себя: «Вот досада! Сколько среди погибших невинно убитых мусульман! Аллах, прости меня! Это мой грех и нести его мне! Что случилось – теперь не изменить!..»

II

Произошедшее не выходило из головы Сахибкирана, вплоть до приезда в Самарканд он был мрачнее тучи. Мухаммад Чурага-додхах по возможности старался не напоминать о трагедии. Но как такое можно было забыть! Кто-то подсчитал количество убитых, их оказалось семьдесят тысяч... Об этом говорили все! О боже!

Мухаммад Чурага-додхах не верил, что кто-то мог в таком аду хладнокровно считать головы: «Никому это не поручалось... В городе-то такого количества жителей не было! Ну, если взять вместе Исфахан и, к примеру, Хамадан, тогда может и выйдет столько. Счетоводы, по-моему, преувеличили. К сожалению, я не проконтролировал это, и вот результат». Бедный додхах даже не подозревал, что через годы и столетия его невнимательность может так подорвать авторитет Амира Темура, создаст неверное представление о его жестокости.

...В Куксараях все еще царил мертвая тишина. Все ждали, что скажет Сахибкиран, а он не знал, что сказать. Амир Сайфиддин-некуз понял его состояние и поспешил на помощь:

– Прошу прощения, Амир Сахибкиран. Для того чтобы в стране были спокойствие, благодать, нужно иметь твердую руку. Лекарь тоже делает больно, а затем наступает облегчение и выздоровление. Это понятно и молодому, и старому, – поклонившись, нарушил тишину Амир Сайфиддин-некуз. – Что ж! Править салтанатом надо с умом, а порой приходится и с мечом... Все в воле Аллаха...

Сахибкиран, словно проснувшись, глубоко вздохнул:

– Вы правы, господин некуз. Тогда судьба соединилась с мечом... В Коране говорится, что если раб божий заблуждается, то тоже по воле Аллаха. Неужели Аллах этого хотел? Неужели нужно было уничтожить целый город? Неужели жители были так греховны?..

Сахибкиран не пытался оправдать себя. «Да, совестливый человек Амир Сахибкиран», – подумал духовный наставник, остро переживающий эту трагедию.

– Амир Сахибкиран! Справедливое возмездие должно считаться добрым делом. Что делать, если мусульмане сами стали причиной этих событий? – отчетливо проговорил Мир Сайид Барака. – Прodelки исфаханских смутьянов как мираж в пустыне: человек от жажды стремится к нему, а на самом деле там пустота, ничего нет... То, что сделали невежественные простолюдины, – зло и большая глупость...

– То, что написано на лбу у них, Амир Сахибкиран, никто не в силах изменить. Все это от невежества. Это дела Хозяина всего сущего... – вмешался в разговор шейхулислам Ходжа Абдумалик.

Амир Темур увидел, как дрожали руки шейхулислама с цветными четками, когда он поглаживал свою редкую бородку.

Остальные молчали, желая постичь смысл сказанных мудрецами слов.

Амиру Темуру трудно было говорить, но донести до мавшварата то, что случилось в Исфахане, было необходимо. В салтанате у Сахибкирана нет места тайнам, все открыто обсуждается на советах...

Он решил поменять тему разговора.

– Уважаемые члены машварата! У нас в стране произошло нечто еще более серьезное, чем в Исфахане...

Все заерзали.

– Удивительно! – продолжил Амир Темур. Отовсюду, где бы ни ступала наша нога, мы всегда возвращались с победой! Неужели возможности тюрков сузились, как их глаза? О Всевышний!..

Умаршейх Мирза и все участники боя на Чукалаке молча сидели в углу, сожалея, что не погибли в том сражении.

... Воспользовавшись тем, что Сахибкиран в Иране, Тохтамышхан напал на Сигнак. Умаршейх Мирза срочно отправил гонца в Самарканд, а сам поскакал в Отрар. Амир Сулейманшах и Аббас-бахадур, собрав в Самарканде войско, отправились в поход. В Ташкенте к ним присоединился Амир Халил.

Войска встретились в пяти верстах от Отрара, в местечке Чукалак. Выстроились. Начался бой.

Умаршейх Мирза проявил излишнюю нетерпеливость и суетливость. Стремительно прорвавшись сквозь вражеский строй, он не заметил, как отделился от своих. Войско, оставшись, как тело без головы, без предводителя, впало в панику и потеряло бойцовский настрой.

Бегство возглавил Амир Халил, страшно испугавшись натиска неприятеля и решивший, что сражение проиграно.

Умаршейх Мирза, попав в затруднительное положение, ругал себя последними словами. Как он мог забыть про стратегию боя! Быть полководцем очень непросто! Ну да, у него есть смелость, сила, скорость, однако надо было лучше учиться в отрочестве у учителя боевому искусству, а не валять дурака! Вот теперь результат!

Разозленный амирзаде в полном одиночестве доскакал до Андижана. Дождавшись темноты, не показываясь никому, он сумел тайно войти в город. Ситуация требовала срочно собрать войско. Однако пришло сообщение, что со стороны Жеты Анко Тура напал на Сайрам и Ташкент, сжигая все на своем пути. Умаршейх Мирза вновь не утерпел и срочно направил войско из Узгенда в Ходжент.

– Устыдить надо всех вас! – раздраженно сказал Сахибкиран. – Но, чтобы устыдиться и покраснеть, надо иметь хоть какое-нибудь лицо. А вы его потеряли, трусы! Теперь все узнают о горе-смельчаках из войска Амира Темура! Вспомните Аббас-бахадур! Вот каким должен быть настоящий бахадур!

Сахибкиран не скрывал, что гордится Аббас-бахадуром кипчаком. Какой он был преданный воин, какой отважный! Он был его другом около двадцати лет! Предпочел смерть бегству! Увы, ушел молодым...

Амир Темур приказал наказать виновных ударами палок. Умаршейх Мирза и Амир Сулейманшах явились с опущенными головами.

Оба амирзаде брали вину на себя, пытались оградить товарищей, они стояли на коленях с опущенными головами. Члены машварата удивленно смотрели на них.

Амир Темур был доволен поведением молодых, свидетельствующим о совестливости, но не показывал виду и мрачно поглядывал на всех. Оба были наказаны.

А Амир Халил, трусивший во время боя, подвергся более серьезной каре. Ему побрили бороду, нанесли на лицо белила и румяна, повязали голову женским платком и повели по городу. Видевшие его сокрушались, сочувствуя такому позору, павшему на его голову.

Через день город узнал, что бедный амир, стыдясь домочадцев, закрылся, никого не подпуская к себе. Утром его нашли в конюшне повесившимся...

Глава восемнадцатая

I

Амир Темур, уверенный, что его северные границы надежно защищены в Дашти Кипчаке, вначале был не осведомлен о тайных намерениях своего «сына». По правде говоря, в душе он верил в преданность Тохтамышхана, однако и сомневался, не

связывая с ним больших надежд. Он не скрывал этого. В последние годы Тохтамышхан регулярно отправлял через послов и гонцов ложные сведения и редкостные подношения, проявляя тем самым уважение и любовь к «отцу», что усыпляло бдительность Сахибкирана. Как-никак он выполнял сыновний долг...

Тохтамышхан мечтал объединить Золотую Орду и сделать ее сверхмошной державой, как во времена Узбекхана. Один из претендентов на Золотую Орду, Амир Мамок, после сокрушительного поражения на берегу реки Калки сбежал в город Каф и был там убит. Другой высокопоставленный соперник – Амир Идику-мангит – не проявлял своих намерений.

С целью расширения нового ханства были отправлены войска на Кавказ и в Азербайджан, совершен поход на Тебриз. Затем Тохтамышхан обратил свой взор на разрозненные русские княжества, разграбил и поджег небольшой город Московию... Несмотря на то что его государство расширялось, «сын» тайно все больше и больше завидовал правителю могущественного салтаната Туран...

Сахибкиран же считал, что могущество Тохтамышхана – признак усиления могущества Турана, но иногда подумывал, как аукнется все это ему, втайне надеясь, что связываться с султаном Турана у Тохтамышхана не хватит смелости...

Когда Тохтамышхан попросил покровительства у Сахибкирана и получил Ак Орду, рядом с ним были умные и рассудительные амиры: Алибек-кунгират, Ока Буга-бахрин, Урунг Темур, которые за ним присматривали. Они навешали молодого энергичного принца, давали ему дельные советы.

Но вскоре окружение Тохтамышхана поменялось, рядом оказались неблагодарные и злые люди, особенно безжалостный Казанчи-бахадур, постепенно пробравшийся на высокий пост. Во дворце Тохтамышхана дневали и ночевали старые недруги Сахибкирана – Махмудшах Бухари, Султан Махмуд ибн Кайхусрав, Абу Исхак Ясури, Камариддин, Анко Тура.

Войско Золотой Орды с победой вернулось из Тебриза, вся страна праздновала успех...

Слава о Золотой Орде разнеслась по всему миру, но Тохтамышхану все казалось, что он поступил вопреки желанию отца... Хан Золотой Орды старался не думать об этом.

– Великий правитель! То, что не смог сделать Урусхан, вы сделали с легкостью. Вы захватили самый большой город русских – Московию! – не скупился на похвалы Султан Мухаммад ибн Кайхусрав, хотя в глаза не видел этого города. – Весь мир склонил голову перед вашим могуществом! Весь мир!

– Да, да, весь мир! Даже больше! – присоединились другие.

– Если бы ваша власть распространилась еще и на Самарканд! – специально подлил масла в огонь Амир Камариддин.

Великий бек Тохтамышхан с довольной улыбкой посмотрел на моголистанских амиров. Им хотелось настроить хана против своего злейшего врага Амира Темура. Казанчи-бахадур и сам был не прочь, но не знал, как преподнести эту мысль государю. Один раз, когда отправляли письмо Амиру Темуру, он специально начал говорить о Сахибкиране нелицеприятные вещи, но хан недоуменно вытарашил на него глаза... Тохтамышхан – названный сын Амира Темура, легко говорить, мол, выступи против отца, неизвестно, как тот отреагирует на это?

По мысли бахадура, это совсем несложное дело. Вон он сам... Это было еще во времена Урусхана. Его отец что-то попросил, но он не обратил внимания на просьбу. Отец в надежде на помощь обратился во второй раз, но безрезультатно. Бедный отец только открыл было рот, чтобы высказать недовольство, так бахадур Казанчи тут же вышел из себя:

– Отец меня оставит в покое или нет?! Сколько лет уже: «Дай то, дай это!» Надоело!

В тот же день он приказал палачу:

– Мой отец состарился, мучится от бессилия, отруби ему голову!

Об этом событии много говорили в улусе. Одни не верили, другие с презрением плевались, мол, живут же на свете такие нечестивые, столь безжалостные к своим родителям.

В последнем сражении Казанчи-бахадур со своим войском перешел на сторону Тохтамышхана, спровоцировав тем самым поражение Темура Маликхана.

– Я никогда не забуду твою верность, бахадур! Заслуги твои бесценны для будущего Золотой Орды! – сказал довольный Тохтамышхан.

– Сегодня в мире нет правителя, который мог бы сравниться с честью и славой нашего государя! – сказал Казанчи-бахадур. – Ведь хакан Тохтамышхан сидит на знаменитом троне великого Чингизхана! Да-да, на троне Чингизхана, что величественнее, чем трон Сахибкирана! Стыдно теперь отправлять послов к этому хрому Темуру, подчиняться, унижаться перед простым беком, стыдно! Пусть он унижается, он оказывает почет и уважение! Неужели наш великий хакан – потомок Чингизхана – должен склонять голову перед каким-то хромым амиром? Мы не послов, а войско должны отправить туда! Да, да, войско! Самых лучших воинов... Самых лучших...

Предложение, кажется, всем понравилось, так как со всех сторон слышались слова поддержки.

Все вопрошающе смотрели на Тохтамышхана.

Было заметно, что хакан оживился. «Да... говорите, говорите... – насмешливо думал Тохтамышхан. – Ваши намерения понятны. Каждый из вас получил в свое время от Амира Темура тумака... Свербит у вас у всех. И решили использовать меня, отомстить... Стервятники! Хотят стравить двух орлов, а потом кинуться, как на падаль, ух, это воронье! Я вас всех хорошо знаю, слишком хорошо...»

... После того, как он приказал сжечь Московию, где с треском пылали деревянные здания, Тохтамышхан, гордо наблюдая высоко поднимающееся в небо пламя, впервые почувствовал свое могущество. Он организовал поход на Азербайджан, достиг Тебриза, Дашти Кипчак под его ногами... Действительно пришло время посчитаться и с «отцом». Ни к чему теперь великодушие. Богатая страна Туран всегда входила в состав Чагатайского улуса, в последнее время чингизидов насильно выдворили оттуда, Хорасан и Мозандаран были в распоряжении Халакухана, оттуда тоже изгнали чингизидов... Тохтамышхан вновь восстановит великую державу – салтанат Чингизхана – и введет в ее состав Моголистан, Дашти Кипчак, Туран и Хорасан. Но для этого надо уничтожить главное препятствие – Амира Темура...

Вот тогда все крупные торговые пути станут собственностью Тохтамышхана. Ведь не секрет, что после разрушения салтаната ильханидов в 1335 году по христианскому летоисчислению торговые пути, соединяющие Азию и Европу, вышли из-под контроля потомков Чингизхана, а налоги с них так обогащали государственную казну!

Хан Золотой Орды пронюхал, что Хорезм, хоть официально и подчиняется салтанату Сахибкирана, но в огромных разногласиях с ним. Он тут же отправил на Хорезм небольшое войско. Из Самарканда не последовало никаких ответных действий, так как в тот момент Амир Темур был в Иране.

– Казанчи-бахадур! Отправьте огромное войско под предводительством Султана Махмуда ибн Кайхусрава в поход на Туран! – отбросив сомнения, приказал Тохтамышхан.

Зазвучали славословия в честь хакана.

Войско разграбило Бухару. Население города разбежалось. В это время подошла весть о том, что Амир Темур возвращается из Ирана. Тохтамышхан тут же поспешил занять Занжирсарай, поджечь окрестности и приказал возвращаться назад.

Когда сын Амира Кайхусрава увидел клубы дыма и пламя, ему показалось, что весь салтанат Сахибкирана в огне. Как же ему было приятно!..

В этот же день пришла радостная весть: Султана Махмуда ибн Кайхусрава назначили правителем Моголистана. Получив приказ, новоиспеченный правитель Моголистана тут же яро взялся за дело.

Через некоторое время пришел другой приказ: с севера Тохтамышхан начнет наступление на Ташкент, а с юга Мухаммад Мирак захватит Самарканд...

Это был первый поход хана Золотой Орды на страну между двух рек.

II

Весна 1388 года по христианскому летоисчислению.

Вдалеке склоны горы Ургут уже утопают в зеленом бархате лугов... Из окон гостиной Боги Бихишта хорошо видны чудесные картины весенней природы.

Кроме красот ургутских гор, у Сахибкирана была еще одна слабость – это прекрасная хозяйка дворца царица Туман-ока... Как же он любит ее! Однажды потеряв, он долго искал царицу, и наконец Аллах вернул ее ему! Конечно, он и других жен любит. Но Туман-оку – как-то по-особенному...

Слуги приготовили завтрак. Хантахта лопила от яств: мед, варенье, джем, сушеный инжир, кишмиш...

Амир Темур исподтишка наблюдал за Туман-окой. Прекрасные глаза, лицо, словно слобная лепешка, дышит свежестью, она так же великолепа, как и десять лет назад... Сейчас она еще больше похорошела, стала изящней, ухоженней, превратилась в жемчужину гарема, о которой слагают легенды. Одного взгляда прекрасных глаз достаточно, чтобы взволновать Сахибкирана. Султан наслаждался ее красотой, был счастлив в ее объятиях и благодарен Аллаху за такой подарок! Что может быть лучше, чем сидеть рядом с любимой женщиной, наслаждаясь ее обществом, вдыхая ее аромат, греясь в ослепительных лучах ее молодости?..

Туман-ока только спустя годы поняла, как любит Сахибкирана! Любит! Поэтому она всегда мысленно молилась за супруга.

Позавчера слуга из Хумаюн урду принес радостную весть:

– Его величество Амир Сахибкиран завтра пожелает в Боги Бихишт!

Сердце Туман-оки радостно заколотилось, по нежному телу пробежала сладкая дрожь. Она так ждала этого часа!

... До свадьбы Туман-ока была беспечной и глупой девочкой, не по летам крупной и статной, но все еще играющей в куклы. Их было у нее много: большие, маленькие, красные, черные, пестрые... Даже в свадебный вечер рядом с ней была ее любимая пестрая кукла. Вспоминая это, она теперь смеялась над собой.

Тогда свахи завели жениха и невесту в комнатку с огромной постелью, чувствовалось волнение Сахибкирана. Рядом с ним лежала его сказочная фея, возлюбленная, его мечта... Он счастливо вздохнул, обнял свою красавицу и поцеловал в нежные губы, лаская ее и шепча: «Подарок Бога!», «Бог вернул мне тебя!». Туман-ока была чиста, как весенний цветок, свежа, как утренний ветерок, прекрасна, как музыка... Горячее дыхание девушки могло расплавить камень. Она не сопротивлялась, но и не проявляла желания, думая, что именно такие ласки должны быть между женихом и невестой.

Постепенно девушка начала испытывать доселе незнакомое чувство, сладкая истома заполнила ее. Ласки опьяненного любовью Сахибкирана нравились ей все больше и больше, она невольно обвила нежными руками его шею. Внезапно в нее вошло что-то твердое, ей показалось, что ее разорвали пополам, из глаз посыпались искры. Она помнит, как почувствовала сердце у самого горла, а дальше темнота... Туман-ока лежала как мертвая, потеряв сознание.

Жених позвал свах, а сам вышел, чтобы обмыться. Сваха Халдана-биби побрызгала холодной водой в лицо невесты, приговаривая: «Ты моя девочка! Испугалась... Все будет хорошо, моя красавица!»

Через какое-то время девушка пришла в себя, но не могла сдвинуться с места от боли.

– Царица! Наша сладенькая царица! – говорила сваха, слегка похлопывая по побелевшим щекам невесты. – Моя красавица!..

Голос свахи доносился издалека. Туман-ока с усилием открыла глаза.

– Что со мной? – был ее первый вопрос.

– Вы стали женщиной, моя душечка! Вы испугались? Вы стали младшей женой султана, моя родная! Ангелы на небесах благословили вас! – шептала Халдана-биби, растирая руки и ноги Туман-оки. Потом пробубнила себе под нос: – Да, действительно, жизнь девочки длится недолго – один миг...

Вспоминая все это, царевна до сих пор покрывается стыдливым румянцем.

– Вам налить виноградного шербета или урючного, мой государь? – с улыбкой тихо спросила Туман-ока. В ней все было очаровательно: тихий голосок, таинственные вопросы, потупленные глазки, улыбки, кокетство...

– Дайте шербет ласки! Шербет ласки! – промолвил Амир Темур, не сводя глаз с хорошенького лица царевны. Туман-ока все поняла, поняла и тут же покраснела. Несмотря на то что ночь бурно проведена вместе, страсть Сахибкирана не утихает, какое же это счастье!

Амир Темур с виду был очень жестким, но, когда оставался наедине с женами, превращался в совершенно другого человека – ласкового, доброго, веселого, беззаботного, любящего подтрунивать над любимыми женщинами.

До сих пор Сахибкиран помнит слова из одного трактата, когда-то прочитанного им. Женщины от десяти до двадцати лет безопасны и полны надежд; с двадцати до тридцати лет идеальны для наслаждений и улады, умеют дарить любовь и покой; от тридцати до сорока – отличные хозяйки и хранительницы семейного очага; от сорока до пятидесяти опытни, умны, коварны и лицемерны; женщин от пятидесяти до шестидесяти ждет черная работа, большие беды, они словно увядший цветник, потухший костер, засыхающий родник...

Стоп, Туман-оке, его прелестнице с сорока косичками, всего двадцать два года. Она для Сахибкирана источник радости, любви и наслаждения. Ему захотелось тут же унести супругу в спальню. Ночью в объятиях своей ненаглядной царевны султан неоднократно испытывал неземное наслаждение... А сейчас он сдерживал себя, получая удовольствие от общения и томительного ожидания.

Вошел слуга и сообщил, что приехала дочь Его величества Султан Бахт-бегим.

«Опять жаловаться на мужа», – промелькнуло у Сахибкирана. В прошлый раз он, выслушав рассказ дочери о семейных неурядицах, дал несколько советов и успокоил ее. В молодости бывает всякое. Если она опять с тем же, султан снова попытается уговорить ее быть снисходительной и вновь отправит домой.

Туман-ока, попросив разрешения, вышла и вскоре вошла с дочерью мужа.

– Здравствуйте, досточтимый отец мой!

– И тебе здоровья...

Сахибкиран поцеловал дочь в лоб.

– Добро пожаловать, моя доченька! Присаживайся сюда! – указал место Амир Темур. – Я соскучился по тебе...

По лицу дочери было видно, что она чем-то расстроена. Сейчас она заплачет, расскажет о своих обидах, придется искать слова утешения.

По правде говоря, жизнь дочери сложилась не так удачно.

Как важно, когда твоему ребенку Аллах посылает счастье и удачу. Если этого нет – ничто не радует.

– Многоуважаемый отец наш! Причина моего поспешного приезда нерадостна. Ваш зять – правитель Хутталана – ввязался в какие-то неприятные дела. Он пошел по плохому пути. Кажется, он сеет смуту. Да-да... У него подлые намерения, это точно...

– Подлые намерения? – удивленно переспросил Амир Темур. – Какие подлые намерения? Он же мой зять!..

Султан Бахт-бегим хотела было рассказать всю правду о своей несчастной семейной жизни (что зять безнравственный, низкого поведения, по природе склонен к смуте, интригам; хоть и является зятем, не стесняясь говорит недобрые слова о своем могучем свекре, вокруг себя собрал дурных, порочных людей. А она едва терпит и удерживает ее только то, что уход бросит тень на великого отца...), но сдержалась. Она понимала, что у Сахибкирана и без того немало проблем.

– Да, государь, у вашего зятя подлые намерения! Он стал говорить по ночам. Во сне он такое говорит, что даже змея скинет кожу. Он безумен, он сумасшедший!.. Он не думает, что говорит. Недавно я услышала, что Тохтамышхан прислал гонца с письмом. Хан Золотой Орды должен присылать послания вам, не так ли, Амир Сахибкиран? Почему он выбрал наместника отдаленного вилайета? Что он ему напи-

сал? Кто он?.. Нет ли заговора? Я боюсь, достопочтенный отец, чтобы он не совершил что-нибудь против салтаната. Поэтому я здесь...

Амир Темур кивнул и подумал: «Неужели это правда? Сын Шер Бахрама?.. Но отец был тоже ненадежным... И приемный сын Тохтамышхан тоже. Они как мухи на мед слетелись, а когда закончилось сладкое, готовы покусать хозяина». Но любимой дочери он ничего не сказал, поцеловал в лоб и прижал к груди, глядя ее по голове.

Осведомители Мубашшир-бахадур тоже сообщили, что Тохтамышхан собирается напасть на Хорезм. Теперь, видимо, его собственный «сын» решил выступить против него... Нет смысла скрывать, что при Сулеймане Суфи Хорезм вновь превратился в логово заговорщиков. Четыре похода на Хорезм, четыре раза! Чтобы добиться мира, нужна война, о боже!

Все, есть предел добру и прощению. Покойный Амир Жаку-барлас говорил: «Если лекарство не помогает, то к ране нужно приложить лезвие, иначе зараза распространится по всему телу». Лекарство не действует. Слова дочери верны. Нет ли Мухаммада Мирака среди этих заговорщиков?

Султан Бахт-бегим попросила разрешения удалиться. Сахибкиран встал с места.

– Хорошо, что приехала. Будь осторожна, дочь моя. Приезжай почаще.

– Пусть Аллах бережет вас... – поклонилась принцесса и подумала: «Приезжать не надо было, отец и так все знал, но как, зная обо всем, можно было смолчать?»

Туман-ока проводила ее.

Глава девятнадцатая

I

После того как любимая дочь Сахибкирана Султан Бахт-бегим ушла, он встал и задумчиво начал ходить из угла в угол. Его терзали невеселые мысли.

«Да, нынешние люди погрязли в злобе, подлости, неверности, лицемерии. Вероломные поступки зятя Мухаммада Мирака не умешаются в голове. Тохтамышхан тоже не исключение. Они, кажется, нашли общий язык... Это точно!»

Недостойное поведение Тохтамышхана ранило душу Амира Темура. Неужели он держит ядовитую змею в кармане?

Вообще-то во внешней политике начинать боевые действия исподтишка, не отправив посла, не заявив открыто о своих претензиях, не делает чести правителю. Надо тщательно разобраться во всем, возможно, это интриги, и тогда может пострадать невинный, а это непростительно. Хотя последние поступки Тохтамышхана не похожи на действия несведущего. Особенно после сожжения Занжирсарая, построенного свекром Казаном Султанханом и столь любимого Амиром Темуром, все стало ясно: Тохтамышхан – враг! К сожалению, он стал врагом...

Самое обидное, что этого врага Амир Темур сам взрастил, сам возвысил и возвеличил. Сам возвел на престол. Кажется, теперь он захотел заполучить его салтанат... Если бы Джахангиру Мирзе пришлось увидеть черную неблагодарность Тохтамышхана, то покойный сгорел бы от гнева. Его бы расстроили наивность, слепая вера, всепрощение родного отца. И в очередной раз его афоризм: «Дитя ишака останется ишаком, а собаки – собакой» – оказался бы справедливым... Умаршейх Мирза тоже всякий раз повторяет эти слова брата.

II

Когда пришел Мавляна Убайд, он увидел, что Амир Темур, накинув на плечи золотой халат, прогуливается с супругой по саду.

Завидев Мавляна Убайда, Сахибкиран направился к гостини.

– Я объехал Хорасан, Сеистан, Персию, Мозандаран, Султанию, Азербайджан, Гуржистан, – задумчиво произнес Сахибкиран. – Увы, нигде не уделяется достаточного внимания святым местам сайидов, ученых, шейхов. Положение сайидов,

шейхов, дервишей плачевно, а их нужно материально поддерживать, поощрять суюргалами, пособиями...

– Весьма мудрое замечание, Амир Сахибкиран! Хвала и честь вам! – воскликнул Мавляна Убайд. – Всезнающий сам Аллах!

– Мы получили послание от нашего наставника Шейха Зайниддина Тайабади... – сказал Амир Темур. – Очень интересное послание! Но сначала прочтите наше уложение, мавляна!

Мавляна Убайд бережно раскрыл голубую тетрадь и, найдя нужную страницу, принялся читать:

«Из вакуфных средств пусть выделяют деньги для благоустройства мавзолеев и могил святых и религиозных деятелей. Эти места нужно снабдить коврами, едой для работников и свечами. В первую очередь надо обеспечить средствами вакуфные земли священных Мекки и Медины и каждое новолуние нужно доставлять их служителям все необходимое. Чтобы содержать в хорошем состоянии могилу Али ибн Абу Талиба, падишаха смиренных правоверных мусульман – да будет великодушен и милостив к нему Аллах! – пусть назначат вакуфные средства из Наджафа и Хуллу. Для священной могилы Имама Хусейна, пусть Аллах будет щедр к нему, священного розария великого шейха Абдукадира Жилани, для усыпальницы Имама Аъзама Абу Ханифы, да будет Аллах признателен ему, для священных гробниц шейхов в Багдаде, Карбале и других окрестностях не жалеете денег... Необходимо каждому мавзолею шейхов в Иране и Туране выделить средства для поддержания их в хорошем состоянии...»

– Отлично... Да будет так с благословения Аллаха! Теперь и всегда это будет входить в обязанности салтаната!

– Запишите еще вот что, – приказал Сахибкиран. – Покорив очередную страну, собирать всех нищих, ежедневно готовить для них еду, найти для них работу, чтобы они больше не бродяжничали. А если они не откажутся от попрошайничества, продать их или подарить другим странам. Так мы искореним в стране нишебродство...»

Доложили, что аудиенции ждет Мухаммад Чурага-додхах.

– Пусть войдет!

На пороге в легком халате объявился додхах. Он всегда появлялся вовремя, словно чувствовал, что нужен.

– Я с неприятным известием, Амир Сахибкиран... – замялся Мухаммад Чурага-додхах, не зная, продолжать ему или нет.

– Что там?

Лицо Сахибкирана оставалось непроницаемым.

– От засухи и голода в городе погибло сто тысяч мирного населения.

– Сто тысяч?.. – переспросил Амир Темур.

– Да! Сто тысяч! И еще, войско Тохтамышхана, сжегшее Занжирсарай, в данный момент пожаловало в Хорезм...

– В Хорезм... в гости? – нахмурил брови Сахибкиран.

– Да... Султан Махмуд ибн Кайхусрав стал правителем Моголистана. Хаджибек Жоникурбани снова затеял мятеж в Тусе. Амирзада Мираншах Мирза организовал туда поход. Он занял город, Хаджибеку удалось бежать. Местные жители, поддержавшие бунт, были наказаны, весь город в трупах, некоторых мятежников сбросили с минарета. Хаджибек снова собирает войско.

– Снова сбрасывание с минаретов, наступление... О Аллах, неужели у людей больше нет иных устремлений? – расстроился Сахибкиран.

– Сколько раз мы были снисходительны... Не помогло. Увы, увy... Пожалей своих рабов, Всевышний!

Мавляна Убайд, чтобы отвлечь Сахибкирана от грустных мыслей, тихо сказал:

– Государь, вы говорили о письме наставника...

Амир Темур бросил быстрый взгляд на личного секретаря:

– Да, да! Говорил... – он медленно вытащил из кармана бумагу, свернутую

трубочкой. – Удивительно, это послание, анализирующее дурные поступки людей... Перепишите его в голубую тетрадь! Ты тоже это послушай, Мамат!

В гостиную зазвучал отчетливый голос Амира Темура, похожий на напевный голос чтецов Корана. Он любил читать вслух послания наставника. После торжественного вступления Шейх Зайниддин Абу Бакр Тайабади писал:

«...Если в какой-то стране растет насилие, жестокость, процветают интриги и козни, то умный правитель организывает нападение на эту страну, дабы искоренить угнетение и распри. Настоящий завоеватель мира должен захватить эту землю, чтобы установить там мир...»

Ведя завоевательные походы, необходимо помнить о четырех вещах. Во-первых, любое покорение чужой страны нужно осуществлять, посоветовавшись с кенгашем и выработав программу действий. Во-вторых, каждый шаг должен быть хорошо обдуман, необходимо быть предусмотрительным и бдительным, соблюдать осторожность. В-третьих, необходимо собрать вокруг себя руководителей, умных, подготовленных, смелых и порядочных мужей салтаната. Может, их будет человек триста... Пусть их союз будет крепким, единым, целым... В-четвертых, то, что можно сделать сегодня, не оставлять на завтра. Все следует делать мирно, ни в коем случае не прибегать к помощи меча!

Знайте, согласно велению времени, правителей можно разделить на четыре группы: в первую очередь это милосердные цари, потом – жестокосердные и, наконец, правители, которые избрали золотую середину. Вот третий – это ваш тип правителя, пусть ваша политика будет милосердна, но, если потребуется, и жестока...

Править страной следует лишь по справедливости, не зря говорят: «Страна может выстоять на безбожии, но не может вытерпеть насилие и несправедливость». Не допускайте в стране гнусных поступков, дурных дел. Не должна процветать тирания... Не думайте, что жизнь деспота длинна оттого, что он делает все хорошо. Тиран и развратник живут долго потому, что Аллах дает им время выплеснуть все свое зло до конца. Иногда добродетельный, хороший, благочестивый человек подвергается всякого рода несчастьям и бедам из-за злых поступков негодных людей. Обратите внимание: когда поджигают тугай, то горит одинаково и мокрый, и сухой.

Не думайте, что деяния нечестивцев, деспотов, развратников преумножают их жизненные блага и наслаждения. Некоторые думают: «Видя помощь Аллаха, дающего блага, они, возможно, откажутся от злодеяний, станут добропорядочными и милосердными...» Если они не будут благословлять Аллаха, не вернутся к Всевышнему, забудут благодеяния Аллаха и его пророка, их настигнет суровая кара Создателя!

Не считите за дерзость вышеприведенные мысли и замечания, ведь они все имеются у вас изначально в уме... Моя задача состояла лишь в том, чтобы еще раз вам напомнить об этом...»

В гостиную стояла тишина. Сахибкиран и додхак размышляли над мудрыми мыслями и тонкими наблюдениями наставника. Сколько справедливости, острой каккинжал горькой правды жизни заключено в них!..

Очень умные и правдивые вещи написал Шейх Зайниддин Абу Бакр Тайабади!..

– Почему люди так ненавидят друг друга, стремятся только ко лжи и предательству? – нарушил тишину Амир Темур, обращаясь не к додхаку, а к самому себе. – До каких пор мусульмане будут страдать от лицемеров и подлецов? Почему? Почему? Те, кому я делал только хорошее, отплатили мне злом! О, люди! Конечно, Аллах накажет их, но когда?.. Думая об этом, я испытываю презрение к людям, в душе не остается места даже для малой жалости. О Всевышний! Неужели люди не одумаются, неужели, чтобы они опомнились, нужно рубить головы, казнить, вешать?! Неужели, чтобы решить вопрос с Хорезмом, надо обязательно опереться на кривую саблю? Ну почему? Эти скудоумцы не понимают добра, и их можно усмирить лишь страхом и силой, прибегнув к оружию! Не только девять из десяти государственных дел, но даже девяносто девять могут решаться в кенгаше... но это не устраивает их! О боже! Где найти выход?

Сахибкиран был в полном смятении, Мухаммад Чурага-додхах давно не видел его таким.

– Мое сердце с вами, Амир Сахибкиран! Разве Вы не знаете людей? – попытался успокоить додхах. – Природа их такова, испокон веков было так...

– Знаю, знаю... Было бы лучше, если бы я не знал, Мамат... В такие моменты я беру Коран и наслаждаюсь чтением аятов... – продолжал Сахибкиран. – Хвала и честь вечному Творцу! Он все там описал! Вот в суре «Хадид» говорится, что через пророков в священных книгах он ниспослал точные свидетельства людям о том, как жить по справедливости. Аллах ниспослал для своих рабов Писание (знание), весы (справедливость) и железо (оружие). Все, что требуется для миропорядка, – это знание, справедливость и оружие... Да, к сожалению, оружие тоже необходимо. Правосудие и оружие всегда рядом. Но до каких пор это будет продолжаться, до каких пор?..

– Да, верно, иногда необходимо прибегнуть к оружию, – согласился Мухаммад Чурага-додхах, приблизившись к другому окну и бросив взгляд на ургутские горы. Силуэты гор уже трудно было различать.

Додхах хотел напомнить государю, что всегда была потребность в оружии, не только во время событий в Исфахане, но и в Сеистане и в Сабзаваре, но Сахибкиран опередил его:

– Отныне в уложениях, описывающих, как управлять государством, нужно отметить, что по справедливости девять государственных дел необходимо решать в кенгаше¹, и только в крайнем случае прибегать к оружию. Нужно отрезать лапы волкам, укорачивать руки притеснителям. Нельзя позволять негодяям и насильникам мучить слабых и обездоленных. Для этого и нужно государство!

Глава двадцатая

I

Тохтамышхан с многочисленным войском остался на равнине в десяти фарсах к северу от города Сабрана. Лето еще не закончилось, окрестности оставались живописными, но луга и пастбища кое-где стали желтеть.

Он ждал хороших вестей из Хорезма.

Расчеты хана Золотой Орды были точны и конкретны. По его мнению, бояться хорезмскому правителю нечего, они выиграют сражение и уничтожат войско Амира Темура. Может... Сахибкиран и сам попадет в плен! Почему бы нет? Обязательно, попадет! Тохтамышхан крепко-накрепко наказал: брать Сахибкирана живым. А если он сбежит со своими нукерами, то наверняка в Самарканд. Не успеет Амир Темур отдышаться, как полководцы Элйигмиш и Сулейман Суфи из Хорезма, задира Амир Мухаммад Мирак из Хутталана захватят Мавераннахр. До того как Тохтамышхан приедет из Сабрана, все уже решится – Самарканд будет захвачен. Тут же будут посланы гонцы с сообщением о том, что салтанат Амира Темура стерт с лица земли...

В то, что наступит такое время, Тохтамышхан верил искренне, не сомневаясь ни на секунду.

Но два неожиданных происшествия поколебали уверенность правителя Золотой Орды.

Спустя десять дней начался пышный пир в роскошном дворце хакана.

Тохтамышхан взял слово и начал говорить о своей непобедимой армии, о будущем Золотой Орды, о взаимоотношениях с правителями Турана, Египта, Польши, Литвы.

– Амиры и полководцы! – тонкий от природы голос Тохтамышхана под действием вина слегка дрожал, узкие глаза стали еще уже. – Знайте... Я – наследник Золотой Орды, созданной великим Чингизханом. Чингизиды грызлись между собой, проявляя недалёковидность, поэтому, к сожалению, некогда великая держава распалась. Когда-то при Чагатайхане, Халакухане страны Туранзамин, Хорасан, Мозандаран, Ирак и Иран были под их властью. А что сейчас? Осталась только Золотая Орда! Все

¹ При помощи кенгаша, т. е. дипломатическим путём, советом.

упустили... Необходимо возродить государство Чингизхана! Возродить! И Дашти Кипчак, и Мавераннахр, и Хорасан, и Иран должны быть нашими уделами!..

– Мы завладеем миром, мой повелитель! – закричал Казанчи-бахадур. Остальные амиры тут же присоединились к нему.

– В этом деле есть одна большая сложность. Препятствие... Это «почитаемый отец» Амир Темур... – сказал Тохтамышхан, ядовито выделив «почитаемый отец». – Пока мы его не уничтожим, нам трудно будет достичь нашей цели... Поэтому мы выступили на Туран. Знайте, если мы сейчас не овладеем ситуацией (пока Амир Темур занят Хорезмом) и при помощи Элийгмиш-оглана, хорезмского правителя Сулаймана Суфи и амира Мухаммада Мирака не захватим Туран, удача уплывет из рук! Удача уплыве-е-е-т! Знайте...

Тохтамышхан совсем опьянел.

Обгладывая баранью ногу, Амир Идику-мангит думал: «Правитель хоть и перешел тридцатилетний рубеж, все равно мальчишка. Думает достать звезду с неба. Решил потягаться с Амиром Темуром Кураганом, который столько добра ему сделал. Хочет возродить салтанат Чингизхана... Но возможно ли это? Чагатайхан и Халакухан не смогли, Узбекхану и Урусхану не удалось... Хай... Окаянный Казанчи-бахадур все наговаривает и наговаривает хакану на него. От вспыльчивого и беспощадного Тохтамышхана всего можно ожидать. Если вспомнит старые обиды, может в одну секунду приказать отрубить голову. Даже если я советчик, визирь и полководец доблестного войска, все равно надо быть начеку. Может, улучив момент, сбежать?..»

– Наш правитель рожден в год Слона, а Амир Темур – в год Мыши! – закричал толстый, внушительного вида Соткин-бахадур с круглым, как лепешка, лицом. – Ха-ха-ха! Разве мышь может тягаться со слоном? А?.. Мышь может справиться со слоном? Мышь!?

– Тысяча мышей не справится с нашим слоном! Мышка!..

Всем понравилась эта шутка. Выкрикивая «Мышка! Мышка!», присутствующие громко хохотали.

В этот момент сообщили, что прибыл гонец со срочным донесением из Хорезма. Хакан давно ждал послания. С довольным видом он разрешил войти гонцу. Гонец, поцеловав ноги Тохтамышхана, отошел назад и жалобно захныкал:

– Мой по-по-по-ве-ели-ите-ель!

То ли от волнения, то ли от внушительности ханского взгляда он стал заикаться. В зале повисла тишина.

– Говори! Что ты как немой, глупец!.. – нетерпеливо закричал Тохтамышхан.

– Не ве-е-ели-и-те ка-аз-нить, ве-ел-ли-икий ха-ан. Пра-а-ви-тель Ма-аверан-на-ахра Амир Темур снё-ос дворец Хорезмского пра-а-ви-теля... на-а его ме-есте поса-а-дил я-а-ачмень. Весь народ он по-огнал в Сама-арканд.

– Что-о-о-о? Что ты сказа-а-ал?

Из пьяных глаз Тохтамышхана посыпались искры. Ему показалось, что земля перевернулась. Резко встав с места, он приблизился к гонцу и схватил его за грудки:

– Что ты такое говоришь, шайтан?! Откуда ты взял эту ложь? Откуда взял, тюфяк?! Ты вражеский шпион, врешь все, хочешь обмануть нас?! Я слеру с тебя кожу, негодяй! Где Элийгмиш-оглан?

Гонец стоял ни живой, ни мертвый, задыхаясь от страха, он пролепетал:

– ...Э-элийгмиш-ог-оглан... его в-вел-личество Сулайман Су-уфи в пути... п-по-овелитель...

– Увести и четвертовать этого труса! Четвертова-а-ать!.. – закричал в гнев Тохтамышхан. Его голос стал еще тоньше. – Недотепы!.. Ротозеи!.. Простофили!..

Амиры и военачальники застыли в замешательстве с открытыми ртами.

Элийгмиш предвидел это. Не случайно он отправил вперед себя гонца. Нужно было остудить гнев правителя, иначе ему не поздоровится. Мангит понимал, что, если хан услышал бы эту новость от него самого, не сносить бы ему головы.

И действительно, когда приехали хорезмский правитель Сулейман Суфи и Элийгмиш-оглан, Тохтамышхан немного поостыл. Они поцеловали полы его халата, и, опустив головы, стали рассказывать о поражении...

Тохтамышхан был умен, он понимал, что поражение в Хорезме разрушило одну из главных надежд на осуществление его мечты и что эта неудача еще аукнется. И если когда-нибудь придет конец Золотой Орде, то начало конца здесь, в поражении под Хорезмом. Запомни это, эй, Тохтамышхан!

Это было первое неприятное происшествие для великого правителя Золотой Орды Тохтамышхана перед наступлением на Туран. Казалось, что ему подрезали одно крыло, и не было ни сил, ни возможности восстановить его. Все рассыпалось в один миг...

Правитель приказал позвать Тармачука и отправил его к амиру Мухаммаду Мираку, теперь вся надежда была на него. Он передал Мухаммаду Мираку, что необходимо воспользоваться отсутствием Амира Темура и срочно двинуться с войском на Самарканд. Сам же, не теряя времени, с большим войском направился в сторону Самарканда.

Через некоторое время произошла вторая неожиданность, заставившая хакана крепко задуматься.

Двигаясь к Довдирсаю, Тохтамышхан погрузился в свои мысли. Десять лет назад именно здесь произошли его первые сражения, тогда, получив хорошую взбучку от воинов Урусхана, он вынужден был бежать. Если бы не быстрый скакун Ханоглан, не сносить бы Тохтамышхану головы. Когда Амир Темур дарил ему коня, сказал: «Береги его, когда-нибудь он спасет тебя». Так и вышло. Он летел как стрела, брызгая песком из-под копыт прямо в глаза врагу, переплыл реку и спас его тогда!

Глава двадцать первая

I

Ранним утром Султан Бахт-бегим, выглянув из окна спальни на третьем этаже, увидела множество нукеров, столпившихся перед дворцом на самой большой площади Хулбука. Сердце принцессы тревожно заныло!

Амир Темур отправился в поход на Хорезм, его зять не снарядил с ним своего войска, а послал лишь шурина Абулфатха. Значит, обстоятельства требуют подготовить войско для похода. Наверное, для поддержки...

Неужели армия Сахибкирана попала в затруднительное положение? Принцесса всегда боялась этого и со страхом ждала возвращения отца. Кстати, она не слышала, чтобы приезжал гонец из Хорезма.

Но три дня назад в Хулбуке объявился посольный от Тохтамышхана, заставив принцессу обеспокоиться.

Мухаммад Мирак порхал вокруг того гостя как мотылек, в первый день они что-то обсуждали, не выходя из гостиной. Утром на рассвете исчезли куда-то и вернулись поздно... Она хотела поговорить с супругом, но так и не нашла удобного случая. Ей пришлось снова тайком караулить у двери гостиной, но из этого ничего не вышло: дверь была плотно закрыта.

Гостиная была на первом этаже. Принцесса увидела выходящих Мухаммада Мирака и Тармачука, горячо обсуждавших что-то.

– Нет... Соберем нукеров... Сначала нападём на Самарканд... Потом на Бухару... – сказал Мухаммад Мирак.

– Правильно, но великий хакан Тохтамышхан сказал, что сначала нужно захватить Самарканд, пока Амир Темур в Хорезме. Времени мало... – волновался Тармачук.

– Завтра выступаем... Завтра...

– Не упустим ли время?... – опять запротестовал Тармачук. – Не лучше ли побыстрее начать? Захватили бы Самарканд и встретили бы великого хакана в Дизаке? А потом продвинулись бы дальше...

– Нужно собрать войско... Войско...

Они вышли, не заметив принцессу.

Султан Бахт-бегим остолбенела. «Значит, это не подмога Амиру Темуру, они хотят выступить против... достопочтенного отца! Они идут на Самарканд, чтобы захватить его! Тохтамышхан идет войной на страну, но он же приемный сын?! Да

провалился бы пропадом, такой сын!» – расстроилась Султан Бахт-бегим.

Что делать? Нужно срочно сообщить обо всем отцу. Но легко сказать... Даже если она отправит гонца, то пока он доскачет до Хорезма, время будет упущено. Вот бы превратиться в птицу и улететь к отцу с этой страшной новостью.

Да, все вышло так, как она и думала: ее супруг Мухаммад Мирак стал предателем! Ввязался в заговор, собрал вокруг себя врагов и хочет восстать против тестя! Он и вправду неблагодарный, у него помутился рассудок, иначе бы он не решился выступить против могущественного падишаха Сахибкирана!

Она возненавидела своего супруга-предателя. Здесь она не останется ни на минуту! Она оставит навсегда Хутталан! Теперь, когда отец узнает обо всем, он не прекнет ее в том, что она ушла и разрушила семью...

Если войско Мухаммада Мирака выступает завтра, то ехать нужно сегодня же. Тогда она раньше доберется до Самарканда, и вместе со всеми с оружием в руках будет защищать столицу. Обязательно будет защищать! Посмотрим, выстоит ли этот негодяй в бою.

Принцесса подумала о своей несчастной семейной жизни: дочь великого падишаха жила хуже служанки, пребывая в этом аду. Как жаль! Что за несчастная у нее судьба!

У Султан Бахт-бегим была тайна, о которой знали только она и Аллах, она тайно любила. Ей давно приглянулся красивый, статный, смелый, черноглазый и чернобрый Амир Шахмалик...

Она радовалась, когда его видела на общих праздниках и свадьбах. Иногда пристально разглядывала его, и однажды Амир Шахмалик поймал такой взгляд. Султан Бахт-бегим почувствовала, что и он неравнодушен к ней, но эта любовь только зарождалась, прячась где-то в самых далеких уголках сердца, как несбыточная мечта...

Недавно, когда стало известно, что Амир Шахмалик заедет в Хулбук по пути в Индию, у принцессы вдруг снова заискрилось сердце. Это была единственная тайная радость в ее однообразной семейной жизни. Она не знала точно, заезжал ли Амир Шахмалик по поручению Амира Темура или так, чтобы увидеть ее...

Эх, наверное, Амир Шахмалик посмеялся над подурневшей и исхудавшей принцессой! Нет, не посмеялся, скорее всего, сильно расстроился... Она верила в это, ей хотелось верить в это...

Султан Бахт-бегим приказала верным слугам готовиться в путь.

Амир Темура, прежде чем принять какое-то решение, всегда обдумывал, расследовал, испытывал подозреваемого и только потом делал окончательный вывод. Амир Шахмалик, выехав из Хулбука, направился не в Индию, а в Хорезм к Амиру Темуру. Он догнал войско Сахибкирана в пяти верстах к северу от города Кота.

Сахибкиран, выслушав Амира Шахмалика, задумался. Да, он сам возвысил Мухаммада Мирака, сделав его и градоначальником, и зятем.

– Излишняя благосклонность портит человека, Амир Сахибкиран! – сказал Мухаммад Чурага-додах. – Мед сладок, когда его мало.

– Человек, ступивший на путь вражды, теряет счастье. Не боясь позора, он выбрал меч, – с сожалением констатировал Амир Темура.

В это время вошел слуга:

– Мой повелитель, неприятное известие: брат Мухаммада Мирака Абулфатх тайно бежал из войска и скрылся в степи!

Сахибкиран специально брал Абулфатха в войско, не в залог конечно, а чтобы при необходимости хоть как-то обуздать Мухаммада Мирака. Теперь поступок младшего брата еще раз подтвердил подлые намерения Мухаммада Мирака.

– Поймать и привести! – приказал Амир Темура.

Ахий Джаббар-бахадур с несколькими нукерами отправился вслед за беглецами. Долго искать не пришлось. Пропавший день назад Абулфатх, обогнув крепость Кот, едва достиг пустыни. Со всеми своими людьми, укрывшись в тени кустарника соляноколосника, похожего на саксаул, преспокойно спал, положив оружие под голову...

Когда войско достигло Кота, Абулфатх получил письмо от Мухаммада Мирака. В нем старший брат раскрыл свои планы и приказывал ему срочно прибыть в Самарканд.

Разбуженный кашлем, Абулфатх бросился к оружию, но увидел, что его мечом играет бахадур.

– Успокойся, негодяй!.. Иначе я изрублю тебя, подлец!.. Я выпущу твои кишки и сделаю тебе из них чалму, поганец! – в гневе воскликнул Ахий Джаббар-бахадур. – Злодей неблагодарный! Ты хуже безмозглой скотины!

– Я-я-я не виноват! – задрожал от страха Абулфатх. – Мой брат Мирак... отправил человека... Я лишь спасаю свою жизнь...

– Амир Мухаммад Мирак стал врагом? – удивленно переспросил Ахий Джаббар-бахадур.

– Д-д-д-а... – подтвердил Абулфатх, а потом добавил: – Тохтамышхан хочет завоевать Мавераннахр. Хакан отправил моему брату гонца...

– Что-что?! Э, камень тебе на язык! Сам ты дрянь, и слова твои дрянь! – Ахий Джаббар-бахадур попытался сдержать гнев. – Весь ваш род – подлецы! Со всех вас надо кожу содрать, набить соломой и повесить на базарных воротах! Вон такой же, как ты, Зиндачашм-опарди уже месяц висит там! Все ходят и плюют на него!

Беглецов связали, побросали на лошадей и отправили к Сахибкирану.

II

Правитель Хутталана торопился в Самарканд, уверенный, что Тохтамышхан тоже подоспеет к тому времени. По дороге Мухаммад Мирак встретил своего гонца, возвращавшегося из Самарканда.

– Народ в Самарканде в неведении, мой амир, нужно действовать осторожно... – сказал гонец. – О наступлении Тохтамышхана никто ничего не слышал. Они не сегодня завтра ждут Амира Темура из Хорезма с победой. Амир Окбуга-найман тщательно охраняет крепость...

– Неужели хакан отказался от своих намерений? Неужели желание захватить Самарканд осталось только желанием? Неужели на престоле Турана не будет Мухаммада Мирака?..

Поход на Самарканд теперь бесполезен – что может сделать горстка нукеров? Необходимо добрать нужное количество воинов, а там, может, Тохтамышхан подоспеет. Вот тогда вместе они и пойдут на Самарканд...

Он выместил зло на простых жителях Гиссара, его нукеры вынесли все ценное из их домов, был разграблен огромный военный склад. Он проявлял чудеса щедрости, раздавая нищим, разбойникам и всякому сброду лошадей, оружие, снаряжение.

– Мы еще захватим Самарканд! Самарканд! – говорил он, раздавая мечи.

Мухаммад Мирак, глядя на людей, наряженных в кольчугу и броню, испытывал гордость и уверенность, но вдруг кто-то закричал:

– Умаршейх Мирза с большим войском приближается-а-а! Приближаются-а-а-а! Они прошли соседний кишла-а-а-ак!

– Умаршейх Мирза идё-о-о-от!.. – снова закричал кто-то.

От неожиданной новости началось замешательство. Новобранцы, окружившие было Мухаммада Мирака, тут же пали духом и в страхе разбежались кто куда, побросав оружие. Началась всеобщая паника.

Мухаммад Мирак в страхе побежал в Хутталан...

Но Шах Джалилидин закрыл перед самым носом Мухаммада Мирака ворота крепости. Мало того, боясь последствий, приказал нукерам прогнать правителя Хутталана.

Униженного Мухаммада Мирака поджидала еще одна напасть: его собственные воины и слуги, забыв о чести, отвернулись от него и разбежались.

Амирзаде Умаршейх Мирза, достигнув Гиссарских гор, вдруг потерял след. Он решил вернуться в Хутталан, чтобы дожидаться Мухаммада Мирака во дворце Дараи Кипчак сарае. Несколько дней прошло в безделье, во все уголки были разосланы нукеры. Среди лазутчиков был и Амир Сулейманшах, больше всех стремившийся во что бы то ни стало поймать Мухаммада Мирака.

Прошло десять дней, но известий о поимке Мухаммада Мирака так и не поступало.

Амир Сулейманшах, перейдя через Хутталанский перевал, наткнулся на какой-то родник. Это было девственное место, где не ступала нога человека. Окрестности – райский уголок. Амирзаде и не думал, что в мире, а в особенности здесь, рядом, в Туране, есть такие волшебные места.

Неожиданно бдительный Амир Сулейманшах увидел у родника следы лошадиных копыт. «Кто-то до нас здесь побывал», – подумал он. Амир проследил глазами направление следов, которые, огибая ручей слева, спускались чуть ниже под арчу, где в окружении четырех человек сидел... Мухаммад Мирак! Да, это был он, зять Амира Темура, которого они так долго искали! О, Аллах!

Правитель Хутталана беззаботно что-то рассказывал. В пятидесяти шагах послышался лошадиный храп.

Мухаммад Мирак, почуяв неладное, схватил оружие и стал беспорядочно палить, но вскоре вынужден был слиться.

Надев на головы бунтовщиков мешки и посадив на лошадей, Амир Сулейманшах доставил беглецов к Умаршейху Мирзе. Другие отряды, искавшие правителя Хутталана, давно вернулись в Дараи Кипчак сарай ни с чем.

Мухаммад Мирак взмолился:

– Я все-таки зять Амира Темура Курагана! Аллаху известно, что я не виновен! Последствия самовольства будут плачевны! Лучше отведите меня к Умаршейху Мирзе, я хочу с ним поговорить, он меня обязательно выслушает и поймет!

Когда сообщили о желании бунтовщика, Умаршейх Мирза вспылил:

– Я не хочу видеть этого неблагодарного! Казнить его! Пусть люди видят, что участь всех бунтовщиков одна – страшная смерть!

– Да, пусть увидят и узнают, что ждет любого восставшего против Сахибкирана, – сказал Амир Сулейманшах.

... К тому времени Хорезм был завоеван пятый раз, и был издан указ о переселении жителей города в Самарканд. Когда сообщили Амиру Темуру, что Мухаммада Мирака казнили, он с сожалением подумал: «Амирзаде несколько поторопился! Ему уже за тридцать, а все спешит. Надо было узнать, кто склонил зятя к измене...»

Султан поехал в разграбленный Гурганж, навестил мавзолей Шейха Нажмиддина Кубра, совершил намаз.

«Ведь мы не хотели превращать Гурганж в пепелище! У нас не было такого намерения!» – с досадой подумал Амир Темур.

– Господин Мавляна Убайд!

– Слушаю вас, Амир Сахибкиран! – Мавляна Убайд спешно отделился от сопровождающих и приблизился к султану.

– Запишите в историческую тетрадь всю правду об этом, пусть потомки знают! Потом найдутся те, кто скажет, что Амир Темур разрушил цветущий город... Гурганж – мой город! Неужели я позволил бы себе такое? Зачем я тогда построил огромный дворец около городских ворот? Не для того ли, чтобы возвеличить его!

Сахибкиран замолчал.

– Без твердой руки невозможно удержать вилайета, Амир Сахибкиран... – не сдержавшись, вмешался Амир Сайфиддин-некуз. – Этого требует власть. Все было совершено из политических соображений.

– К сожалению, из политических соображений... Да, из-за политики... Но Аллах свидетель, сколько я предпринял попыток, чтобы избежать этого сражения! Сколько раз я отправлял послов Юсуфу Суфи, сколько раз протягивал руку дружбы своему свату. Но моя рука так и повисла в воздухе. Потом я дал возможность ему самому управлять. Но интриги не прекратились. Увы, город разрушен... Неужели за ошибки детей должны отвечать город, страна, Родина?! Страдать?!

Амир Темур посмотрел на запад. Воспользовавшись тишиной, Мираншах Мирза, положив руку на грудь, решился сказать:

– Великий наш отец!.. Не истязайте себя! Ваше желание созидать, строить известно всем! Во всех уголках страны красуются великолепные мечети, сады, дворцы.

Амир Сайфиддин-некуз одобрительно посмотрел на него и добавил:

– Амир Сахибкиран! Я знаю, что хозяин разрушает свой дом только для того, чтобы выстроить новый. Вы разрушили Гурганж, чтобы заново его отстроить, вот и все. Вы сделали это, чтобы сделать город еще прекраснее.

Амир Темур бросил быстрый взгляд на Амира Сайфиддин-некуза:

– Вы правы! Вне всякого сомнения, Гурганж, даст Аллах, станет самым красивым городом салтаната!

Глава двадцать вторая

I

В один из летних солнечных дней в местечке Окер на берегу Хашка суйи¹ был созван курултай. За неделю во все уголки страны был разослан указ: «Прибыть всем бекам, градоначальникам и аксакалам уездов и вилайетов на курултай в Окер».

Амир Темур, как обычно, проснулся на рассвете. Вокруг никого, слышен только шум речки. Закончив утренний намаз, он медленно вытянулся на четырехслойной постели, положив голову на мягкую подушку. До начала курултая времени было достаточно.

По утрам он любил, погрузившись в свои мысли, рассуждать с самим собой, обдумывать и просчитывать свои шаги.

...В прошлом году войско Тохтамышхана бродило у Сабрана. Пришло известие, что оно перешло через Ходжент суйи² и достигло Зарнука³. Услышав такое, кто усидит дома?..

Тут же был издан приказ готовиться к походу. Однако Амир Сайфиддин-некуз и другие военачальники, преклонив колени, советовали не торопиться, дожидаться, пока соберутся войска, погода установится.

Тогда Амиру Темуру показалось, что его амиры и военачальники боятся боя, пытаются спасти свои шкуры, поэтому рекомендуют переждать... Для него самое страшное, когда враг, напав на его страну, свободно и безнаказанно хозяйничает. Он не мог вынести этого и, кипя от гнева, но все же сдерживаясь, сказал:

– Вы помните арабскую пословицу «Ат-таъхиру фил – офат»? Это значит: опоздать – самое большое несчастье. Умный человек никогда не оставляет на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтрашний день несет другие дела. Вы не слышали, как один могущественный падишах сам на себя накликал беду?.. Когда у него спросили, в чем причина его несчастий, он ответил: «Я пострадал из-за трех своих привычек. Во-первых, я не слушался советов мудрецов; во-вторых, я потакал своим желаниям; в-третьих, переносил сегодняшнее дело на завтра»... Мы не должны упускать момента.

– Вы правы, Амир Сахибкиран! Опоздание несет большие несчастья! – сказал Амир Сайфиддин-некуз, поняв, что решение принято и любой довод будет отвергнут правителем.

Остальные амиры промолчали.

Не теряя времени, в середине зимы войско салтаната двинулось навстречу Тохтамышхану. Тохтамышхан, миновав город Яссы, спрятался в степи, а почуяв приближение туранского войска, сбежал в Дашти Кипчак.

Хумаюн урду издал указ: Умаршейху Мирзе со своим войском идти по следам врага. А сам Сахибкиран остановился в местечке Оксув. Когда амирзаде достиг Сарик Узана, занятого неприятелем, оказалось, что там уже никого нет, все разбежались кто куда.

Сахибкиран досадовал, что Умаршейху Мирзе не удалось схватить ни одного «языка», но известие, пришедшее из Хорасана, еще больше его расстроило: Хаджибек Жаникурбани и сарбадары, не послушав добрых советов, объединили войска Калота и Туса и собираются бунтовать...

¹ Хашка суйи – река Кашкадарья.

² Ходжент суйи – Сырдарья.

³ Зарнук – название местности левого берега реки Арис.

– Срочно отправляйтесь в Хорасан, амирзаде! – приказал Амир Тему́р, вызвав Мираншаха Мирзу. – Не допустите, чтобы пламя заговора разгорелось! Никого не шадить! Выступайте сию же минуту!

Сахибкиран впервые приказал «Никого не шадить», и сам был удивлен. Значит, все способы испробованы, теперь очередь дошла до железа ... Снова меч... Э-эх...

А тут Тохтамышхан... Похоже, что он решил организовать наступление на Туран. В Жете бунтарь Хизр Хаджа-оглан бряцает оружием...

Потом Сахибкиран узнал, что эти донесения тогда активно обсуждались амирами и беками.

Спор был прерван высочайшим указом, поступившим из Хумаюн урду:

«Всем собрать войска! Бахадурам и бекам отправиться в Моголистан!»

...Тогда Амир Тему́р направил свои войска на Хизра Хаджи-оглана. Это был правильный шаг. Но войска, увидев, что неприятеля вдвое больше, испугались и заключили перемирие. Это задело гордость Амира Тему́ра... Амиры, принявшие это решение, потом еще долго выслушивали упреки правителя.

Их поступок разозлил Сахибкирана! Он сам повел войско на Хизра Хаджи-оглана. Одерживая победу за победой, Сахибкиран за два месяца продвинулся от Самарканда до долины Юлдуз¹. Не оставляя в покое неприятеля, он преследовал его по горам и степям. Было реквизировано бесчисленное количество домашнего скота, лошадей и верблюдов, пленено множество прекрасных женщин. Из Хумаюн урду был отдан приказ распределить все это между нукерами войска. От страха монголы не знали куда деваться.

Когда Сахибкирану показали красавицу Чулпон Мульк-оку, семнадцатилетнюю дочь Ходжибека, одного из прославленных монгольских вельмож, сердце, окаменевшее от жестокости мира, интриг врагов, ненадежности амиров, смягчилось, глаза просветлели и наполнились неожиданно добрым светом...

Дочь монгола Ходжибека была писаная красавица, редчайшая жемчужина! Лицо – яблоко, глаза – горный миндаль, брови – братья полумесяца, губы – спелая вишня! Любой, глядя на нее, понимал, насколько непостижим талант Создателя, живописца и эстета.

По возвращении в Самарканд девушка попала в гарем султана, а народ полакомился свадебными угощениями. Одновременно состоялись и свадебные торжества Султан Бахт-бегим и Амира Сулейманшаха...

...Сколько ни размышлял Сахибкиран, ничего не менялось, на сердце было тревожно. Говоря по правде, странные дела происходят. Что это такое?

Почти двадцать лет Амир Тему́р управляет страной, неужели вместо того, чтобы строить великую державу, укреплять в ней мусульманскую веру, мир и спокойствие, делать людей счастливыми, он должен постоянно заниматься недостойным: бороться с интригами амиров, преследовать смутьянов, решать разногласия. Сколько пришлось потратить сил на Хорезм! Сделано пять попыток все решить мирно... А Жета? И в Жету четыре-пять раз пришлось идти с войском. Ни Камариддин, ни Анко Тура не пойманы! До сих пор они, как горные козлы, свободно скачут по горам... Сахибкиран не мог простить себе, что допустил такое...

Вот и снова курултай. Теперь нужно отправляться в Дашти Кипчак, преследовать Тохтамышхана! Теперь ясно, что Тохтамышхан – злейший враг. Все! Необходимо захватить Золотую Орду, разрушить до основания столицу, стереть с лица земли салтанат Чингизхана! А иначе не будет мира в Туране!

Площадь принарядилась зеленой травкой. Приехавшие – достойные тюркские и таджикские мужи – прохаживаются, как пахлаваны перед состязанием, в ожидании курултая. На возвышении перед шатром золотой трон Амира Тему́ра... С обеих сторон пестрят мягкие цветные одеяла, приготовленные специально для участников курултая. На востоке застыли снежные вершины гор, отдавая дань уважения моши Аллаха...

Хашка суйи весело звенит и пенится.

¹ Юлдуз – название местности Восточного Туркестана.

Когда Амир Темур вышел из шатра, все встали. Выделялся крупный, с выпуклым лбом Амир Идику-мангит. Он прибыл в Самарканд пятнадцать дней назад и посетил Сахибкирана.

– Амир Сахибкиран, находясь во дворце Тохтамышхана, я постоянно опасался, что однажды в приступе гнева он убьет меня... Особенно после событий у реки Довдирсай, поэтому я решил приехать к вам...

Он рассказал Сахибкирану многое. Амир Темур молча слушал.

Вот теперь один из знатных амиров Золотой Орды участвует в курултае, посвященном походу на Дашти Кипчак.

Сначала зазвучал голос Мир Сайида Бараки:

– Давайте воздадим почести милостивому и справедливому Аллаху, его пророку и четырем халифам! Наряду с правоверными пусть Аллах защитит салтанат Абулмансура Абулмузаффа Сахибкирана Амира Темура Курагана!

На курултае в основном говорил Амир Темур.

– Уважаемые члены курултая! Слава Аллаху, мы стараемся выполнить те обязанности, которые возложены на нас Богом: читать и перечитывать священный Коран, защищать всех обездоленных и бедных, делать счастливыми всех людей мира. Мятежники, забыв о праведных делах, мешают нам осуществлять задуманное... Наш приемный сын Тохтамышхан сошел с дороги справедливости, его народ страдает от его злого нрава... Мы долго следовали по пути прощения... Несмотря на нашу милость, он, забыв обо всем, совершает несправедливые дела. Нужно поумерить его пыл... Все! Собираем войско! Пусть беки из районов и вилайетов собирают воинов! Составить список – сколько у каждого бека нукеров, сколько наездников, и сведения сдать писцам! Каждый бек головой отвечает за своих нукеров!.. Очень скоро мы, даст Бог, выступим на Дашти Кипчак!

– В поход! – раздались возгласы.

После окончания курултая амиры и бахадеры, воодушевленно обсуждая предстоящий поход, направились к накрытому дастархану у самой речки.

II

Зима 1390 года по-христианскому летоисчислению была очень холодной. Люди не помнили, когда прежде стояла такая стужа. Сахибкиран не ожидал, что в Самарканде так резко изменится погода.

Было принято решение перезимовать в Ташкенте.

Всем было понятно, что на дальнюю дорогу в начале такой суровой зимы вынудила необходимость. Иначе Сахибкиран с удовольствием переждал бы холода или в Боги Чинаре, или в Боги Бехиште, наблюдая в окно за снежными выюгами, с Сараймульханум, или Туман-окой ханум, или младшей женой Чулпон Мульк-ханум...

В среду, когда войско Турана выступило в поход, на улицах было многолюдно. От Куксарая до Боги Баланда вдоль ташкентской дороги стояли толпы провожающих: нищие, молодые, старики, женщины, дети с восхищением смотрели на нукеров.

– Счастливого пути, Амир Сахибкиран!

– Удачного возвращения!

– Пусть Аллах хранит вас! – слышалось отовсюду.

Сначала выступали всадники, выстроившись в огромную шеренгу, затем неисчислимое множество пеших воинов. Повара, казначеи, брдобреи, оружейники, мастера по изготовлению луков и стрел, кузнецы, барабанщики, карнайщики, сурнайщики, трубачи, трубящие в рога, проводники – все, кто необходим для нормальной жизни армии в походе. Казалось, земля содрогается от гула шагов огромной армии Сахибкирана.

Вслед за войском ехали в закрытых повозках все жены султана: от старшей Сараймульханум до младшей жены Чулпон Мульк-оки, а семьи воинов шли пешком. Было уже за полдень, когда девять охранников последней повозки, облаченные в кольчугу, скрылись за возвышенностью Чупанаты.

...Ташкент встретил Сахибкирана паяндозом¹ из белых снежных хлопьев. Приблизилась чилла², суровая зима предстала во всем своем великолепии.

Сахибкиран остановился у градоначальника на улице Самарканд Дарваза. Расположившись в огромной гостиной двухэтажного дома, приказал войску двигаться к местечку Карасман и ждать дальнейших распоряжений. Гарем расположился в других комнатах огромного дома.

Внезапно Сахибкиран почувствовал себя нехорошо. Когда-то в одном из сражений в Сеистане он был ранен в правую ногу (была задета кость) и в правую руку. Раны зажили, но иногда давали о себе знать. Он старался не обращать на это внимание...

Срочно вызвали бывшего лекаря, пожилого Намазхаджу Шаши.

Сахибкирана знобило, он никак не мог согреться.

– Сахибкиран промерз... Простуда... Пусть Аллах подарит ему скорейшее выздоровление! Дайте одеяла! В два-три слоя! – приказал Намазхаджа Шаши.

Лекарства и снадобья подействовали, Сахибкирану стало легче, всем показалось, что он вздремнул. На самом деле у него не было сил пошевелиться. Встревоженные жены, дети, амиры и бахадуры радостно восклицали:

– Слава Аллаху!.. Болезнь отступила! Болезнь отступила!

Но ночью больному сделалось хуже.

Три дня и три ночи состояние больного не улучшалось, он терял сознание, по природе терпеливый к боли, в беспамятстве охал и ахал, не мог ни спать, ни лежать спокойно, его терзали видения. Перепутались сон и явь. Ему казалось, что увиденное во сне происходит на самом деле.

Его тревожили мысли о смерти. Если он умрет... кто возглавит салтанат? Джахангир Мирза умер... Кому из сыновей можно доверить страну? Конечно Мухаммаду Султану! Мухаммаду Султану...

Во сне ему приснился пророк Мухаммад, который сказал: «Не переживай, семьдесят твоих поколений будут сидеть на троне!» Сказал и исчез. Вдруг он увидел большое дерево. Крупные листья давали густую тень, на ветвях пели птицы, ползали всякие букашки, все дерево было в плодах... Но одни фрукты сладкие, а другие кислые.

Тут зазвучал удивительный таинственный голос:

«Эй, Сахибкиран! Дерево это – ты, а ветви и листья – твои потомки. Птицы и насекомые, которые питаются плодами, это народы, развивающиеся благодаря твоим усилиям...»

Наконец температура спала, спустя неделю Сахибкиран почувствовал облегчение, но теперь его стали беспокоить раны на руке и ноге. У больного не было сил, он не мог даже рук поднять.

– Спасибо за страдания! – прошептал Амир Темур, бессильно глядя в потолок.

Между тем из Самарканда приехал Мир Сайид Барака. Доблестный бахадур Сахибкиран похудел, был бледен как полотно.

– Аллах дает страдания только любимым своим рабам, Амир Сахибкиран! – положив осторожно руку на лоб султана, сказал Мир Сайид Барака. – Нельзя падать духом! Бог сам пошлет исцеление! Иншааллах!

Снаружи, как и пятнадцать дней назад, густо валил снег.

...Сахибкиран, благодаря молитвам беков и амиров, детей и жен, через сорок дней встал на ноги. Мир, недавно казавшийся черным и тесным, снова стал светлым и просторным. Да, Аллах снова ниспослал ему испытание.

Могущественному падишаху еще раз пришлось удостовериться в слабости простого смертного и суетности этого мира. Нельзя об этом забывать.

Сахибкиран слышал, что известный святой Зангиата родился в Туране на улице Самарканд Дарваза. Его прозвали «занги», т. е. негром, за темный цвет кожи и арабское происхождение. Он был правнуком великого шейха Арсланбобо.

Поправившись и придя в себя, Амир Темур, повторяя любимые слова молитвы «Хвала и честь вечному Творцу», отправился навестить могилу этого святого

¹ Паяндоз – белая ткань, которую обычно стелют для дорогих гостей.

² Зимняя чилла – период сильных холодов в середине зимы, продолжается 40 дней.

в кишлаке Зангиата. Мир Сайид Барака нараспев прочитал Коран. Сахибкиран раздал подаяние всем бедным, сиротам и калекам и приказал градоначальнику Ташкента построить мавзолей на могиле святого, а около гробницы возвести помещение для паломников, ухаживать и украшать это место как достопримечательность салтаната! Пусть это будет нам наградой за добрые дела и воздаянием. Может, и нам будут прощены наши грехи...

Совершив паломничество в Зангиату, Сахибкиран почувствовал прилив сил.

Двенадцатого числа месяца сафар¹ Амир Темур выступил в поход на Тохтамышхана. Войско было хорошо вооружено и вознаграждено: одни получили иноходцев, другие – золототканые чапаны, третьи – золотые динары.

Принцам Пиру Мухаммаду Джахангиру и Шахруху Мирзе поручили руководить страной на время отсутствия султана, а всему гарему, за исключением младшей супруги Чулпон Мульк-оки, было повелено возвращаться в Самарканд.

...Сахибкиран не удивился, когда ему в Карасмане сообщили, что пожаловали послы от Тохтамышхана. Это должно было случиться если не сегодня, так завтра. С момента осложнения отношений с Золотой Ордой это были первые послы. Тохтамышхан преподнес в подарок девять скакунов и одного сокола. После церемонии приветствия глава послов передал желание Тохтамышхана, полное извинений и сожалений.

Слушая его, Амир Темур потянулся к подбородку. Мир Сайид Барака внимательно следил за ним, пытаясь понять происходящее.

Все беки и амиры с нетерпением ожидали, что ответит Сахибкиран. Среди них были и те, кто хотел бы отложить поход. Беки Жужи улуса Кутлуг Темур-оглан, Амир Идику-мангит и Кунча-оглан навестили уши.

– Когда Тохтамышхан, получив выволочку от своих врагов, не знал, куда податься, мы приняли его как родного, раскрыли по-отцовски объятия... – сдержанно начал Амир Темур, хотя чувствовалось, что он в гневе. – Из-за него я поссорился с Урусханом. Дал ему оружие, войско, сделал падишахом Жужи улуса... Если Аллах его уважил, в том я был причиной. В итоге он в наше отсутствие напал на наши земли! Многие селения разрушил, сровнял с землей!.. Если я проявлю великодушие, боюсь, накличу на себя гнев божий! Сейчас нет веры ни ему, ни его словам!.. Согласно указу исламского падишаха Султана Махмудхана был предпринят поход на этого окаянного!.. Мы подчиняемся этому указу и не возвратимся назад! Пусть мир узнает, у кого на лбу написаны аяты победы! – громко отчеканил Амир Темур.

Глава двадцать третья

I

В последний четверг месяца рабиула авваля² 793 года хиджры туранское войско достигло Сарик Узана и остановилось, чтобы напоить лошадей. За месяц продвижения по пустыне погибло от жажды много лошадей. Армия тоже страдала от нехватки воды.

Амир Темур был удивлен: до похода эти места были исследованы. Значит, ему донесли ложные сведения... В походе есть свои правила, свой распорядок, которому необходимо следовать, иначе можно жестоко поплатиться.

Согласно уложению салтаната при выборе места сражения необходимо учитывать в первую очередь наличие воды, потом желательно располагать войско на возвышенности, место должно быть хорошо просматриваемым.

Некоторые недовольные амиры и беки начали намекать, что, мол, лучше бы возвратиться назад. Но Амир Темур твердо стоял на своем.

Через двадцать дней войско преодолело маленькую гору Кичик. Впереди показались горы Улутов³. Если бы не эти две гряды, то можно было бы подумать, что весь мир – одна сплошная пустыня.

¹ Сафар – второй месяц мусульманского лунного года. Здесь 19 января 1391 года.

² Рабиул аввал – название третьего месяца мусульманского лунного года. Здесь 14 марта 1391 года.

³ Улутов – гора на северо-западе Жеказгана современного Казахстана.

Войско остановилось.

Амир Темур поднялся на вершину и обозрел окрестности. Все вокруг утопало в зелени. Сахибкиран понял, что наступила весна. В этом долгом походе не замечаешь, как проходят недели, месяцы, когда наступает ночь, когда рассвет. Неизвестно, в какую сторону они идут. Солнце не желает выходить из-за туч, сизая хмарь давит на сердце.

Где-то на юге, очень-очень далеко, Самарканд, Кеш, Туранзамин...

«Время идет, а жизнь коротка, – неожиданно подумалось Амиру Темуру. – Эй, человек, останется ли после тебя какой-нибудь след? След... Но если думать о себе, о своей славе и блеске, выюги истории с легкостью сотрут твои следы... Если хочешь, чтоб помнили о тебе, то забудь о себе... Думай о других, заботься о других. Прежде всего думай о своем Туране, о родном тюркском народе. И все это в совокупности станет памятью о тебе... Не так ли, Темурбек?..»

Стоя на самой вершине, Амир Темур с волнением почувствовал близость к Богу, ему показалось, что небо наклонилось к нему, он поверил, что эти мысли появились у него не сами по себе, а по Его воле...

Внизу копошились воины...

Внезапно Сахибкиран распорядился:

– Прикажите нукерам, чтобы каждый принес по камню! Оставим память о себе!

Вокруг вдохновенно раздалось: «Оставим память! Оставим память!»

Двести тысяч воинов, амиров и бахадуров стали собирать камни. В скором времени появилась гигантская каменная возвышенность, на которой началось строительство минарета. Амир Темур обратил внимание на огромную глыбу, отшлифованную дождями и ветрами, и отдал распоряжение Мавляна Убайду:

– На этой глыбе вырезать надпись на нашем родном языке! Для потомков!

Резчик по камню за несколько дней вырезал текст:

«В 793 году, в год барана, в середине весны султан Турана Темурбек с двухсоттысячным войском отправился за ислам на ханство Тохтамышша... Дойдя до этого места, велел сделать надпись на глыбе, чтоб увековечить... Аллах дарует нам победу, иншааллах! Всевышний смилуется над своими рабами, а рабы божьи вспомнят о нас с благословением».

Амиры, бахадур и нукеры не отрывали глаз от каменного памятника, читая надпись. Каждый видел себя в этих «двухстах тысячах» и думал, что вместе с Сахибкираном потомки запомнят и их. От этой причастности к великому все воодушевились. Амир Темур радовался, наблюдая за нукерами.

Четыре месяца пути по раскаленной пустыне, но неприятеля так и нет... Ни слуху ни духу...

Тохтамышхан, прячась, удалялся на север, где-то в глубине души надеясь на отпавленных Амиру Темуру послов. Сахибкиран его обязательно простит, он великодушен, ведь он впервые попросил прощения как приемный сын... Его просьбу он не отклонит. Но ни от послов, ни от лазутчиков не было никаких вестей. В такой неопределенности Тармачук сообщил, что к ним прибежал один из воинов Амира Идику-мангита. Это был Кулинчак-коротышка.

– Говори! Где сейчас Темурленг?.. Послы где? Почему они не вернулись? Ты их видел? Что случилось? – забросал вопросами коротышку Тохтамышхан. Его горящие глаза вопросительно буравили узенькие глазки перебежчика...

– Его величество хакан! – поцеловав землю, отошел на три шага коротышка. – Когда я сбежал, Амир Темур с войском был в Сарик Узане. Ваших послов Сахибкиран обратно не отправил. Он сильно на вас зол... Войско у него огромное, около двухсот тысяч...

– Двести тысяч, говоришь? – потом, не дождавшись ответа, спросил: – Что делает мангит?

– Господин Идику-мангит сказал, чтобы я вам рассказал обо всем. «Одна лиса

потянет семь волков, а волки в моих руках», – сказал он. Будьте покойны. Он ведет войско по самой сложной дороге, специально обходя озера, реки и родники, чтобы выиграть время и дать возможность хакану собрать войско... «Моя цель, – сказал он, – измучить войско Амира Темура и обессилить его до сражения»...

– Пусть бережет себя! – кивнул довольный Тохтамышхан. – Я этого и хочу! Да, этот мангит многое может! Что еще хочешь сказать?

– Расскажи о голоде! – напомнил Тармачук. – Что растерялся? Ты же говорил, что все мучаются из-за отсутствия еды! Что молчишь?

– Да-да! Мой хакан! Я забыл! Нукеры Темурбека мучаются от жажды, пьют воду из луж. Есть нечего... За одного барана на базаре сто золотых дают, но баранов трудно найти... Цены на хлеб тоже высокие... Нукеры питаются зеленью, птичьими яйцами. Что находят, то и едят... На пустой похлебке сидят... Среди нукеров начался голод и мор...

– Да... говорил же, нукеры нередко скандалят из-за хлеба, воды... забыл, что ли? – тихо подсказал Тармачук. Он знал, что это порадует хакана.

– Да-да... Все голодные, готовы сожрать друг друга. Я видел, как нукеры даже обнажили мечи из-за еды, Ваше величество хакан... Они измучены голодом.

Глаза Тохтамышхана радостно заискрились! Да, все выходит, как он задумал. До сражения войско Амира Темура нужно уморить... Пусть мучаются, теряют силы! Пусть все сдохнет от голода и жажды! Если надо, Тохтамышхан готов прятаться даже в преисподней! Он будет прятаться и прятаться! Чем дальше войско Темура окажется от дома, тем ближе победа Тохтамышхана! Да-да!!!

Чтобы предотвратить голод, Амир Темур издал указ не готовить на кострах лепешки и еду из теста! Готовить еду из зелени и птичьих яиц!.. Муку выдавать по специальным разрешениям «мучалко»!..

Утром, войдя в шатер султана, повар спросил:

– Какое вам блюдо приготовить, Амир Сахибкиран? Вы же только что переболели...

Сахибкиран спокойно ответил:

– Что приготовил нукерам, то и мне принеси!

Пожалев, что спросил, повар быстро исчез. Он частенько наблюдал, что Сахибкиран во время походов ест то же, что и нукеры; он трапезничал с амирами или в кругу простых воинов и в хорошие, и в плохие дни. Поэтому его очень уважали и готовы были за него пойти в огонь и в воду.

II

Внутреннее чутье Амира Темура подсказывало, что неприятель близок. Под предлогом охоты он посчитал необходимым дать размяться воинам, а заодно понаблюдать, как его войско управляется с оружием. Судя по азарту нукеров и бахадуров, боевой настрой у армии неплохой. Теперь нужно проверить их в деле.

После объявления построения войско в полной готовности разбилось строго по отрядам. Нукеры в военном снаряжении красиво выстроились в ряд. Каждый бахадур был в своем кругу со своими воинами. Если смотреть сверху, казалось, что поле превратилось в бурлящую реку с множеством воронок.

Сахибкиран начал смотреть не с принцев, а с амиров. В этом был определенный смысл: для султана и принцы, и амиры одинаково близки и дороги. Амир Темур всегда подчеркивал это, восхищая всех своей мудростью и сердечностью.

Два дня Сахибкиран без устали с рассвета до заката обходил подразделения, отряды и давал советы. Все указы, оглашенные на курултае в Окере, были точно выполнены...

Через шесть месяцев войско Турана, преодолев безводную раскаленную пустыню, наконец достигло одного живописного местечка. Самое удивительное, что здесь не было ночи: после сумерек тут же поднималась заря. Люди начинали путать время

намаза. Это место, куда армия Амира Темура прибыла в понедельник месяца ражаб¹, называлось Кундузча².

За все это время разведчики, как ни старались найти след неприятеля, так и не смогли это сделать. Если и попадались вражеские караульные, то через какое-то время бесследно исчезали. Никто ничего не мог толком объяснить. Казалось, что враг растворился в воздухе.

Был отдан приказ: «Ночью не зажигать костров, как стемнеет, не выходить из шатров!»

Посоветовавшись с амирами, Сахибкиран решил отправить вперед отряд из двадцати тысяч нукеров под предводительством Умаршейха Мирзы.

– Без сведений о расположении неприятеля не возвращаться! Найти врагов обязательно! – приказал Амир Темур.

Наткнувшись на останки недавнего костра, принц обрадовался и поскакал по следу. Иногда издали доносился топот копыт. В одном месте нашли около пятидесяти жаровен, в которых горел огонь, но ни одной живой души не было.

Проскакав довольно значительное расстояние, наткнулись на след врага. Ставка Тохтамышхана находилась в местечке под названием Кундузча...

Амир Темур размышлял о том, что, дожив до своих лет, он ни разу не руководил таким большим сражением. Да, это первый в его жизни большой бой, не просто схватка между Амиром Темуром и Тохтамышханом, а великое сражение между двумя мощнейшими державами – Тураном и Золотой Ордой.

До этого в сражениях Чингизхан делил войско на три части: правая рука, левая рука и сердце, то есть центр. Сахибкиран, поразмыслив, решил использовать совершенно новую тактику, дотоле нигде и никогда не использовавшуюся. Он разделил огромное войско на семь частей. Одним флангом руководил Султан Махмудхан, вторым – Амир Сулайманшах...

Мухаммад Султан в этом бою возглавит великую руку – манглай! Джаханшах ибн Жаку, Амир Шахмалик по приказу Сахибкирана должны были быть рядом с ним!

– ...Умаршейх Мирза – в жарангаре³, возьмите себе отряды сулдузов! – распорядился Амир Темур.

– Слушаюсь, Амир Сахибкиран! – отозвался Умаршейх Мирза.

– ...Мираншах Мирза пусть руководит барангаром⁴! Худайдад Хусайни, Ахир Жаббор-бахадур, Мирза Алибек ему в помощники!

– Слушаюсь и повинуюсь, государь! – сказал Мираншах Мирза, прижав руку к груди.

– ...Амир Сайфиддин-некуз пусть составит крепкий йасол⁵ и расположится с ним в левом крыле! Мухаммадбек ибн Муса, Шейх Нуриддин будут ему помощниками! Каждому сотнику, тысячнику и десятитысячнику отвести определенное место в каждом подразделении, строго соблюдать границы и крепко держать строй!

Амир Темур перевел дыхание. Все, кого называл султан, отдавая честь, делали шаг назад.

– И еще... – продолжил Сахибкиран. – Кроме семи подразделений, создать йасолы из двадцати частей! Руководить запасом назначаю Мубашшир-бахадур! Ему следует терпеливо стоять за центром. В бой вступать только по моему приказу, понял, эй, бахадур?

– Только по Вашему приказу, Амир Сахибкиран! – преклонил колено Мубашшир-бахадур.

Согласно распоряжению каждый воин в указанном месте перед собой начал рыть окоп.

¹ Ражаб – название седьмого месяца мусульманского лунного года. Здесь: 1391 г.

² Кундузча – название реки и местности на севере Самары.

³ Жарангар – левый фланг.

⁴ Барангар – правый фланг.

⁵ Йасол – строй воинских частей.

...Тохтамышхан, перестав скрываться, наконец решился вступить в бой. По сведениям гонцов, армия Амира Темура вконец измучена и обессилена голодом, жаждой и тяжелой дорогой. Осталось только толкнуть разок – и воины посыплются на землю, как туювник с дерева.

Выбранное поле сражения, по воле Аллаха, было отличным. Берег реки Кундузча Всевышний будто специально создал для великих сражений. Вмешая до тысячи нукеров, просторная равнина была бугристой, и враг, не имея возможности видеть весь бой, вынужден был ориентироваться на крики и шум...

С обеих сторон поля выстроились два войска. Словно лошади, бьющие копытами о землю, нукеры с нетерпением ожидают начала боя...

И вдруг поведение Амира Темура изумило и друзей, и врагов. Он, воспользовавшись тем, что река Кундузча обрамляет тыл его войска, приказал воинам, которые вот-вот должны были вступить в бой, поставить шатры... и в каждом шатре зажечь лампу. Через несколько минут как из земли выросли шатры.

Тохтамышхан, наблюдавший за происходящим, вскипел от ярости. «Они, не обращая внимания на могущественную армию Золотой Орды, спокойно, без опаски ставят шатры на поле боя! Они нас ни в грош не ставят!» – подумал он, кусая от досады губы.

Неожиданно Сахибкиран приказал собрать все шатры, а сам сошел с коня и, разложив молитвенный коврик, усердно начал молиться: совершил два ракаата¹ намаза, попросив у Аллаха сил, удачи и победы... Закончив молитву, Сахибкиран сел на коня... Тохтамышхан, издали наблюдавший за этим, еще больше злился.

Сахибкиран повернулся к наставнику и сказал:

– Шесть месяцев мы, преодолевая трудности и лишения, шли по безводной пустыне, наконец настигли врага. Тохтамышхан оказался хитрецом. Не боится Божьего гнева. Он не знал, как всё это ущемит нашу царскую гордость. Его надо так проучить, чтоб он больше никогда не пришел в себя!

А потом обратился к воинам:

– Джигиты! Этот день – великое праздничное торжество! Праздничное оттого, что мы вышли на поле боя, а торжество потому, что мы сегодня со словами «ур-хо ур» будем пить вино – кровь наших врагов, а острые клинки будут нашими бокалами! Бить в барабаны, играть в горны!!!

Тотчас раздались голоса амиров и воинов:

– За Аллаха, Родину и падишаха!

Амир Темур с сильно бьющимся сердцем наблюдал за боем сверху из ставки. Его беспокоил исход сражения. Неожиданно сообщили, что слева подразделение сулдуз² наполовину рассыпалось. Этого еще не хватало! Это же рядом с крылом Умаршейха Мирзы. Гонец сообщил, что сам видел, как упала с плеч голова полководца сулдузов. Теперь Тохтамышхан все силы направит туда...

Действительно, Тохтамышхан решил именно здесь пробить брешь в войске противника и бросил самые сильные подразделения Бека Ёрук-оглана и Элийгмиш-оглана.

Тохтамышхан не забыл, как когда-то в Самарканде в Боги Накш жахане во время вечеринки Умаршейх Мирза оскорбил его: «То, что ты принц, и гроша не стоит!», «Растяпа, курица!», «Бессовестный!», «Трус, без стыда и совести!» – эти фразы до сих пор жгут сердце хакана. Теперь настал черед ответить на них.

Сражение шло с переменным успехом: удача была то на одной, то на другой стороне... Тохтамышхан почувствовал, что правое и левое крыло слабеют. «Надо направить все силы на войско Умаршейха Мирзы, взять его в плен, и, прорвавшись, окончательно раздавить Сахибкирана». Это ему казалось пустяковым делом.

По правде говоря, удача улыбалась Тохтамышхану. Постепенно он начал пробиваться через войско Умаршейха Мирзы.

¹ Ракаат – часть намаза.

² Сулдуз – название племени.

Эту новость срочно сообщили Амиру Темуру. Умаршейх Мирза передал отцу: «Тохтамышхан, выстроив свои войска в боевой порядок, преследует нас...»

Значит, хан Золотой Орды решил окружить и уничтожить самого Сахибкирана...

В это время прискакал гонец с левого крыла и сообщил: враг обходит войска с тылу, и только войско Мухаммада Султана не сдает позиций...

– Давай! Дави врага! Бей!!! – слышались неприятельские крики.

Сахибкиран понял всю сложность положения. Если собрать все подразделения в одном месте, можно упустить момент, трудно будет успеть: враг слишком близко, вот-вот перейдет в наступление... Большая часть войска погибла... Амир Сайфиддин-некуз, Джаханшах ибн Жаку, Умаршейх Мирза несут большие потери... Войско Мубашшир-бахадур не сможет сдержать напор врага, опьяненного запахом близкой победы. Разбираться, где допущена ошибка, будем потом... А сейчас, несомненно, положившись на Бога, надо отступить. Отступить – не проиграть, это лишь военная тактика...

Мир Сайид Барака, тоже наблюдавший за боем, вдруг вспомнил сражение под Бадром. Тогда пророк Мухаммад, мир над ним, взял горсть земли и со словами: «Пусть у врага лицо почернеет!» – бросил в сторону неприятеля, и, боже мой, не осталось ни одного вражеского нукера, кому не попала бы пыль в глаза. Наставник как зачарованный слез с лошади и со словами: «Хвала Аллаху – господу миров! Боже правый, дай сил!» – взял горсть земли и крикнул:

– Амир Сахибкиран, не падайте духом! – машинально бросив землю в сторону врага. Затем громко закричал: – Враг бежит!!! Пусть он провалится! Амир Сахибкиран! Скачите вперед! Победа за нами!!!

Наставник вскочил на коня и поскакал.

Во всех флангах закричали: «Победа за нами!», «Победа за нами!», «За Аллаха, Родину и падишаха!». Войско Амира Темура неожиданно воспряло духом и развернулось к врагу.

Амир Темур, вдохновленный наставником, приняв решение, поскакал на поле битвы! Тут же приказал Мубашшир-бахадuru идти в бой, а сам собрал все фланги. Тем, кто был далеко, приказал срочно построиться и присоединиться к основному войску. Затем, встав во главе войска, Сахибкиран развернул его к йасолам Тохтамышхана.

В небе не было ни облачка, река Кундузча ревела и бушевала...

В войске Тохтамышхана разлетелась новость: во главе войска сам Амир Темур!

Вдалеке гордо развевалось туранское знамя...

Из Хумаюн урду отдали приказ бить в барабаны! Поднялся шум. От конского топота задрожала земля.

Тохтамышхан, уверенный, что армия врага ослабла, что ее легко можно взять в кольцо, направил все силы на выполнение этого маневра. Но он не знал, что есть дополнительное войско из двадцати частей под предводительством Мубашшир-бахадур. О боже, откуда оно появилось – выросло из земли или свалилось с неба? Во главе войска сам Амир Темур! Звуки вражеских барабанов болью отозвались в ушах Тохтамышхана...

Сахибкиран стремительно перемещался по полю битвы, ему сообщили добрую весть о том, что отважный принц Мухаммад Султан разбивает манглай Золотой Орды. От доблести внука у деда просветлело на душе, прибавилось сил, он непроизвольно рванулся к нему. Сахибкиран увидел, что Мухаммад Султан с обнаженным клинком пробивается вперед, а воины неприятеля бросились врассыпную, услышал, как слились крики нападавших и стоны раненых.

С вражеской стороны до Амира Темура доносилось:

– Не бежать!!! А ну-ка вернитесь, нечестивцы!!!

Битва разгоралась. Вскоре войско Тохтамышхана дрогнуло и побежало.

Хан Золотой Орды запаниковал, он чувствовал, что теряет превосходство в бою.

Шайтан в душе кричал: «Беги! Сохрани жизнь! Иначе конец, смерть тебе!» Он забыл обо всех своих притязаниях, о троне, им двигало одно желание – спасти собственную шкуру. Нужно бежать, но куда? На север, конечно, на север!..

Тохтамышхан несколько секунд с досадой смотрел на поле боя; издалека казалось, что он торопится на помощь на левый фланг, на самом же деле он бросился бежать. Между тем победоносные крики воинов Амира Темура слились в единый гул, охватив окрестности.

Хан Золотой Орды думал, что никто не заметил его бегства, но этого невозможно было не заметить. Умаршейх Мирза, находясь в самой гуще сражения, ни на минуту не упускал его из виду. Амирзаде волновался в предчувствии скорой победы и встречи в лоб с заклятым врагом, стремясь поквитаться с Тохтамышханом.

Внезапно амирзаде заметил, что Тохтамышхана на поле боя нет! «Сбежал!» – вспыхнуло в голове Умаршейха Мирзы. Он огляделся.

На севере, вдалеке, мелькала фигура всадника, скачущего к реке. «Это Тохтамышхан, – догадался амирзаде, крепко выругавшись. – Точно он! Хочет сбежать! Не сбежишь, злыдень!»

Умаршейх Мирза кинулся в погоню.

Берег реки в низине... Вода, выходя из берегов, попадала в ложбинки. Далее тугай – место, где можно укрыться. На севере – холмы.

Амирзаде видел, что Тохтамышхан направляется вправо. Видимо, хочет обойти тугай... Точно, он не собирается прятаться, иначе бы не свернул. К сожалению, амирзаде плохо знал эти места. Но он был уверен, что, куда бы ни свернул Тохтамышхан, все равно окажется у реки. Там-то он его и поймают...

Умаршейх Мирза направил своего гнедого влево. Во что бы то ни стало он должен успеть наперерез хакану!

Тохтамышхан, то и дело хлеставший скакуна, скакал не оглядываясь. Однажды обернувшись, он услышал вдалеке шум битвы, но нигде не увидел своего знамени, все скрывала плотная завеса пыли.

Неожиданно он заметил всадника, стремительно скакавшего в его сторону. Присмотрелся, – действительно, кто-то догоняет его! Неужели?! Неужели это его заклятый враг Умаршейх Мирза?

Сейчас ему совсем не хотелось встречаться с амирзаде, тем более сражаться... Тохтамышхан предчувствовал, что погибнет от его руки. А еще хуже, если его свяжут, накинута на голову мешок и приташат к Амиру Темуру. Он вспомнил, как правитель Хорезма Юсуф Суфи вызвал Амира Темура на поединок: Сахибкиран, несмотря на свои ранения, принял вызов, а Юсуф Суфи не сдержал слова, испугался, опозорившись и перед хорезмским, и перед туранским войсками. Вспомнив это, он прищепил коня и больше не оглядывался.

Умаршейх Мирза выехал к реке слева от тугаев и понял, что ошибся. Действительно, он совершенно не знает этих мест! Эх, амирзаде, амирзаде!

Амирзаде покрылся холодной испариной! Неужели он упустил своего злейшего врага! Он называл Тохтамышхана растяпой, а теперь ясно, кто растяпа! Увы, момент упущен... «Это тоже судьба», – с горечью прошептал Умаршейх Мирза.

Амирзаде тут же повернул коня назад, и, когда подъехал к реке справа, где-то вдалеке увидел исчезающую фигуру всадника.

Конец второй книги

Перевод с узбекского Мухаммада АЛИ и Саодат КАМИЛОВОЙ

НОВЫЕ ИМЕНА

Сады души моей**Верность**

Будь мне верной в сумме неверностей,
И подробности отпустим в юность мы.
Режь ревнивое сердце без скромности
Обнажённым ножом нежности.

Будь мне верой за шаг до пропасти.
Впасть бы в пасть к твоей откровенности.
Ветра, света и лифта скоростью
Я влетел в тебя – слеп, бессовестен.

В переходах на стенах, на личности
Есть потребность писать непотребности,
Доберись до души моей древности
Доберманом души, пока стих не стих.

Будь мне первой в ночи и в вечности,
Обналичим к чертям приличия!
И в облинии праздника разностей
Вместе мы с тобой – только порознь.

* * *

Поздно! Ватных поцелуев гроздя
Оставят привкус горький как миндаль.
Мне кажется, мы превратились в воздух,
И кони, раздувая ноздри,
Вдыхают нас и мчат куда-то вдаль.

Там, где таится ночь, где не смолкают грозы,
Где гнёзда выют диковинные птицы,
Я загадал тебя на падающих звездах,
Я думал, что для радости был создан.
Но отчего в душе печаль гнездится?!

У тишины есть свой незримый отзвук,
В пустыне пустота – очарованье!
А я забыл, в чём мой заветный козырь.
Ты медлишь? Ватных поцелуев гроздя,
Из них последний – поцелуй прощанья!



**Ашот
ДАНИЕЛЯН**

Родился в 1983 г.
в Ташкенте.
В 2006 г. окончил Ташкентский институт востоковедения. Филолог. Переводчик с японского. Музыкант, основатель ташкентской рок-группы «Крылья Оригами». Автор рассказов, краеведческих очерков, опубликованных в местных и зарубежных изданиях. В «Звезде Востока» публикуется впервые.

Память четырех стихий

1

Память Воды хранит
Шепот ночных кошмаров,
Таинство мартовских ид
И сахар песков Сахары.

В ней радость былых застолий
И горечь девичьих слез.
В ней тонет безвольный Голем,
Творит чудеса Христос.

2

Память слепого Огня –
Пламенность заклинаний,
Финал полутьмы, полудня
И темя быков на заклании.

Алеет язык пёсий,
Квартира теплом облизана.
А в ней как зола – проседь
Прошлых твоих жизней.

3

В памяти Сухова
Люди неверно сшиты
Нитью воздушного змея,
Трассами мессершмидтов.

В ней тихо колышется колос,
Любовных интриг накал.
В ней чей-то несмелый голос
Молитвы в свирепый шквал.

4

Память немых Камней.
В ней скрип колеса рикши.
Как нищий на днище дней
Поникшая тень Нише!

Быть может, не самый лучший
Хрипло звучит мой стих.
Услышь его, живущий
Здесь в этой будничности.

Там, в садах моей души...

Я завешаю Вам сады,
Сады, горевшие в обидах
Таких причудливых либидо,
Но не избегшие беды.

Сады, в которых Вы на «ты»
С деревьями, что пирамидят
И неприкрытость наготы
Глазными яблоками видят.

Я завешаю Вам сады.
Мои сады Семирамиды.
Души, отправленной к Аиду,
Небезупречной чистоты.

Здесь от Платона и де Сада
Мой разум теньями обвит.
Здесь занемог я от досады,
Но говорил, что от любви.

Из глубины шебечут птицы:
Скворец, синица, коростель.
И там последний выстрел снится
Тем, чья проиграна дуэль.

И не святой, и не злодей
Я смутно вспоминаю детство,
Где получал сады в наследство
От незнакомых мне людей.

Быть может, Вам и не нужны
Дары, врученные с поклоном,
Но по кармическим законам
Принять Вы все же их должны.

Я завешаю Вам сады.
До истончения, до срока.
Я подпишусь древесным соком
Пред тем, как превратиться в дым.

Через года в ночи услышав,
Уж не пугайтесь Вы торопко,
Как я стучусь в окно к Вам робко
Расцветшей по апрелю вишней.

Тишина-музыка

Тишина – это тоже музыка,
Иногда она даже больше
Условностями обросшего
Музыкального языка.
Но есть ли путь осознать сполна,
Будучи мыслей узником,
Где закончилась тишины музыка?
Где началась тишины тишина?

Дерево

Я – Дерево. Сердца спил
Скажет, сколько во мне тоски.
Я рос под прохладой рос,
Где звёзды во мгле низки.

Я древний, как рыба-меч,
И мачт из меня не счесть,
В короне кроны маячат,
Побеги нелепых мечт.

Я – Дерево. Зимний лес
В холод, как колокол – гол.
Неси мой берёзовый крест,
Осиновый выруби кол.

Я видел грани предел:
Как ветер влетает в грот.
Как море, раскрывши рот,
О скалы оскалы рвёт.

Я, видимо, крепко спал
(деревьям свойственно спать),
Когда мой стан стал стрелой,
Запущенной к небесам.

И я не чувствовал боли,
Когда от удара молний
К утру превращался в дым
И плыл пеленой по полю.

Я –Дерево. Сердца спил
Скажет, сколько во мне любви!

В поиске высоты

То место, где я бы хотел умереть
Не от тоски или с горя,
А гипотетически, если бы смерть
Застигла меня на взгорье.

У взгорья есть статья. Здесь ветер, как плеть.
Здесь небо становится низким.
Прощальный костер, чтобы встретить смерть
Немного по-зороастрийски.

Обритым, босым, немым как монах
Залечь под скалу и забыться.
Остывшие звезды узнать в валунах
Под плач полуночной птицы.

В предгорьях не ищут ровных дорог
Таких, что аршинят долины.
Здесь ясно без слов, вертикаль – это Бог,
А горизонталь – Богиня!

Продрогшим туманом дымится овраг.
Здесь звонкая тишь и высь.
Здесь раненный в грудь умирал варяг,
Остывала старая рысь.

Наброшен закатного неба шелк
На всех, кто в степи остался.
Но лучшая участь у тех, кто ушел,
Кто высоте достался.

Кто видел тайну, закрыв глаза.
Кто не утратил веру.
Кто знает! Хрустальная стрекоза
Летит над горою Меру!

Мне б время и место узнать до поры,
Ведь я не спешу, не скрою.
Но аз, недостойный Великой Горы,
Присматриваюсь ко взгорью.

НОВЫЕ ИМЕНА

**Александр
ИКРАМОВ**

Рустам Рахимов родился в 1960 г. в Ташкенте. Окончил ТашМИ, преподавал в Академии МВД РУз, подполковник. В «Звезде Востока» публикуется впервые.

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ*Рассказ*

Игорь проснулся рано, до рассвета, и можно было еще поспать. Но сегодня был особенный день. Сегодня, ровно двадцать пять лет назад, Игорь и ребята договорились, что будут ежегодно встречаться в этот день в Москве. Не каждый год получалось, но сегодня должны были собраться все. Все шестеро.

Наташа спала, сын тоже. Игорь встал, прошел в ванную, потом на кухне быстро приготовил себе кофе и бутерброды, оделся и пошел к остановке, опираясь на палочку-трость. Раненная когда-то нога слегка немела. Москва еще спала. В метро было пусто. Игорь доехал до Пушкинской и вышел прямо к памятнику: он знал, что Рустам уже прилетел и наверняка, забросив вещи в гостиницу, поедет на встречу. Так что примерно через двадцать минут Рустам будет здесь.

Игорь сел на скамейку, и сами собой нахлынули воспоминания о Наташе. Тридцать лет прошло, а все как вчера. Когда-то ходили вместе в школу, жили по соседству, только Игорь был на два года старше и сначала не обращал на нее внимания, но однажды увидел возле школы трех хулиганов и ее, испуганно прижавшуюся к стене. Помогла секция бокса, куда ходил с детства. С тех пор Наташа всегда была под его защитой. Когда уезжал в военное училище, Она сама предложила дружбу. Игорь тогда снисходительно согласился, и они переписывались весь первый год. А потом Игорь приехал в отпуск и с удивлением увидел, как расцвела Наташа. Он влюбился сразу и бесповоротно. Теперь его письма были совсем другими. После третьего курса они впервые поцеловались. Через месяц после возвращения из училища сыграли свадьбу. Тесть был генералом, в больших чинах и при больших возможностях. Злые языки утверждали, что женитьба была по расчету. В то время за Наташей – первой красавицей университета, богатой и выгодной невестой – кто только не ухаживал: и гражданские, и военные. Но Наташа выбрала Игоря. Тесть сначала выбор не очень одобрял, но против воли дочери идти побоялся. А когда присмотрелся к Игорю, понял, что дочь была права. Этому помощь тестя была не нужна, твердо стоит на ногах. Жить стали на квартирке родителей Игоря, а те переехали на дачу. Родился сын. А потом Игорь написал рапорт с просьбой

направить его в Афганистан. Это было как гром среди ясного неба. Друзья отговаривали: плюнь... не обращай внимания на завистников... ради чего ты это делаешь... Игорь отмалчивался. И только когда Наташа задала этот же вопрос, сказал:

– Ради себя.

– А я? Обо мне ты подумал? А наш сын?

Игорь ответил:

– И ради него.

Наташа плакала. Тесть долго хмурил брови, но потом одобрил:

– Езжай. О жене и сыне не беспокойся. Сам понимаешь, не чужие. Все сделаю. Жить будут пока у нас. Места много. А ты не волнуйся.

И Игорь действительно уехал спокойный.

В штабе уже знали о прибытии нового офицера из Москвы, из штабов, родственника «самого»... И посчитали, что приехал за орденами. Предложили должность в штабе – спокойно, безопасно. Но Игорь попросился в разведроту. Покрутили пальцем у виска: это ж самое пекло, пытались отговорить, но Игорь стоял на своем. Согласились. Начал служить и учиться. Учеба давалась легко. Схватывал все на лету, да и учителя были замечательные. Были боевые выходы, были боевые стычки. Через полгода уехал командир роты. Единственной кандидатурой на эту должность был Игорь. Нужен был толковый зам, и он нашел его неожиданно даже для самого себя. Это был парень-узбек, старший лейтенант. Игорь и Рустам легко подружились. Было что-то общее в их судьбах и в том, как попали они на войну. Рустам был среднего роста, физически сильный и выносливый, с детства занимался спортом – футболом и самбо: спуску по физической подготовке в роте не давал никому. На первой же тренировке ребята решили проверить его, и по команде Игоря на него накинулись трое. Но Рустам без особых усилий раскидал всех. Вот так и начиналась их совместная служба.

* * *

Рустам появился из перехода неожиданно. И не один. Рядом была Диля, самая младшая, папина любимица. Трех старших сыновей и жену он держал в строгости, как и подобает отцу семейства. Но дочка из отца веревки вила. Пятнадцать лет, а какая красавица, вся в мать: стройная, гибкая. Одно слово – пантера. Друзья крепко обнялись и расцеловались. Диля повисла на шее, и Игорь с удовольствием чмокнул ее в свежую щечку.

– Ну, как долетели?

– Нормально. С корабля на бал. В гостинице номер освободится к двенадцати, но мы вещи оставили, а сами – сюда. Как дома? – вежливо улыбаясь, спросил Рустам.

– Нормально. Диля, как у тебя дела? Тренируешься?

– Она снова выиграла чемпионат по карате. Представляешь?

– Поздравляю, поздравляю!

Виделись совсем недавно, Рустам часто прилетал в Москву по делам. Всегда привозил гостинцы и подарки. Наташа говорила, что напрасно он беспокоится, требовала, чтобы останавливался у них. Всегда готовила ответные подарки для детей и жены. Недавно Игорь и Наташа ездили к Рустаму в Ташкент. Он встречал их в аэропорту с женой и двумя сыновьями, на двух машинах. Игорь давно не бывал здесь и удивился, как изменился и похорошел город. Дом Рустам отстроил огромный. В большом дворе под навесами был накрыт стол, за которым сидели родственники, соседи и друзья. Во главе его стола – родители Рустама и его жены. Стол ломился от угощений.

- Зачем это все? – спросил Игорь.
- У нас праздник, – ответил Рустам.
- Какой?
- Друзья приехали из России.

Пока расспрашивали друг друга, откуда ни возьмись появился худощавый, невысокого роста человек в серой кепочке и в плаще. Любопытный сразу сказал бы, что он из деревни. Он и был из деревни.

– Скучаете?

– Родина?!

Игорь и Рустам одновременно кинулись к нему.

– Ты как всегда словно из-под земли!

– Так я же живу на земле! Это вы у себя в городе ничего не замечаете вокруг. А я в деревне живу, на природе.

– Костя, дорогой, как ты? – Рустам жарко обнимал друга. – Сколько мы уже не виделись? Два года?

– Ага. Вот как ты приезжал последний раз ко мне, с того раза и не виделись.

– Как Настя, дети, внуки?

– Да нормально, кланялись.

– Здравствуйте, дядя Костя!

– Ух ты, Диля, да как выросла! Красавица! Пелагея тебе привет передавала.

– А что ж вы не взяли ее?

– У-у-у, а кто дома работать будет, коров доить? Может, ты к нам? Не забыла, как это делается?

Долго смеялись, шутили, вспоминали. С Родиной было легко говорить, хоть характер у него был далеко не сахар, а о его сварливости слагались легенды. Родина был из дембелей, которые остались служить, когда Игорь только принял роту. В звании он никогда не поднимался выше ефрейтора, по контракту стал прапором, но уважение к нему было иногда выше, чем к некоторым молодым и даже немолодым офицерам. Уважение он завоевал своей всегда спокойной деревенской рассудительностью и неоспоримым солдатским профессионализмом. Родиной его прозвали после одного случая. Костя, тогда еще молодой солдат, только прибывший из Союза, вечно рассказывавший о своей деревеньке Родники, однажды долго нюхал полевые цветы, а когда его спросили, посмеиваясь: «Чего это ты?» – ответил: «Родиной пахнет». Все засмеялись, но большой тоской веяло от этих слов, потому что эпизод и запомнился. А потом, когда командир роты как-то приказал сделать то-то и то-то, командир взвода сказал:

– Поручим это Косте.

– Какому такому Косте, кто это?

– Так этот... ну молодой, помнишь... Родина!?

– А-а-а, правильно, давай!

И все, так и приклеилось: Родина и Родина. А вот Америкосу прозвище дал сам Родина. Появился во взводе шустрый парнишка, который очень любил все американское. И все, что делал, сравнивал с американским. А вот в Америке... а вот у американцев... Родина как услышал, так и схлестнулся с ним, а в конце заявил:

– Ну и катись к своим американцам...

– Ну что ж, когда-нибудь я и поеду...

Кто знал, что слова его окажутся пророческими. Америкос, тогда еще просто Юра, вырос в детдоме, когда и почему появилась вдруг такая любовь к Америке, никто не знал. Он мечтал поехать туда, как другие мечтали, что за ними придут папа и мама. Юра не видел другой жизни, кроме детдома. Учеба в профтехучи-

лише, армия и сразу Афганистан, разведрота. Игорь сам выбрал этого парня, от которого другие были не прочь избавиться: недисциплинирован, несдержан, не соблюдает субординацию и еще много таких «не». Да и какая-то слишком большая любовь у него к этой Америке. Вдруг убежит, дезертирует. А потом от-вечай за него. Но Игорь увидел другое: умен, активен, ловок, быстро принимает решения, надежен и многое другое, очень нужное в разведке. Поэтому и взял его к себе. Сошлись они быстро. Костя старше и служил побольше, вот и «гонял салагу». Но Юрка не из таких: на него где сядешь – там и слезешь. Обшались сначала как «дед» и «салага», ну а после первых боев стали непримиримыми друзьями-врагами. Похожи они были даже внешне. Оба невысокого роста, худос-ваые, жилистые, юркие и ловкие. В первом же бою Юрку царапнуло в ногу. Игорь приказал Родине отвести Америкоса к санитарам. Сколько выслушал Америкос, сжимавший зубы от боли, пока Родина ташил его, знает один Господь Бог. До-сталось всем: и санитарам, что сидят где-то в тылу, подальше от пуль, и дуракам салагам, которые лезут под пули не зная броду, и Игорю, который заставляет этих дураков таскать на себе, и даже себя Костя выругал за дурость: ведь знает же, что надо держаться подальше от начальства, так нет, попался на глаза – вот теперь и мучается. Но больше всего услышал отборного и крепкого армейско-го мата, конечно, молодой солдат Юра. И тогда поклялся Юра, сказав Косте «страшные» слова, что если когда-нибудь, не дай бог, ранят Костю, то тащить его вызовется сам Юра, и уж тогда Костя выслушает от Юры и о его ранении, и обо всем, что он о нем думает. И накликал-таки. Не успел Юра вернуться в строй и выехать со всеми в боевой выход, как ранили Костю. И тоже в ногу. Несильно, но идти Костя не мог. И командир приказал молодому оттащить старшего бойца к бэтээрам и сидеть там с ним. Поташил Юра Костю на себе. И пока Америкос, сжав зубы теперь уже от напряжения, обливаясь потом и задыхаясь, ташил на себе Родину («тише ты, проклятый, больно же!»), снова выслушал все о себе, о других, о том, что, пока его не было, была тишь да гладь, а как появился – так Костю и ранили, что командиру давно пора списать этого непутевого, и будь она проклята, эта неровная дорога, и этот осел, что ташит его как дрова. И сно-ва крепкий отборный армейский мат. Наконец, когда Америкос, еле переводя дыхание, доташил Костю до бэтээра и обессиленно рухнул, у него уже не было мочи что-либо ответить ему. В горле было сухо, как в пустыне. А когда санитары взялись за дело, то говорить уже было вроде и неудобно. Тем более что Родина выташил фляжку и дал напиться Америкосу, и только потом попил сам.

Через пять лет после Афгана Америкос уехал в Америку.

* * *

– Дядя Игорь, а почему дядя Юра уехал в Америку? – заинтересовалась Дия.

– А тебе папа не рассказывал?

– Нет, он сказал, что я еще маленькая.

– Ну какая же ты маленькая. Большая, пятнадцать лет уже. А уехал он по любви. После Афгана Юра демобилизовался и сразу поехал поступать в инсти-тут. Упорно готовился и поступил, к тому же заслуги военные, орденоносец. Но, главное, готовился Юрка действительно упорно, говорил: «Велика Россия, а отступать некуда. Впереди Москва!» – и поступил. Тяжело было. Общежитие (у меня он жить отказался, хоть я и уговаривал), работал по ночам, учился упорно, за каждую оценку как в бой шел. Материально мы помогали как могли. Времена-то трудные начались. Отец твой периодически деньги высылал, хотя у него уже у самого двое было; Валерка с Дальнего Востока деньги, иногда посылки высылал,

Индрек регулярно присылал небольшие переводы. Ну а Костя... Сама понимаешь, в деревне денег немного. И ртов у него было побольше нашего. Но, приезжая в Москву, гостинцы привозил: сало копченое, рыбку вяленую, а то и просто мешок картошки и лукошко яиц. Знаешь, какая радость в общежитии была! Недельку картошку с яичницей ели. Вот так и жил четыре года. А потом приехали к ним американские студенты, как говорится, для обмена опытом. На практику. А среди них Ненси. Тихая такая девушка, вся в веснушках. Далеко не красавица. Типичная зубрила в очках, с книгой под мышкой. Потертые джинсы и футболка.

– Неправда. Тетя Ненси такая красивая!

– Это она сейчас такая красавица стала, а студенткой была серенькой мышкой. Чем ее внимание Юрка привлек – не знаю. Тоже своей серостью, наверное. Был у них один общий интерес – языки. Юрка практиковал свой английский, который осваивал самостоятельно, а Ненси хотела выучить русский. Так и говорили: она на русском, он на английском. Полгода они проходили вместе, тогда и с нами Ненси познакомилась. И мне, и Наташе она очень понравилась. Хорошая девушка. Ну а потом случилась эта история.

Пригласила компания наших студентов американцев в ночной клуб. Ну и Ненси конечно. А Ненси приглашает Юрку, пошли, мол. А у Юрки и надеть-то нечего. Отказывался сначала. А Ненси: «Обижусь!» Ну что делать? Хорошо, хоть стипендию только получили, было на что пойти. В общем, пошли. Ну, компания за столиком пьет, гуляет. Все разодетые, модные. А Юра с Ненси отдельно сели, за стойкой. Сидят, разговаривают. И вот, как это часто бывает в таких местах, произошел конфликт. Подошел к столику, где гуляла компания, парень. Крутизна на крутизне! Стал приглашать девушек потанцевать. А среди студенток была одна такая Лика. Красавица, модница. Папаша у нее бизнесмен, богатый. Юра в свое время тоже на нее заглядываться стал, только она его быстро отшила, мол, не моего ты уровня, парень, уж извини. А Юра и сам понял. Не та это девушка, о которой можно мечтать. В общем, этот крутец стал Лику приглашать. Она с ним раз потанцевала, второй, видимо, флиртвала, дразнила, а потом хвостом вильнула. Но парень, похоже, не любил, когда с ним так поступают. Лика стала за ребят прятаться, ребята, конечно, вступились, но парень оказался не один. Трое их было. И семерых студентов разложили они по полочкам. Юра в сторонке сидел с Ненси и не вмешивался. Я ему сразу сказал: «Будут драки – не лезь ни в коем случае!» Но когда этот крутой парень взял Лику за руку и потащил за собой (а все сидели и молчали, и охрана молчала), Юра встал. Вежливо попросил оставить девушку в покое. Трое повернулись к нему. Но Юрка и не таких крутых раскладывал. Тем более что это были просто спортсмены. Не бойши. Он им даже ничего не повредил. Уложил только отдохнуть и отдышаться. Потом подошел к столику, где сидели студенты, и сказал: «Вы меня не знаете!» Забрал Ненси и ушел.

Потом они всю ночь с Ненси гуляли. Она смотрела на Юрку с таким восхищением, что он даже застенчивался. Вот в тот день они первый раз и поцеловались. А на другой день весь институт гудел. Никто ничего не говорил, но за спиной у Юрки шушукались и показывали пальцем. Все вдруг сразу узнали, что он в Афгане служил, орденоносец. Что воевал, говорили с восхищением. А Ненси, когда услышала об этом, растерянно спросила: «Ты был оккупантом, ты убивал детей?» – и ушла.

Юрка чуть с ума не сошел. Ненси ни видеть его, ни говорить с ним не хотела. Вот как мозги в Америке умеют промывать! А знаешь, кто помог? Наташа моя. Приехала она к Ненси в общежитие. Та ревет в три ручья: «Я его люблю, а он оккупант, убийца детей!» Что она там ей говорила, какие слова нашла, не знаю. Только Ненси согласилась поговорить с Юрой. И уж о чем они говорили, даже не представляю.

Но Ненси уехала в Штаты. А через два месяца закончилась учеба у Юрки. Я его отправил к Косте в Родники, прийти в себя, как-то выкарабкаться из депрессии, побыть на природе, с детьми Костиными пообщаться. А еще через несколько дней прилетела Ненси. Где искать Юру – никто не знал. Она и пришла к нам. Поговорили мы с ней. Сказала, что любит и без него не может. Я поехал с ней в Родники. Там даже не удивились нашему приезду. А Настя, Костина жена, сказала Юрке: «Я ж тебе говорила, любит – приедет. Бабы, они такие. Что у нас, что в Америке...»

А через два месяца Юра уехал в Америку, насовсем. Нас всех на свадьбу пригласили. Просто прислали билеты на самолет и приглашение. Мы только там и узнали, что отец у Ненси миллионер, что долго не хотел и слышать о русском женихе, но сдался, когда Ненси сказала, что уедет в Россию к нему навсегда. И согласился с условием, что жить они будут только в Америке. Ну а сейчас Юрка – самый любимый зять, надежный помощник отца в делах, и его дети – самые любимые русские внуки.

* * *

Юрка всегда любил эффекты. Вот и сейчас появился на огромном джипе в сопровождении охранника. Вышел из машины и хотел отправить телохранителя в отель, но тот был не робкого десятка и, как оказалось, боялся больше не «мистера Юру», а жену своего хозяина, поэтому бесстрастно возразил, что миссис Ненси не за этим посылала его сюда. Он получил четкие инструкции следить, чтобы мистер Юра не ввязался в какую-нибудь драку или не напился с друзьями и не попал в полицию, как это бывало в Чикаго или Лас-Вегасе.

– Джон, вы очень хороший парень, но я встречаюсь с друзьями, которые никогда не дадут мне ни выпить, ни попасть в полицию.

– Сэр, я ваш охранник, телохранитель, и моя обязанность – охранять вас от неприятностей.

– Джон, вы мой телохранитель, но вы работаете за деньги, а люди, с которыми я встречаюсь, – мои друзья. И они закроют меня от пули, не задумываясь, бесплатно. Так с кем мне надежнее?

– Сэр, я не помешаю им закрывать вас от пули, но если вдруг они не будут успевать, я постараюсь им помочь.

– А бронежилет вы надели?

– Конечно, сэр, он на мне, – Джона смутить было сложно.

Юра навалился на всех сразу. С Игорем он обнялся, и они долго похлопывали друг друга по плечам, с Рустамом по восточному обычаю расцеловались родственному. Долго восхищался Дилей, качая от восторга головой. Красавица! Косте просто протянул руку и, снисходительно улыбаясь, молча начал ее сжимать. Потом вдруг резко обнял его и долго тискал в объятиях. Джон с удивлением заметил в глазах у обоих слезы. Наконец, Юра обернулся и, как бы вспомнив, представил Джона, телохранителя, бывшего морпеха, сержанта, уволенного по ранению.

– Ненси настояща, ну вы же ее знаете... Всегда боится за меня. Начались распросы: как там в Америке, как Ненси и дети...

– Как дела миллионерские, буржуйские, тебя еще не грабнули, не растерял свои миллионы? – Костя, как всегда, был ироничен.

Но Юрка только смеялся. Он был рад встрече.

* * *

Индрек обещал быть в десять и появился со снайперской точностью – минута в минуту. Вот она, деловая хватка: прибалтийская расчетливость и эстонская неторопливость!

– Мог бы и раньше появиться – Костя, по обыкновению, брюзжал, даже если и был весьма рад.

Но Индрек оставался невозмутимым. С иголки одет, замечательный парфюм...

– Я еха-а-л всю ночь, не спа-а-л, должен же был принять ва-а-нну и побри-и-ться? Его акцент всегда вызывал ответную реакцию в виде такого же акцента.

– Мог бы и не бри-и-ться.

– Не-е-льзя. Нужно бри-и-ться.

Индрек уже начал раздавать подарки, и самый большой получила Дия.

– А как ты узнал, что она будет с нами?

– Я спра-а-шивал у Игоря-я, и он мне сказа-а-ал. А Вале-е-ра прие-е-хал?

– Валерка должен быть с минуты на минуту. Его поезд уже прибыл, а сюда он наверняка в метро добирается.

Индрек и Валерка попали к Игорю одновременно. Были из одного призыва, но Индрек, пожалуй, единственный, кто пришел в разведроту целенаправленно. Игорь сначала сомневался, глядя на высокого, худошавого паренька, оценивал его на силу, выносливость. Но Индрек взял другим. До армии он увлекался стрельбой и показал такую стрельбу, о которой Костя потом сказал: «Как в цирке». Это была высшая оценка. Но потом Индрек проявил себя и с другой стороны. Только он со своей прибалтийской неторопливостью и обстоятельностью мог часами наблюдать за противником и отмечать такие детали, которые иногда играли решающую роль в операции.

А Валерка был просто сильный. После цирковых выкрутасов Индрека ему и сказать было нечего. Он тогда постоял, подумал, а потом попросил Рустама сесть ему на шею, сверху посадил Игоря, на плечи сели Костя и Юрка. Индрек зацепился за шею и повис сзади. Валерка стоял твердо и не шатался. Прошла минута.

– Нам слезать? – спросили его.

– Как хотите, – ответил он.

В походах он вешал на себя рацию, брал рюкзак с запасом патронов, в руках ташил пулемет и пять запасных коробок к нему. Каждая по четыре кило. Так и шел. Кстати, пулеметом он тоже владел прилично.

* * *

Валерка появился минут через десять. Сто девяносто пять сантиметров были видны издали.

– Валерка! Почему не выходишь на связь, где пропал, последний раз был пять лет назад.

Валерка, смущенно улыбаясь, отвечал всем сразу. Только улыбка была несколько грустной. Игорь молчал, ничего не спрашивал. Юрка тряс Валерку и весело хохотал

– Ну как жена, как доча, Марина?

Валерка, будто вдруг подавившись, еле выговорил:

– Ничего, хорошо.

Общее смущение снял Игорь:

– Ну что, куда пойдём?

– В ресторан конечно, – Юра был настроен решительно, – я угошаю!

– Да не очень хочется в ресторан.

Все молчали. Валерка вдруг сказал:

– Пацаны, а помните пивнушку на бульваре, ну там, где после дембеля пиво пили? Двадцать пять лет назад...

Все разом заулыбались.

– Игорь, а она работает еще?

– Черт его знает. Давно я там не был.

– Ну, пошли?

– Пошли.

* * *

Пивнушка работала. Только теперь она называлась бар. Двадцать пять лет прошло с того памятного дня, а будто ничего не изменилось: такая же толстая пожилая официантка с кокошником на голове разносила пиво по столикам и убирала кружки. В пивнушке было полно народу, и только столик в углу был свободен. Через пять минут на столе стояли кружки с пивом, лежала вяленая рыба, соленные орешки, чипсы (Джон попросил). Костя, воровато оглянувшись, вынул из кармана бутылку водки.

Выпили по первой, запили пивом, и потихоньку пошло. Шумно говорили, спорили, вспоминали. С Джоном болтали по-английски не только Юра, но и Игорь с Дилей. У них немного хромала грамматика, но Джон только улыбался. После двух тостов, произнесенных Игорем и Рустамом, Костя разлил по третьей, и все замолчали.

– Ну что, за пацанов наших, пусть земля им будет пухом.

Молча, не чокаясь выпили. Помолчали, вспоминая, а потом снова началась беседа. Увидев у одного из ребят гитару, Юра попросил ее, и ребята не отказали. Попробовав перебор, он тихо запел:

Над горами, цепляя вершины, кружат вертолеты.

Где-то эхом вдали прогремели последние взрывы.

Только изредка ночью взорвут тишину пулеметы,

Проверяя, а все ли мы живы...

Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.

По афганским дорогам пришлось нам проехать немало,

Мы тряслись в бэтэрах, нам небо служило палаткой,

Но надолго под звездами твердым законом нам стало

Не искать на земле жизни сладкой.

Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.

Время медленно шло, только быстро усы отрастали,

Снились жены, любимые, дети нам снились,

Но когда, расставаясь с тобою, прощаться мы стали,

Почему-то опять загрустили.

Афганистан, Афганистан, Афганистан, Афганистан.

Пивнушка затихла, вслушиваясь в слова песни, у многих увлажнились глаза. Песня закончилась, и гул голосов снова стал постепенно нарастать.

– Игорь, у Валеры что, неприятности? Что с Мариной? – Юра спрашивал негромко, вполголоса, и Игорь еле услышал его.

– Ты же знаешь, Юра, Валера рано женился, много работал на приисках, золото мыл, все время в тайге, все старался для жены и дочки, обеспечивал их, чтоб было у них все. А жена ждала его, ждала, да и ушла к другому. Богатому бизнесмену. Однокласснику своему. Он давно за ней ухлестывал, еще со школы. Уговаривал. Ну и уговорил. Валерка вернулся из тайги – ни жены, ни Маринки.

Квартирная хозяйка все и рассказала. У нее Валерка уже семь лет жил с женой и дочерью. А ведь он почти собрал деньги на дом, хотел построиться, потому и работал не покладая рук, но жена ждать не захотела. Пришел Валера домой к этому бизнесмену, спросил жену: «Почему?» Та молчит. «Где Маринка?» – «Далеко, у бабушки».

Валерка постоял, подумал, развернулся, да и пошел крушить все направо и налево. Разбил пару зеркал, и тут вдруг Маринка выбегает: «Папа, не надо, прекрати!»

Валерка стул отшвырнул, взял дочку за руку и вышел во двор. О чем они говорили, никто не знает. Только Валера ушел со двора, даже не оглянувшись. Пять лет прошло, казалось, мог бы поехать к дочери, но не едет. Говорят, она сказала ему, чтобы не мешал он ее и маминому счастью. Такие вот дела.

* * *

– Папа, папа!

Диля тянула за рукав Рустама и шептала ему что-то на ухо. Рустам, до этого что-то горячо обсуждавший с Индреком, растерянно стал оглядываться, но Костя понял все. Несмотря на выпитое Костя оставался абсолютно трезвым.

– Пойдем, дочка, я тебя провожу. Тут туалет один, мужской и женский одновременно. Ты заходи, а я посторожу. Иди смело, не бойся.

В зал ввалилась толпа бритоголовых молодчиков. Крича, матерясь и размахивая руками, они сразу стали вести себя как хозяева и своими криками внесли дисгармонию в размеренный шум зала.

– Скинхеды, – определил Игорь.

– Чего? – спросил Валера.

– Фашиствующая молодежь. Бьют всех нерусских.

– Это что ж, они Джона могут побить?

– Нет, Джон белый, вот если бы он был негр, обязательно придрались бы.

Четверо разом двинулись к туалету. Видимо, давно приспичило. Впереди здоровый амбал с цепочкой на шее. Вошли в коридорчик и натолкнулись на Костю.

– Погодите пацаны. Шас освободится.

Раздался шум спускаемой воды, и появилась Диля. Все-таки восточная красота особенно заметная... Хотя, может, будь на месте Дили другая, русская девчонка, случилось бы то же самое.

– О, пацаны, гляньте какая телка! – амбал аж зашелся в восторге. – Э, желтомазая, давай повеселимся. Давай по-хорошему, а нет – рожу твою исполосую, – и амбал вытащил из кармана кастет.

– Эй, пацаны, хорош, ну-ка отвалите, – Костя говорил просто и даже не жестко.

– Чево? Парни, ну-ка придержите дверь и этого старикана, пока мы тут побалуемся.

– Гы-Гы-Гы.

Диля сначала ушам не поверила, но стоило амбалу только протянуть руку, как сработал инстинкт и доведенная до автоматизма техника. Удар в пах маленькой ножкой вынудил его опуститься на колени прямо на заплыванный пол. Но боль в паху затмила боль в ушах. В голове как будто лопнуло от удара ладонями по ушам. Амбал поплыл и краем глаза увидел приближающийся с разворота в челюсть кроссовок. Он потерял сознание. Диля быстро сделала шаг назад и встала в стойку, ожидая нового нападения. Но никто не собирался нападать. Костя стоял в прежней позе и улыбался.

– Однако молодец!

Трое лежали в разных позах в разных углах на полу. Один был без сознания, второй, держась за живот, с трудом пытался восстановить дыхание, а третий, бледный и тихий, держался за коленку.

– Пойдем, дочка. А ты молодец!

В зале никто ничего не заметил. Стало больше народу и гораздо шумнее. Костя подошел к столику.

– Ну что, пацаны, не пора нам сваливать?

Игорь сразу почувствовал Костино настроение.

– Что случилось?

Диля не могла сдержать восторг:

– Там четверо приставать ко мне стали. Дядя Костя за меня вступился.

– Так... Скины?

– Чего?

– Ну, из этих?

– А, да, из этих.

– Так, быстро уходим, – Игорь зашарил по карманам.

– погоди, погоди, – Юра был недоволен. – Мы еще пиво не допили. Да брось ты, Игорь. Полезут – наваяем им.

– Ты, красавец, не забыл, что ты гражданин США? Рустам и Индрек тоже не граждане России. Я уж не говорю о Джоне, которого вы хотите втянуть в эти сомнительные игры. Лучше всего быстро и тихо уйти.

– Боюсь, поздно, Игорь, – Рустам показал большим пальцем себе за спину.

Один из тех, кто был в туалете, выполз и сейчас нашептывал своему главарю, показывая пальцем на них.

– Ну вот, дождались. Мужики, это то, чего мне так не хватало. Ну-ка, я здесь видел стульчик. – Одним движением Юра сбросил с себя модное пальто, пиджак, галстук и остался в рубашке.

Так же сделали и остальные. Скины уже выстраивались в боевой порядок. Никто не вступал в переговоры – все было ясно. Несколько секунд стояла тишина, вдруг раздался дикий клич, и скины ринулись в атаку.

– А-а-а-а!!!

Бешеный крик, взмахи рук, ног. Казалось, раздавят. Однако нападать на одного из стариков спереди могли только двое. Остальные не могли окружить и ждали своей очереди. Игорь, взяв в руки свою трость, оставался на месте и удерживал рвавшуюся в бой Дилю. Скины превосходили количеством и грубой силой, но по части техники, как определил Игорь, безнадежно уступали. Старики легко уходили от ударов и сбивали с ног нападающих.

Окружавшая дерущихся толпа завсегдатаев пивнушки сначала жалась к стенкам, а потом с интересом стала всматриваться в бой. Через несколько минут стало ясно, что старики легко раскидали своих противников и одерживают победу. И вдруг раздался крик:

– Мужики, бей фашистов!

Старики, инвалиды, алкаши и даже женщины кинулись в драку: били клюшками, ставили подножки, валили с ног и не давали встать. Наконец всех скинов загнали в угол и заставили лежать. Здоровые парни вытирали не только кровавые сопли, но и слезы.

– Молчать, молчать, сопляки! – толпа стариков с ненавистью взирала на них.

– Правильно мужики проучили фашистов. Так их!

– Надо каждому рожу расквасить, чтоб помнили. Каждому показать, что такое Гитлер...

– У меня отец с фашистами воевал, а тут эти... Убивать их надо, уродов. Фа-

шисты проклятые.

Толпа начала двигаться в сторону лежащих на полу пацанов, но их остановил Игорь:

– Люди, люди, одумайтесь! Кого вы убивать собрались? Это же дети наши. Внуки. Мы все воевали за них.

Толпа сразу как-то сникла.

– И правда, сопляки же совсем. Выпороть каждого публично!

– И родителей их, что воспитали таких вот уродов.

– А что ж делать с ними?

– Ничего, по закону привлекать за хулиганские действия. Милицию вызвать надо.

– Вызвали, вызвали, – толстая официантка со шваброй в руках грозной фурии стояла над скинхедами, – сейчас приедут.

На улице раздался вой милицейской сирены.

– Так, пацаны, вот теперь, пожалуй, нам и надо тихо исчезнуть. Люди, вы нас простите, но нам надо будет уйти. Сами разберетесь?

– Идите, милые, спасибо вам. Разберемся.

– Эти часто здесь бывают. Мы их знаем. Ведут себя как хозяева жизни. А теперь будет повод протокол составить.

– Сюда идите, – толстая официантка повела их через кухню к черному выходу.

– Не обижайтесь на нас, спасибо вам, – выходя, Юра сунул официантке в карман купюры. – Это за разбитую посуду.

* * *

На бульваре сели на скамейку.

– Ну что, куда теперь?

– А пойдем в кино! Про Афган! Рекламу видели?

* * *

Начало фильма было через десять минут.

– Не успеем.

– Слушайте, ну давайте пользоваться льготами. Они еще действуют?

– Даже не знаю, да и как-то неудобно...

Юра не выдержал:

– Костя, пойдем.

Подожли к окошку кассы. Перед ними стояли молодые парни и пожилая женщина. Костя подождал, пока купила билет женщина.

– Извините, ребята, у нас вот... – Костя показал свою красную книжицу.

– Ну и что?! Чего ты мне суешь свою бумагу, алкашня? В очередь!!! Такую в каждом переходе купить можно.

– Да вы что, пацаны, это ж настоящие документы, посмотрите, – дрогнувшим голосом возразил Костя.

– Да даже если и настоящие, мне-то что?

– Ты что говоришь, парень? Ты на какой фильм пришел? Про войну? Да я же там был, ты на мою войну пришел смотреть!

– Да плевал я на то, где ты был, я тебя туда не посылал.

– Я тебя сейчас самого пошлю, гад...

Вмешалась пожилая женщина-кассир:

– Прекратите. Вы же видите, они правду говорят. Им льготы положены.

– Так билетов не останется, а мы тут уже третий час торчим, опять ждать?!

– Успокойтесь! Молодые люди, – обратилась она к Косте, – я вам билеты в ложу для гостей сейчас дам. Это специальные места. Все равно никто не будет там сидеть. Сколько вас?

В фойе вошли почти последними. Возбуждение от стычки не проходило.

– Нет, ты видел, я, говорит, плевал на тебя и твои заслуги. Я тебя воевать не посылал. Гад!!!

– Успокойся.

– Нет, ну ветеранов уважают, цветы дарят на праздники, льготы там... А мы, выходит, просто так воевали?

– А я, знаешь, что слышал от одного? Я, говорит, в Чечне воевал за Россию, а ты за кого? За страну, которой нет?

– Да брось ты, кто воевал, такого не скажет, не был он там...

– Кто знает... Кто знает...

Все уже практически вошли в зал. Они тоже хотели пройти и быстро сесть на свои места, но их остановили.

– Молодые люди, снимите верхнюю одежду.

– Да ничего, мы и так посидим.

– Нельзя. Не положено, вон гардероб.

– Отошли к гардеробу. Игорь замялся.

– Ты чего? – удивился Рустам.

– Да я, понимаешь, весь в железках. Я же не думал, что здесь раздеваться придется.

– Так и я в железках...

– И я, – Индрек подошел поближе. Может-е-т, быстр-о-о сним-е-ем?

– Да вы че? – Костя даже набычился. – Стесняетесь, что ли?

– Да нет, просто как-то... Не праздник же. И особенно после истории с билетами...

– Правильно твоя Наташка говорит. Ты только за других вступаешься. А как тебя самого касается или семьи – тут ты пас. Стеснительный! Как же, совестно за себя!

Костя сделал два нервных шага вперед и негромко, словно задыхаясь от ярости, воскликнул:

– Вы что тут все... совсем охренели в своей Москве?! Да я теперь даже и не подумаю это снимать. Вот именно теперь! Пусть видят! А тебе сам Бог велел носить это не снимая! Заслужил! Кровью своей заслужил!!

* * *

Зал постепенно затихал. Наступила темнота, зажегся экран, началось таинство кино. Зал замер в предвкушении. И вдруг раздалось тихое, серебряное позвякивание. Оно усиливалось, и люди с удивлением поворачивали головы и вглядывались в полумрак. По среднему проходу шла группа людей. Впереди, опираясь на тросточку, шел высокий седовласый мужчина в темном пиджаке с ровными рядами орденов и медалей на груди, а выше всех блестела золотая звезда Героя. У всех, кто шел за ним, на пиджаках тоже блестели ордена и медали. Их тихое позвякивание будило в душах людей странное чувство шемящего беспокойства, как бы напоминая: «Слушайте нас – помните о них!»

Группа прошла до середины зала и села в самом центре, в отдельной ложе, на лучшие места. Зал успокоился и замер. Фильм начался.



переводы

ЛУНЫ БЛИСТАНІЕ...

Переводы и комментарии

ХОРЕЗМИ (XIV – XV века)

Абдулрахим Хафиз Хорезми – узбекский поэт, живший в Хорезме. «Книга любви» была написана в 1353 году.

«Мухаббат-наме» уже была переведена на русский А. Старостиным (Хорезми. Мухаббат-наме: Книга о любви. Пер. А. Старостина. Ташкент: Гос. изд-во худ. лит. УзССР, 1962). Этот перевод при всех его достоинствах не лишен тех недостатков, которые, увы, были характерны для советской школы поэтического перевода (особенно когда дело касалось среднеазиатской поэзии). А именно – чересчур вольное обращение с текстом и сознательное, а порой и неосознанное игнорирование религиозных образов и смыслов.

Вот один из примеров: поэма Хорезми начинается строками: «Улуғ Тенгри-нинг атин йад қилдим, / Мухаббат-намэни бунйад қилдим». Что в дословном переводе звучит: «Великого Бога имя я упомянул, / Мухаббат-наме я зачин заложил».

Хорезми, таким образом, начинает свою поэму с поэтического «эквивалента» традиционной «бисмиллы» – поминания имени Бога перед началом всякого дела, считавшегося богоугодным. Такие «бисмиллы» часто писались перед поэмами (например, «Биби Марьям» Кул Сулаймона). То, что у Хорезми «Бог» передан тюркским «Тенгри» не должно вводить в заблуждение. «Улуғ Тенгри» здесь выступает точной калькой арабского «Аллаху Акбар» (так же, как в персидской поэзии – персидское «Худо»); дальнейшее описание, прославление Бога полностью соответствует кораническим преданиям.

В переводе же А. Старостина эти строки звучат так: «Я Мухаббат-наме для вас сложил, / Призвав перу на помощь бога сил».

Вместо канонического упоминания имени Бога поэт «призывает» «бога сил» – достаточно неожиданное в этом контексте «эхо» христианского «Господа сил» (*kyrios tōn dynameōn*). Этот «бог сил», вероятно, выступает здесь в виде некой музы-вдохновительницы, призываемой на помощь «перу» (так и видишь гусиное перо – а не тростниковый калам).

Сомнительно в старостинском переводе обращение к читателю: «Мухаббат-наме для вас сложил...». Такого Хорезми не мог бы написать. Подобного интимного обращения к читателям – частого в русской поэзии «золотого века» – средневековая узбекская поэзия просто не знала.

Наконец Хорезми сообщает, что он только «положил зачин» своей поэме – что важно, поскольку далее поэма как бы слагается на глазах читателя. У Старостина же автор уже «сложил» «Мухаббат-наме», выступая эдаким пушкинским Пименом, сообщающим: «Закончен труд, завешанный от Бога»...

Эти и прочие неточности заставили снова обратиться к переводу этой поэмы.

Из «Книги любви» (Мухаббат-наме)¹

С имени Творца упоминания
начну о Любви Повествование:

Он два перла миру – дух и тело – дал,
человеку Он любви светило дал,

книги судеб осветил основы Он,
мирозданье утвердил на Слове Он,

семь айванов звездного строения
в шесть Он вызолотил дней творения,

лебедя дал коршуну в питание,
в каплю заключил Луны блистание,

родинку Он на ланитах сотворил,
локон ветрениц завитый сотворил,

гиацинт на черной глине вырастил,
розу средь шипов унынья вырастил,

камень твердый диамантом сделал Он
и тростник, как мед, приятным сделал Он,

Им волнение морей разбужено,
Им на дне затеплена жемчужина,

розу для пчелы подругой Он создал,
и зефир слугою луга Он создал,

как слонов, погнал Он тучи буйные:
Он прикажет – льются воды бурные,

дал кинжал Он комару ничтожному –
Немруду², чтоб жалил мозг безбожному,

сделал вихри над крутыми безднами
Сулеймана³ скакунами резвыми,

жезл змееподобный подарил Мусе⁴,
египтян Юсуфа⁵ покорил красе,

¹ Перевод сделан по: Хорезми. Мухаббат-наме. Издание текста, транскрипция, перевод и исследование Э. Н. Наджиба. М.: Издательство восточной литературы, 1961.

² Немруд (библ. богатырь и охотник Немврод) – вавилонский царь, враг Ибрахима (Авраама) и безбожник. Когда ангел предложил ему покаяться в грехах, Немруд вызвал бога на бой. Но полчища Немруда были вновь рассеяны тучами комаров, один из которых проник через нос в мозг Немруда, отчего он в течение сорока лет терпел муки.

³ Сулейман (библ. Соломон) – великий правитель и чудотворец; мог повелевать ветрами (Коран 21:81; 38:35).

⁴ Муса (библ. Моисей) – пророк; имеется в виду чудо, которое сотворил Муса перед Фирауном (Фараоном), когда брошенный Мусою жезл превратился в змею (Коран. 26:31).

⁵ Юсуф (библ. Иосиф) – пророк; когда проданный еще ребенком в рабство в Египет Юсуф повзрослел, красота его стала сводить с ума знатных женщин города, в том числе и жену вельможи, в доме которого он жил (Коран 12: 21-31).

обручил Аюба¹ со страданием,
не обжег сына Азара² пламенем,

Им Иса сиянием увенчан был –
Им на небеса пророк восхищен был.

Мухаммад в любви пророков шахом стал,
он в любви Возлюбленным Аллаха стал,

и от Мухаммада та любовь пошла –
в ней теряю разум и горю дотла...

Смилуйся над страстотерпцем Хорезми –
в нем раздуй еще сильнее огонь любви!

Ахмад ЯССАВИ (1103–1166)

Ахмад Яссави – выдающийся узбекский суфийский поэт, основатель тариката Яссавийя.

Из «Книги истинных речений»³

Речение тридцатое

Рай с Адом пренье вели – чей главнее закон.
Молвит Ад: «Я главней, во мне сидит Фараон⁴!».

Ему отвечает Рай: «Ты как невежда речешь:
в тебе сидит Фараон – в меня Юсуф вознесен!».

Глаголет Ад: «Я главней: скупец жестокий – во мне;
скупцы пылают в огне, огнем их сонм окружен!».

Глаголет Рай: «Я главней, ибо пророки – во мне;
пророков поит Кавсар⁵ средь нежных отроков, жен!».

Глаголет Ад: «Я главней, ибо неверный – во мне;
и все неверные мной взяты в жестокий полон!».

Глаголет Рай: «Я главней, ведь правоверный – во мне;
все правоверные здесь вкушают сладость и сон!».

¹ Аюб (библ. Иов) – пророк; история его упоминается в Коране (21: 83-84; 38: 40-44) в назидание неверующим среди примеров того, что Бог, в конце концов, помогает тем, кто предан ему и полагается на него.

² Сын Азара – пророк Иброхим (библ. Авраам).

³ Перевод сделан по: Яссавий Ахмад Хожа. Девони Хикмат / Нашрга тайёрловчи Р.А. Абдушукуров; масъул мухаррир, мукаддима, изоҳ ва лугатлар муаллифи М. Ҳасаний. Тошкент: Ғ. Ғулом номидаги Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992.

⁴ Фараон (Фираун) – царь, при котором жил пророк Муса (Моисей). Фираун требовал, чтобы ему поклонялись как Богу, преследовал и притеснял верующих в Бога.

⁵ Кавсар – одна из райских рек (Коран, 108).

Глаголет Ад: «Я главней, злодей-наильник – во мне;
здесь пьют насильники яд с Заккума¹ каплющих крон!».

Глаголет Рай: «Я главней, ума светильник – во мне;
в сердцах ученых мужей – Коран, Хадисы, Закон!».

Глаголет Ад: «Я главней, ведь лицемеры – во мне;
все лицемеры пылают до скончанья времен!».

Глаголет Рай: «Я главней, ведь люди веры – во мне,
кто зикр в сердце творит в сиянье Божьих Имен!».

Глаголет Ад: «Я главней, забывший Бога – во мне;
забывших Бога язвят и аспид, и скорпион!».

глаголет Рай: «я Главней, любивший Бога – во мне,
кто зрел Любимого, имя чье Рахим и Рахмон!».

Тут Ад язык прикусил, прошение у Рая просил;
не знаю, было ли, нет... Творец лишь знает о том!

Из Речения сорок второго

Я, осушив кувшин любви – в танце кружу,
я одержимостью теперь горю, друзья!
Удачлив – нищ, сыт – голоден – сам не скажу;
Я опьянен, я *ракс-сама*² творю, друзья!

Для *ракс-сама* познавших на тленном – запрет:
ни жен, ни дома для них в мире больше нет;
всегда с молитвой слезной встречают рассвет;
верны лишь Богу, *ракс-сама* творят, друзья!

Влюбленный, танец тот познав, забыл себя;
мирского в руки не возьмет, бредет, скорбя;
хоть «Господин!» воскликнет перед ним толпа;
отринув мир, он *ракс-сама* творит, друзья!

Кто танцу, не отринув мир, был научен,
слепец, Божественных не помянет Имен;
хоть «Дервиш я!» кричит – в миру душою он;
к утехе мира *ракс-сама* творит, друзья!

...

Не всем доступен *ракс-сама*, Ходжа Ахмад!
Но подражателей пустых поглотит ад.
Я сокровенный вам поведал риваят.
Познавши Бога, *ракс-сама* творю, друзья!

¹ Заккум – адское древо, растущее из «корня геены» (Коран 37:62-65), плоды которого представляют собой головы дьяволов. Служит пищей для грешников.

² Ракс-сама – один из видов так называемого «громкого» зикра у суфиев.

Из Речения семьдесят второго

Звучат в Садах Свиданья тысячи стихов,
рыданья Соловья в туман текут.
На Площадах Познания – красота без слов,
и слезы днем и ночью в океан текут.

Кто раз услышит, как поет тот Соловей –
скалу гордыни разобьет своей.
И вкус уже забыт мирских затей –
ручьи из глаз, как двух глубоких ран, текут.

Влюбленный раб не ценит лик мирской;
мирской любви забыт язык глухой;
свиданья с Другом жаждет каждый миг с тоской;
бьет в грудь, и слезы – так любовью пьян – текут.

О горе – жизнь прошла, окончен пир;
без лошади и без осла скитаюсь, сир.
Не ведает великодушья этот мир;
влюбленных жалобы на ложь-обман текут...

Сулаймон Бакиргани (умер в 1186 г.)

По преданию, Бакиргани был наставником шейха Занги-ата, чья могила находится недалеко от Ташкента. Когда Бакиргани умер, Занги-ота женился на его вдове Анбар-биби, ставшей его верной соратницей во всех мирских и духовных делах.

Из «Изречений»¹

*

Зарю усердно зикру посвяти
И мысль о смерти в сердце утверди,
Светильником гробницы освети, –
Когда ж светильник зикра ты зажжешь?

*

Нам этот мир для созерцанья дан,
Нам Ад угрозой воздаянья дан,
Нам Рай для веры-упованья дан, –
Уверовав, не в Рай ли ты войдешь?

*

Нежданно этот мир покинешь, друг;
И смерти эликсир ты примешь, друг,
И телом, наг и сир, остынешь вдруг, –
Как, зная это, с миром ты не рвешь?

¹ Перевод сделан по: *Боқиргоний Сулаймон*. Боқиргон китоби: Шеърлар ва достон. / Нашрга тайерловчила, сўзбоши ва изох муаллифлари: И. Ҳаққул, С. Рафъиддин. Тошкент: «Ёзувчи», 1991.

* * *

Влюбленным станет любой – под сенью Древа любви,
Но лишь страданье и боль рождает чрево любви.

В ночи дорога черна; душа убога, больна –
Бросившись в море без дна, в море без берега – любви.

Решил ты жемчуг добыть – не пошади свой живот;
Не бойся уз и забот – бойся лишь гнева любви.

Страх сего века пройдет, трон миродержцев падет,
Богатство-счастье пройдет – вечно лишь небо любви.

Сущее – в нети уйдет, тайное – в свете встает,
Земная вера преидет – взойдут посевы любви.

Мирской отменяя вздор, вперяя в Истину взор,
Мольбы творить – не позор; предайся слепо любви.

Душою Бога познай, вздохами грудь наполняй.
Сулаймон-грешник чрез край полон напевом любви!

* * *

На соборище святых мужей в благословенном вретиище –
Что захочешь ты – обретешь, войдя в собрание дервишей¹.
Ведь каждый в собрание том долю обретал в благом,
Святым следуя путем, войдя в собрание дервишей.
В нем каждый нашел свой дом, наполнял сердце добром,
Братом стал, хоть чужаком вошел в собрание дервишей.
Был глупцом – стал мудрецом, был звездой – стал месяцем,
Медью был – стал золотом, войдя в собрание дервишей.
Стал к пророкам приближен, коронован их венцом,
Стал усердным их рабом, войдя в собрание дервишей.
Умались, раб Сулаймон, молитве скорбной внемлющий,
В пути утвердись святом – войди в собрание дервишей!

Перевод и комментарии Сухбата АФЛАТУНИ



Сухбат АФЛАТУНИ

Евгений Абдуллаев родился в 1971 г. в Ташкенте. В 1993 г. окончил философский факультет ТашГУ (ныне НУУз). Поэт, переводчик, драматург, прозаик, главный редактор журнала «Восток свыше».

¹ «Собрание дервишей» (*дарвешларнинг суҳбати*) – жизнь в суфийской общине. Хотя в современном узбекском языке *суҳбат* используется лишь в значении «беседа, разговор», в суфийской литературе оно имело значение и дружбы между членами братства, и в более широком смысле – жизнь в миру, в «общении», что противопоставлялось уходу от мира, жизни в постоянном уединении (*халва*).



переводы

Менглибой МУРАДОВ

МОЯ НЕДЕТСКАЯ ДУША¹

Повесть

СТРАШНЫЙ СОН

Мы с мамой, спотыкаясь, грустные возвращались домой в кромешной темноте. Мои сестры в ошхоне аккуратно разложили мокрый хворост для просушки. Растопив сандал, они сидели в тепле и при светильнике чинили старую одежду.

Кизан-янга, не принимая никаких возражений, со словами: «Возьмите своим дочерям», насильно сунула в руки матери одну пригоршню курута и касушку багурсаков. Сестры, поделив поровну меж собой, с аппетитом съели изысканные лакомства! Они даже в лице изменились после вкусной еды и забросали нас вопросами.

– Много ли было народу у дяди Хатамбая? – спросила Хаитгуль-опа. – Как был накрыт дастархан?

– Не встречал ли дядя Хатамбай на войне нашего папу?

Мы с мамой рассказали о присутствовавших гостях, я азартно описал блюда на дастархане, с волнением пересказал военные истории. Сестры удивлялись и восхищались.

...Во сне мне приснилось, что я нахожусь на войне. Вокруг большой лес, неподалеку река. Небо то покрывается тучами, то снова светит солнце. Я, как дядя Хатамбай, сильный и храбрый, перебежками пробираясь по полю боя, ишу своего отца. Вдруг вижу дядю Хатамбая, копающего для погибших соратников яму. Хотел подойти помочь ему, но тут над нами появились вражеские самолеты. Я укрылся под деревьями и из своего автомата стал стрелять по ним, два из них сбил. Вдруг из леса с шумом начали выбегать люди. Кто-то бросался в реку, кто-то бежал вдоль леса, кто-то отстреливался. А дядя Хатамбай возле тел своих друзей громко рыдал. Я опять бросился к нему на помощь и вдруг сзади услышал голос папы:

– Мен-гли-жон... сы-нок!.. Ты что здесь делаешь? Будь осторожен! Ос-та-новись... Не спе-ши-и-и!..

Обернулся и вижу папу, немного похожего на дядю Хатамбая, окровавленного, бегущего ко мне. Я узнал его с первого взгляда. И побежал навстречу.

– Папа!.. Папочка!.. Па-поч-ка мой!.. Мой папочка! Наконец я нашел вас!

Папа кинулся ко мне с распростертыми объятиями. Расстояние между нами быстро уменьшалось: вот-вот, осталось чуть-чуть, 5-6 шагов и обниму, наконец, отца, вот уже два шага... И в этот момент, именно в этот момент на папу падает бомба. Что-то ярко вспыхнуло, а потом все вокруг потемнело. Я только нашел отца и тут же его потерял:

– Папа, где вы?!.

От обиды и горечи я зарыдал. Испугавшись своего плача, проснулся, осмотрелся, оказывается, уже утро. В комнате никого нет.

Вспоминая сон, долгое время сидел в растерянности, а потом заплакал по-настоящему. Мама была в коридоре, а услышав мой плач, вбежала в комнату:

– Что с тобой, сыночек? У тебя где-то болит? Или плохой сон видел?

Рассказывать сон маме не было сил. Было обидно, что не запомнил лицо отца. Я снова зарыдал. Мама тихо подошла ко мне, прижала к себе, целуя глаза, лицо, глядя по голове:

– Не плачь, сынок...

¹ Продолжение. Начало в № 2, № 3 за 2016 год.

ГОРЕЧЬ ОБИДНОГО СЛОВА

Уже два дня светит солнце, стало немного теплее, но зима есть зима и от холода дубеет кожа. Поэтому собравшиеся идти за дровами мои сестры оделись очень тепло. А мы с мамой тоже приступили к своим делам.

Вчера старший сын Ахмада-бобо дядя Хатам занес нам пять касушек муки. Мама, оставив одну касушку про запас, четыре использовала на тесто. А я очищал двор от остатков льда и снега. По маминым словам через три дня наступит новый год, и нужно пригласить в гости дядю Хатамбаю. Уже с сегодняшнего дня мы начали подготовку к этому мероприятию.

– Из этого теста можно испечь 7-8 лепешек, два патира и еще на багурсаки останется, – сказала мама, поднимаясь с постели. Крепко обвязав поясом черный в заплатках чапан старым платком, мама, преодолевая боль, вышла работать.

Мы давно не принимали гостей, казалось, будто вместе с дядей Хатамбаем придет и наш папа. Я с огромной радостью выполнял все поручения мамы и сам находил себе работу: перевязал проволокой растрепанный веник, выбросил в большую яму в конце улицы весь обледеневший мусор, вместо подушки прибил к разбитому окну фанеру, служившую раньше крышкой для ведра, чему мама была безмерно рада.

Мама, желая достойно встретить гостя, казалось, совсем забыла про свою болезнь: вечерами латала дыры в кошке¹ и алаче², штопала рванные курпачи. А я ходил по двору в поисках новой работы. И тут увидел входящего к нам Журакула, младшего брата дяди Хатама.

Увидев друг друга, мы разулыбались и горячо обнялись. Мы с ним, как родные братья, вместе от рождения – спали на одной курпаче, укрывались одним одеялом. Журакул мягкий, смиренный, неразговорчивый, а я его противоположность: шустрый, упрямый и болтливый.

Вышедшая из дома мама, увидев Журакула, обняла, поцеловала его и позвала нас обедать.

Только начали кушать, как с улицы послышался голос сердитого бригадира:

– Хадича! Ты дома?

Мы увидели в окне его вытаращенные глаза и злобное лицо.

– Где твои дочки? Почему сегодня не вышли на работу? Что вы за люди? Уже обед! Если жалеешь своих детей, сама выходи, а не валяйся дома! Я за вас должен работать? Вы же кушаете хлеб? – набросился на маму бригадир.

Мама, стараясь не реагировать на его выкрики, поздоровалась.

– Извините, бригадир-бобо, дома не осталось дров, поэтому они...

Не дав маме закончить, бригадир злобно заматерился:

– Э... вашу мать!..

Его голос был, кажется, слышен во всей округе, даже стекла на окнах дрогнули. Непосчастная мама заплакала. Сердце мое екнуло от жалости. Не сдержавшись, я схватил лежащие у дверей шипцы для углей и, выбежав на улицу, держа шипцы как саблю, крикнул:

– Эй, ты!.. Ты что, нас решил оскорбить? – я хотел напасть на него, но Журакул помешал мне. Но я все-таки с силой бросил шипцы в бригадира, стоящего посреди нашего двора и сплевывающего насвай. Шипцы пролетели рядом с его головой. Он глянул на меня со злобной ухмылкой:

– Еще ты, сопляк-сирота, на меня рот открываешь! Чем со мной тягаться, лучше нос свой вытри. Молокосос!..

У меня сердце готово было разорваться от обиды. Оттолкнув Журакула, я крикнул:

– Что ты сказал? Ты сказал сирота?! Кто сирота?!.

Мама стала успокаивать меня:

– Не надо, сынок! Не будь с плохими плохим. Он сказал это в гневе. Ты еще молод. Если ему Бог не судья, то что с него возьмешь. Ты не сирота!.. Он еще пожалеет об этих словах, когда вернется твой отец. Не ссорься с бригадиром.

Слово «сирота» разорвало мое сердце на куски. Мне казалось, что бригадир оскорбил моего отца, пролившего кровь на войне, растоптал дорогую и беспомощную маму.

– Эй, подлец, возьми свои слова обратно!.. Я не сирота!.. Отец у меня жив!.. Он обязательно вернется с войны и всем вам еще покажет! – громко плача кричал я вслед бригадиру.

¹ Кошма – войлочный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти.

² Алача – шелковая или полушелковая полосатая ткань.

В ястребиных глазах злого бригадира вспыхнула холодная ярость. Он выхватил из голенища кирзового сапога плетку и, играя ею в воздухе, погнался за мной. Мама, подобно наседке, прячущей под крылом своего птенца, укрыла меня чапаном. Потом, посмотрев на сердитого бригадира, от вида которого испугается и лошадь, взмолилась:

– Миленький бригадир-бобо!.. Сорвите вашу злость на мне. Это еще маленький, глупый ребенок! Дитя еще, поэтому так сорвался. Он очень вспыльчив. Бог даст, отец его еще вернется. Вы же взрослый, разумный человек, не равняйтесь на ребенка. Простите моего сына. Если хотите, ударьте меня! Но не трогайте сына!

Бригадир два-три раза хлестнул маму по спине.

– Ух... негодник!.. – только успела сказать мама, присев от боли.

Я совсем рассердился. Мало оскорблений, он еще ударил маму плеткой. Я рванулся вперед, но собачий выкормыш, изверг успел вскочить на коня. Вымешая свою злость на нем, он несколько раз сильно ударил его. Не выдержавший этого, беденький конь в мгновение скрылся из виду.

ПЛАЧ ПТЕНЦА

Я добежал до ворот. За мной выбежал и Журакул, мы начали бросать камни вслед удаляющемуся бригадиру. В это время, обливаясь потом, подошли и мои сестры. Я успел сказать Журакулу: «Не говори сестрам о случившемся». Думаю, поэтому Журакул после приветствия сразу отошел в сторону.

Войдя во двор, мы увидели, что беденькая мама сидит на пороге ошхоны, поглаживая места ударов. Увидев дочек, она приободрилась.

– Что случилось с вами, мама? Нездоровится опять? Или опять этот бригадир обидел вас? – сбросив с себя дрова, спросила Хадича-опа.

– Хотела попросить освободить от работы одну из вас, – почему-то мама не захотела рассказывать всю правду. – Чтоб ему пусто было, с левой ноги сегодня встал, что ли, даже слушать меня не захотел. Раскричался, чтоб земля его проглотила.

– Не переживайте, мама. Не обращайтесь внимания на его слова. В эти дни у него что-то дела не ладятся, от председателя каждый день получает выговоры, ругают его постоянно. Словом, ходит сам не свой. Здоровых мужчин для полевых работ нет и в помине, одни слабые женщины. Да и у тех дома дети, хозяйство, – сказала Хайтгуль-опа, вытирая рукавом чапана потный лоб. – Если нужно освобождение от работ, то мы можем и сами отпроситься. Не надо к нему обращаться. Сейчас ему не люди, а работа нужна.

– Хайтгуль, посмотри на тесто, если поднялось, то давай печь, – сказала Хадича-опа, раскладывая дрова на солнце.

– Нет, нет!.. – запротестовала мама, вставая с места. Не думайте о тесте. Я сама справлюсь. Вот видите, у меня не один, а сразу два помощника, – указала она на нас. – Чай готов. Быстренько пообедайте и идите в поле. С домашней работой сами как-нибудь справимся, доченьки.

Разломав поровну лепешку, бросив на плечи большой кетмень, по дороге жуя черствый хлеб, сестры направились на работу.

Однажды после занятий в ожидании своих сестер я играл с ребятами в ахрички¹. Вдруг подошел задиристый высокий парень и, забрав ахрички, отбежал в сторону. Я кинулся за ним, крича, чтоб он вернул мне их.

– Так это твои ахрички, сиротинушка? – усмехнулся он и бросил кости в сторону.

Я тогда не понял смысла его слов, но позже, узнав от Хайтгуль-опы, что это значит, снова испытал боль и страдание, и я страстно стал молить Бога о скорейшем возвращении отца.

ЧУДЕСНАЯ НАХОДКА

Пришло время обеда. Мама разделила одну полусухую лепешку на троих, разлила уже остывший чай по пиалушкам. Съев свою долю, мы с Журакулом посмотрели на маму. А мама, отломив немного для себя, снова разделила свою часть надвое и положила кусочки перед нами.

¹ Ахрички – кости.

Умный парень этот Журакул! Хоть и не был еще сыт, но сказал моей маме:

– Тетя, я сыт. Поешьте сами.

На что мама возразила:

– Не обманывайте, по глазам вижу! Берите, дети, ешьте. На меня не смотрите. Если вы сыты, то и я не буду испытывать голода.

Потом я похвастался, что самостоятельно изучаю азбуку. Но Журакул тоже не из простаков. Не поверил и попросил показать тетрадь с записями букв.

Чтоб доказать ему, что знаю буквы, я бросил все дела и начал их искать.

– Может, их и нет вовсе? – видя мои безрезультатные поиски, кинул Журакул.

– Помогите мне лучше, – сказал я, передавая книги из шкафа в его руки.

Он начал их просматривать, аккуратно убирая в сторону. Когда книг осталось совсем мало, одна из них упала на пол и раскрылась. В ней оказалась стопка денег! Журакул обомлел. Я начал собирать деньги в кучу.

– Ие, Менглибай, братишка, какие вы, оказывается, богатые, – жадно считая деньги, удивился Журакул.

Изумляясь находке, я крикнул во всю мощь:

– М-а-м-а! Ма-моч-ка! Быстрее идите домой!.. Смотрите, что мы нашли!

Мама запыхавшись вбежала в дом. Взгляд ее упал на кучу денег, лежащих перед Журакулом.

– А-а-а. Это что? Деньги? Уж не сон ли это, сынок?

Невозможно было понять, радуется мама или удивляется. Она, как только начавший ходить ребенок с поднятыми руками, чтобы не упасть, медленно пошла по комнате и присела, прислонившись к сандалу.

По поведению мамы, я понял, что она понятия не имела о деньгах. Я начал тараторить:

– Мама!.. Мамочка!.. Эти деньги нашел я! Сами, пожалуйста, посмотрите, сколько же их! Мы не смогли их посчитать!

– Где нашел? – тревожно спросила мама.

– Здесь же, вот в этой похожей на книгу коробочке. Наверное, папа положил сюда деньги!

– Кто же, сынок, если не папа. Твой папа был очень припасливым, умным и основательным человеком. Собирал эти деньги для того, чтоб в трудные дни его дети смогли воспользоваться ими, – заплакала мама. – Слава Аллаху, теперь, похоже, будем сыты и обуты. Бог услышал наши молитвы. Бог даст, теперь можно и дойную корову купить.

От таких разговоров мамы и мудрости моего папы настроение у меня подскочило. Хоть и не видел я никогда его, но был горд, что у меня такой заботливый и умный папа. Из глаз потекли слезы умиления и любви.

Мама собрала все деньги в коробочку и какое-то время сидела молча, глядя в одну точку. Мы умолкли, чтоб не мешать маминим размышлениям. Чуть погодя она посмотрела на меня и улыбнулась. Потом поспешно поднялась с места, убрала с большого сундука курпачи и одеяла и, открыв крышку, положила в него коробочку с деньгами.

Вдруг насторожилась и вскрикнула:

– Ой, я же про тандыр забыла. Приберите здесь.

Когда мы ставили книги на место, неожиданно сам Журакул нашел мои тетради. Просмотрев все страницы, недоверчиво спросил у меня:

– Это ты сам писал?

– А то кто же, – ответил я заносчиво.

– Ну-ка прочитай вот это.

– Му-ра-дов Ах-мад, Са-фа-ро-ва Зай-наб.

– Хватит, хватит. Поверил. Хоть и не ходишь в школу, но грамотный. Удивительно.

– А ты что думал, я ведь все-таки сын учителя! Разве может сын учителя быть безграмотным.

Журакул улыбнулся, и мы вышли во двор.

СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

Журакул вчера пригласил меня к себе домой погостить. Вот мы наигрались у него дома! Так устали, что ночью спали как убитые. Утром я хотел возвратиться домой, но внезапно сильно похолодало, поднялся ветер.

Журакул живет в кишлаке Шуртепа в двух километрах от нас. Дядя решил со мной отправить и Журакула, все-таки вдвоем безопасней.

Вышли вечером, когда погода улеглась, незаметно дошли до нашего дома. В нос ударил горький дым и запах жаренного мяса.

Пошли прямо в ошхону, там мама рубила топориком мелкие дрова и подбрасывала их в учак. Увидев нас, обрадовалась:

– Как дошли? Не устали? Мне как раз нужна ваша помощь. Один пусть приготовит кувшин и тазик для мытья рук, а другой поможет сестрам накрывать на дастархан.

Журакул пошел готовить рукомойник, а я зашел домой и увидел расстеленный дастархан. Увидел и обомлел! Не поверил своим глазам! Никогда не мог подумать, что и у нас стол может быть уставлен яствами.

«Ох, если бы наш дастархан был накрыт так всегда!..» – подумал я не находя от радости себе места. Как хорошо! Если бы папа не спрятал для нас деньги, разве мы могли бы так накрыть дастархан?!

Потом Хайтгуль-опа внесла в комнату светильник, как в доме у дяди Хатамбая, зажгла его, и темная комната вдруг озарилась ярким-ярким светом. Огонь от радости в моем сердце горел намного ярче нашего нового светильника.

Постепенно начали сходить гости. Первыми пришли дядя Хатамбай и Кизан-янга. За ними Казимбек-бобо и Фазилбек-бобо со своими супругами. Мама, я и Журакул развлекали сидящих гостей разговорами, а сестры подносили чай. После чая гостям подали наваристую мясную шурпу.

Увидев такое изобилие, гости изумились. Кизан-янга не выдержала:

– Вы клад нашли? Пусть ваш дастархан будет богат как сегодня, но откуда все это? Это сон или явь?

Мама опешила и, подумав, ответила:

– Если искренне плакать, то и слепец прозреет, невестка! Если Бог захочет дать, когда-нибудь все равно получишь. Вчера вот эти два малыша в поисках своих тетрадей случайно обнаружили в папиной коробочке деньги. Отец моих детей всегда был человеком предусмотрительным, практичным. На эти деньги мы и накрыли стол.

– Это правда? Вот молодец!.. – не скрывал удивления дядя Хатамбай, от души улыбаясь.

– Наш Ахмаджон всегда был таким. Он всегда бережно относился к деньгам. Умный и практичный был парень. Вот и в этом случае он поступил так же, – сказал дедушка Фазилбек.

– Это большое достоинство, – добавил Казимбек-бобо. – Если бы все такими были.

– Что и говорить, – прослезилась мама. – Теперь хотим дойную корову купить, детей одеть. Деньги на многое нужны, но мы хотим их использовать на самое главное.

– Жизнь любит расчет. Когда экономишь, всегда будешь сыт, а когда все сразу съешь, что потом кушать? – сказал Казимбек-бобо.

– Думающий не прогадает, а торопящийся проиграет, – сказала Кизан-янга. – Умный всегда правильно распорядится богатством.

Гости, прочитав молитву, начали подниматься с мест. Петухи возвестили, что наступает утро.

– Человека не еда кормит, а вера, – прощаясь, сказал дядя Хатамбай.

– Вы правы, – сказала мама, приставив руку к груди.

ПЛАНЫ

С возвращением дяди Хатамбая мы с Сайфиддином потеряли покой. Несколько раз в день выходил я на дорогу, чтоб первым встретить отца. Вдруг я тут дома, а он уже идет по дороге.

Почему солдаты после войны сразу же не возвращаются домой? Что они там, на чужбине, делают? Или еще где-то идет война?

Удивляюсь!.. Разве они не скучают по детям, по дому, по родным местам? Если мама какое-то время не увидит нас, сразу начинает искать. Или папа забыл дорогу домой? Или лечится от ран?

Ну, хоть строчку написал бы... Мы бы так не беспокоились.

Вот и у моего друга Сайфиiddина душа болит за папу. Сегодня он пришел ко мне в гости. Мама с сестрами были в поле. Я за сандалом выполнял задание, которое мне дала Хайтгуль-опа.

Сайфиiddин удивился, увидев мои успехи в написании букв. Попросив у меня листок и ручку, тоже начал выводить буквы. Сначала он написал букву «О», буква «А» у него уже не получилась, потом печально посмотрел на меня и начал рассказывать сон, который видел сегодня ночью:

– В поисках отца я попал в какой-то дремучий лес, где водятся большие змеи, медведи и какие-то страшные звери. Они меня не видят, но я их хорошо вижу. Хоть и страшно мне, я иду, потому что знаю, что где-то рядом мой отец. Вдруг я увидел дядю Хатамбая и спросил: «Вы моего отца не видели?» «Твой отец только что был здесь», – отвечает он и бежит вслед за солдатами.

Змеи шипят, медведи рычат, солдаты кричат «Урра!» и куда-то бегут. Я взобрался на самую верхушку дерева и слышу, как дядя Хатамбай кричит во все горло: «Эй, Халим-ака, вернитесь, вас сын ищет!» Какой-то солдат с оружием в руках и головой в крови оборачивается. «Где он, Хатамбай?» Дядя Хатамбай показывает рукой и говорит: «Вон же, на верхушке дерева сидит». А отец, увидев меня, бежит ко мне и кричит: «Сынок!.. Сыночек!..» Я, скатившись с ветки, бегу навстречу отцу с распростертыми объятиями: «Папа! Папочка! Я здесь!» – кричу, как сумасшедший. Мы бежим друг к другу навстречу, вдруг папу окружили огромные-преогромные змеи, голодные медведи, и он... исчез. Чувствуя, что теряю отца, я во всю мочь кричу: «Папа! Папочка!» И просыпаюсь от своего же голоса. Друг, я до сих пор не могу прийти в себя от этого сна, – сказал Сайфиiddин. – Хоть бы раз во сне обнять его, так не мучился бы. К чему этот сон?

Он был очень расстроен, на него больно было смотреть: глаза красные, опухшие. Я тоже рассказал ему свой сон. Сайфиiddин заплакал. Мы хорошо понимали друг друга – оба очень соскучились по отцам.

– Как ты думаешь, наши папы скоро вернуться? – спросил Сайфиiddин, вытирая слезы рукавом чапана.

– Не знаю, взрослые говорят, что вернутся. Было бы хорошо, если бы поскорее.

– Надо точно узнать.

– А как мы узнаем?

– В кишлаке Шуркуль есть хорошая старуха-гадалка. Она даже змею под землей чувствует.

– Не может быть!

– Верь мне. Она знает все, я слышал от шестиклассника Акбара. Он очень сильный и бесстрашный мальчик. Его отец инвалид войны. Чинит и шьет обувь. Один человек из Шуркуля рассказал Акбару и его отцу, как эта гадалка угадала даже день возвращения солдата Норбая.

Услышав это, я удивился:

– Это точно? – спросил я, уже веря этой гадалке. – Так это же здорово! Но...

– Не веришь – как хочешь! Но я хотел бы сходить к ней и спросить про наших отцов. Что с нас будет? Сходим, спросим гадалку и будем готовиться, а папы наши, соседи и родственники удивятся нашей прозорливости. Что скажешь?

– Хорошо, конечно, если старуха-гадалка скажет, что отец, как и Норбай-ака вернется в такой-то день, а если сообщит плохое известие? Что тогда?

– Ну зачем думать о плохом?.. Ведь у столько ребят родители возвращаются!

– Лишь бы пророчество у этой гадалки было хорошее, дружище, – сказал я, как бы уже соглашаясь.

- Вот это другое дело. Пойдем!
- Пойти-то пойдем, а как дом ее найдем?
- Это ты предоставь мне.
- Тогда можно считать, что дело решено. Как думаешь, Сайфиддин, можно об этом рассказать домашним?
- Ты что! Разве в такой холод они отпустят нас так далеко? Не волнуйся, если завтра рано утром выйдем, то к вечеру будем уже дома. Или ты не любишь своего отца?
- Ты что! Ты даже представить себе не можешь, как я его люблю!
- Сайфиддин положил мне на плечо свою руку и посмотрел в глаза.
- Тогда давай руку! У настоящего парня один разговор. Идем – так идем. Кто ищет, тот всегда найдет.
- Хорошо, – сказал я, сжимая его руку.

БЕДА

Сайфиддин сдержал свое слово. Мы только позавтракали, как он пришел ко мне с Акбар-акой. Сестры начали собираться в поле. А маме опять нездоровилось, надев старый папин халат и согревая живот теплым чайником, она сидела у сандала и шила мне новую рубашку. Увидев в окне Сайфи и Акбар-аку, я незаметно для мамы вышел из дома.

Мы вышли на дорогу. Из-за туч тускло светило солнце, поэтому было не так холодно. На всякий случай мы оделись потеплее.

– Хорошее дело вы задумали, – сказал Акбар-ака, когда мы вышли на большую дорогу. Если не сын, то кто же будет интересоваться жизнью отца? Знайте, отец в семье занимает особое место. Вот мой отец, хоть и вернулся с войны без ноги, но семью кормит, чинит людям ботинки, сапоги, калоши. Что скрывать, пока не было отца, дома не было ни хлеба, ни ложки отрубей. Тысяча благодарностей Аллаху, сейчас вдоволь и хлеба, и пшеницы. После возвращения отца мы даже позволяем себе сахар, нават, парварду, патир, катламу, даже суп с мясом. Благодаря отцу хорошо одеты. Главное, семья в полном составе. Папа и мама рядом.

Я с завистью слушал Акбар-аку. «Вот бы и мой папа скорее вернулся, и мы зажили бы счастливо», – думал я. Появилась надежда. Душа трепетала от хороших предчувствий. Мне казалось, что мы уже дошли до гадалки, и она сказала про отца радостную весть.

Акбар-ака между тем продолжал:

– Эй, мои дорогие братишки!.. Знаете ли вы, что слова отца – это алмаз! Пусть инвалид, но он рядом. С возвращением отца даже этот злой бригадир с нами хорошо обращается. Теперь он к нам не заваливается с руганью. А вначале поздоровается по-человечески, а потом попрошается. Мама захочет – выйдет в поле, не захочет – дома сидит. Больше дома сидит: шьет, кушать готовит.

– Да... – удивился я, вспомнив случай с этим извергом. – К нам он только матерясь заходит.

– Отец вернется, увидишь, он к вам, как кошка, ласково будет входить и уходить.

– Хорошо бы...

– Да. Бригадир жестокий, тупой и наглый человек. Вот вернется папа, обязательно про него все расскажу, – сказал Сайфиддин.

– Когда вернутся ваши отцы, увидите, все изменится. Сам бригадир не заметит, как изменит к вам свое отношение.

Так в разговорах не заметили, как наступил полдень, и мы подошли к кишлаку Тукизтепа.

– Еще далеко? – спросил Сайфиддин, поправляя шапку. – Не заблудиться бы.

Акбар-ака остановился, посмотрел на протекающий арык, на степь, на дома, стоявшие неподалеку, улыбнулся и сказал:

– Ровно год назад я здесь был с мамой. Дошли до Шуркуля. Не волнуйтесь, все верно. Или вы уже устали? Мы только на полпути. Чтоб вовремя вернуться домой, надо идти быстрее.

Мы снова тронулись в путь. Погода начала портиться. Поднялся холодный ветер, небо заволокло темными тучами. Опустив уши шапки, хорошо заправив чапан, а

руки спрятав в рукава, мы шагали по узкой дороге. Пройдя немного, Акбар-ака, порывшись в карманах, предложил:

– Что скажете, ребята, если немного перекусим?

Этот вопрос мы с Сайфиддином вчера не обсуждали и стояли молча глядя друг на друга.

– Не переживайте, – сказал Акбар-ака, улыбаясь, – я взял с собой.

Он вытащил из кармана шесть курутов, несколько кусков хлеба и поровну на всех разделил. Мы были голодны и, не останавливаясь, аппетитно поели.

Начавшийся дождь постепенно перешел в снег. Одежда потяжелела, мы двигались с трудом, уже не встречались ни попутчики, ни встречные люди, только где-то далеко было слышно блеяние овец, лай собак и рев ишаков.

Вдоль дороги не было ни деревьев, ни кустов, ни домов. Каждый шел, думая о своем, на разговоры не было сил. Не знаю, как другие, но я переживал о том, что ушел, не предупредив больную маму. Но о возвращении не могло быть и речи.

Только к вечеру в снегу, уставшие, выбившиеся из сил, дошли мы до какого-то кишлака и остановились у одинокого домика.

Немного погодя из дома вышла девочка лет десяти-одиннадцати в зеленом платке и большом черном чапане. Увидев нас, очень удивилась.

– Бабушка-гадалка в этом кишлаке живет? – спросил Акбар-ака мягким голосом.

Не отрывая от нас глаз, девочка отрицательно помотала головой:

– Нет, а что?

– У нас было дело к ней, если знаешь, скажи, где она живет.

– Не знаю я.

– А кто-нибудь знает?

Девочка, сказав «Сейчас», зашла в дом. Через минуту вышла высокая женщина в красном чапане. Она сильно кашляла.

– Кто вам нужен?

– Мы ищем бабушку-гадалку.

Женщина, видя, как мы замерзли, пригласила нас в дом:

– Зайдите в дом, согрейтесь немного, – сказала она заботливо, как моя мама.

– Мы бы зашли, тетя, но очень торопимся, – ответил ей Акбар-ака, – покажите нам, пожалуйста, дом бабушки-гадалки.

– Уже темно. Да к тому же дом гадалки в следующем кишлаке. Видно, очень хотите к ней попасть. До нее не близко. Пройдете вот этот лесок, за ним кишлак бабушки-гадалки. Но будьте осторожны. В том кишлаке много скота, поэтому много больших собак. Были бы дома сын или муж, они бы проводили вас... Айнур, дай этим настырным ребятам две-три большие палки. Они им пригодятся.

Женщина зашла домой. Айнур принесла нам три разные по длине палки. Поблагодарив ее, мы продолжили свой путь.

Сквозь снегопад, ледяной ветер, по незнакомой дороге, ни на минуту не останавливаясь, мы шли вперед. И все это ради того, чтоб услышать хоть какую-нибудь весточку о возвращении наших отцов.

Иногда Акбар-ака подбадривал нас:

– Не расслабляться, богатыри! Еще немного осталось.

Приблизившись к кишлаку гадалки, мы услышали голоса людей и лай собак. Насторожились. Мерцали огни окон, чувствовался запах прокаливаемого масла.

– Богатыри, – обратился к нам Акбар-ака, передавая нам куруты, – пожуйте, это придаст вам силы.

Пройдя десять-пятнадцать метров, наткнулись на большую речку, шириной около 4-5 метров, вместо моста через нее были проложены два тонких бревна. Чтобы проверить глубину, Акбар-ака сунул в речку свою полуметровую палку. Палка дна не достала. Акбар-ака попытался пройти по мостику, но, поскользнувшись, чуть не упал в реку.

– Сделаем так, – сказал он, расхрабрившись, – вы ждите меня здесь, а я, сев на эту жердь, как на ишака, осторожно переберусь на другую сторону, позову двух-трех

взрослых людей и заберу вас отсюда. Поняли? Только не бойтесь!.. Кто ищет своего отца, должен быть смелым и храбрым! Правильно?

– Правильно, правильно, – ответили мы.

Холод пронизывал до костей, зуб на зуб не попадал.

– Я полегче, давайте я перейду, – сказал я, желая показать Акбар-аке и Сайфиддину, что ради отца готов отдать даже свою жизнь.

– Что ты говоришь? – сказал Акбар-ака. – Когда я здесь, вам лучше не лезть. Не спеши, посторонись. Проводник здесь кто, я или вы? Не дай бог, если ты утонешь, что я скажу твоим родителям, кем я буду перед ними?! В таких случаях нужно делать то, что говорит старший. Я же старше вас на 5-6 лет!

Со словами «Бисмилло...» Акбар-ака взобрался на мост и, прижавшись всем телом к бревну, стал медленно продвигаться вперед. Затаив дыхание, мы с Сайфиддином следили за его движениями.

Неожиданно откуда-то прибежала собака размером с барана, встала перед Акбар-аккой, который уже дополз до середины моста, и громко залаяла. От неожиданности Акбар-ака вздрогнул и с возгласом «Вах!» упал в воду.

Не зная, что делать, как помочь нашему проводнику, уставившись на сильное течение, мы громко заплакали. В темноте ничего не было видно.

Хорошо, что Акбар-ака ловко повис на втором бревне, послышался его голос:

– Эй, ребята, не бойтесь!

Он трепыхался, шлепал по воде, пытался выправить свое положение. В такт плеску воды трепыхались наши маленькие сердечки. Я от испуга не мог удержать свои слезы. Приставив рупором ладони, я крикнул людям на том берегу:

– Помогите!

Вторя моему крику, начала лаять большая собака. Сайфиддин тоже стал звать на помощь. Наконец наши звонкие голоса были услышаны, и люди поспешили на помощь.

Один из них спросил:

– Эй, дети, что вы кричите посреди ночи в такой мороз? Собаки испугались или не можете речку перейти?

– На-аш бра-ат упа-ал в во-оду! – крикнул я, в темноте указывая в сторону Акбар-аки, который из последних сил висел на тонком бревне.

У него зуб на зуб не попадал, тело дрожало.

– Ах вот в чем дело! Почему сразу не сказали? Что же в такой лютый мороз в крошечной тьме не сидится вам в своих теплых домах?

Пришедшие на помощь, ворча вытащили Акбар-аку из реки.

– Похоже, эти ребята из другого кишлака, если бы были местными, то пошли бы по новой дороге к новому мосту.

Мы, всхлипывая, продолжали плакать.

– Не бойтесь, – сказал один из пришедших на помощь людей, – идите вниз по дороге, там есть новый мост.

Не успели мы пройти метров 20-25, вытереть свои слезы, как увидели перед собой новый мост и без каких-либо затруднений перешли через реку.

– Откуда вы? – спросил ведущий нас к своему дому парень.

Его звали Усманом. Я рассказал, откуда мы и зачем сюда пришли.

– На кого хотите погадать? – спросил Усман-ака, ускорив шаг.

– На п-а-п-у, – с трудом выговорил я, запинаясь.

– Эти ребята очень замерзли. Надо им быстрее в тепло, – сказал рядом идущий взрослый мужчина.

– Да, интересно, – сказал Усман-ака, глубоко вздохнув, – хоть ради этих детей пожила бы бабушка-гадалка еще два дня.

– А что случилось с бабушкой? – спросил я.

Усман-ака посмотрел на меня печально и ответил:

– Померла она.

– А что это означает? – спросил я, не понимая смысла сказанного.

– Несколько часов назад она отдала богу душу... – и опять тихо добавил: – Умерла она.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Вы не узнаете, что такое доброта, пока вас не согреют своей доброй душой настоящие добрые люди. Я сегодня в этом убедился.

Усман-ака привел нас в свой дом, из дальней комнаты послышался чей-то кашель. «Наверное, это Акбар-ака», – подумал я, остановившись.

Усман-ака пошел в сторону ошхоны, где из дымохода шел дым.

Я тихо сказал на ухо Сайфиддину:

– Акбар-ака, кажется, здесь.

– Состояние у него, похоже, тяжелое...

– Разве легко остаться в живых, находясь так долго в ледяной воде? – сказал Усман-ака, передавая мне кувшин с водой. – Лишь бы легкие не застудил. В противном случае...

– А что будет? – спросил я, не скрывая страха.

– В противном случае придется очень долго лечиться, – ответил Усман-ака и веником смел снег с голениш сапог.

Мне аж плохо стало. Стесняясь, вошли в дом. Яркий свет светильника, подвешенного к потолку, ослепил глаза.

Акбар-ака лежал ничком на нескольких курпачах рядом с хорошо протопленной печкой почему-то наполовину раздетый. Рядом женщина средних лет (наверное, мама Усман-аки) втирала в плечи нашего проводника какое-то целебное масло.

Свои мокрые сапоги и чапаны мы повесили рядом с одеждой Усман-аки. После того как мы удобно расселись, хозяин представил нас маме.

Из разговора с хозяевами мы поняли, что Акбар-аку вытащил из воды Зариф-ака, дядя Усман-аки. Они переодели его в сухое, а Салтанат-опа теплым курдючным жиром начала растирать спину Акбар-аке, прикладывая к стопам горячий камень, завернутый в ткань.

– Если мальчик хорошо вспотеет, придет в себя, – сказала она, вытирая пот. – Вас тоже натереть жиром и завернуть в одеяло?

– Им животы нужно натереть, – с улыбкой сказал Усман-ака.

– Тогда им легче, – сказала Салтанат-опа усмехаясь. – Усманжон, постели дастархан. Я сейчас принесу горячую шурпу.

Усман-ака постелил скатерть, положил две лепешки, несколько кусков сахара и заварил чай, Салтанат-опа принесла две касы вкусной мясной шурпы. Усман-ака приготовил нам две постели.

– Вы ложитесь спать. Мы приглядим за Акбаром, когда проснется, дадим ему шурпы. Немного пошептавшись друг с другом, мы крепко уснули.

Проснувшись утром, сразу провели Акбар-аку. Состояние его было намного лучше.

– Как вы? – спросил он, кашляя. – Все нормально у вас?

– А как вы? Вы-то как? – обрадовались мы, услышав его голос.

– Ну и напугали вы нас! – сказал Сайфиддин. – У вас все нормально?

Акбар-ака улыбнулся:

– Спасибо этим добрым людям. Если б не они, не знаю, где бы мы сейчас были! Дай Бог здоровья и процветания Салтанат-опе.

В комнату вошел Зариф-ака.

– Ну как поспали, ребята? Как себя чувствуете? Может, останетесь еще на два-три дня или...

– Если вы разрешите, мы домой пойдем, – сказал Акбар-ака, от имени всех поблагодарив хозяев. – Мы не предупредили родителей, что идем так далеко. Не знали, что так случится. Просим простить нас за беспокойство.

– Не переживайте, в этом мире человек человеку всегда нужен, – сказал Зариф-ака улыбаясь.

– Мы сейчас найдем где-нибудь в кишлаке арбу, – предложил я.

– Это хорошая мысль. А может, я вас отвезу? – предложил Усман-ака, расстелив перед нами дастархан.

Мы вышли помыть руки, в это время я услышал крики и плач: «Ба-буш-ка!»

– Смерть никого не шадит, – сказала Салтанат-апа, заноса в дом две касы молока. – Идемте, будем молоко пить. Мы позавтракали и отправились в путь-дорогу.

– Родители – наше богатство, а дети – величие, – сказал Зариф-ака, когда мы взбились на арбу. Дай бог, чтоб ваши отцы живыми вернулись с войны. Пусть сбудутся ваши мечты. Счастливого пути!

Сидя на арбе Усман-аки, похожей на открытую спичечную коробку, мы тронулись в обратный путь. «Ба-буш-ка!» – были слышны голоса плачущих людей. И сердце от этих криков замирало.

И РАДОСТЬ, И СОЖАЛЕНИЕ...

Когда мы повернули к нашей улице, я заметил что-то странное. Кто играл в снежки, кто носил воду из речки, но увидев нас, все застыли: «Э, да вы посмотрите, потерявшиеся дети на арбе катят». Некоторые бежали за нами. Смелчаки бросали в нас снежки. Кто-то кричал: «Остановитесь. Возьмите и нас!»

Наша арба остановилась у дома Акбар-аки. Лошадь ударяла хвостом по бокам, фыркала, опустив голову. Пока мы выгружались из арбы, собралась большая толпа соседей, знакомых и детей. Усман-ака тоже сошел с арбы. Поглаживая гриву коня, он смотрел на шумных, озорных ребят. Акбар-ака, стряхивая с тулупа снег, тихо кашляя, медленно спустился на землю. Дети быстро разнесли весть о нашем возвращении.

– Эй, глупенькие, где вы шляетесь, как бродячие собаки, в такой мороз? – запыхавшись, бежали к нам наши матери.

Усман-ака, стоящий рядом с конем, с интересом наблюдал за происходящим.

Назокат-опа, мать Акбар-аки, неуклюже подошла к своему сыну и, вытаращив глаза, отвесила ему звонкую пощечину. В это время Акбар-ака сильно закашлялся. Назокат-опа испугалась и, часто моргая, заплакала, прижав к себе сына. Ее сверкающие глаза в толпе нашли нас с Сайфиддином, встретившись взглядами, мы опустили головы, стараясь за кем-то спрятаться.

– Сыночек, что случилось? Почему так сильно кашляешь? Почему молчишь? Язык проглотил, что ли? – не оставляла в покое Акбар-аку его мать.

– Мама, извините, пожалуйста! Так получилось, – обессиленно шептал он. – Дома я все объясню.

– Я тебе дам «дома объясню», со вчерашнего дня тебя ищем. Я уже десять таких Акбаров родила. Откуда у тебя такой кашель, непонятный цвет лица? Бог знает, чем ты занимался.

– Я же сказал, все расскажу! Почему вы меня так мучаете? Лучше пригласите домой нашего спасителя, Усман-аку, – сказал Акбар-ака громко.

Люди постепенно начали расходиться. Назокат-опа со слезами на глазах повела Усман-аку домой. В дом к Азиму пошли наши мамы и мы с Сайфиддином.

Азим-ака очень хорошо встретил и угостил Усман-аку и нас. Мы поочередно рассказали о произошедшем. Сидевшие за дастарханом удивлялись:

– Что только не придумают эти дети!

– А Шуркуль далеко?

– Как вы не испугались?

– Молодо – зелено...

– Надо поблагодарить Усман-аку и Салтанат-опу.

– Слава Аллаху, что есть на свете такие добрые и щедрые люди.

Усман-ака начал собираться назад, ему подарили принесенный мамой новый чапан. Усман-ака хотел возразить, но Азим-ака сказал:

– Не возражайте, Усманжон! Я вам не чапан, а тулуп должен подарить. Вы столько сделали для моего сына, от смерти спасли. Я не могу вас без подарка отпустить.

Все вышли провожать дорогого гостя.

Не знаю как других, но меня дома подвергли настоящему допросу. Когда же узнали всю историю, взяли клятву, что я так больше не буду делать.

На следующий день Акбар-аку положили в больницу.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ, ИЛИ ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА

С раннего утра погода испортилась. Вчерашнего тепла не осталось и в помине. Пошел снег.

Позавтракав, мы уселись вокруг сандала. С тех пор, как нашлись папины деньги, наш дастархан стал богаче. Вчера мама купила сестрам по атласному платью и шелковому платку. Как они обрадовались! Меня она тоже не забыла: новые кирзовые сапоги купили. А себе – ситцевое платье и платок с цветами хлопка. Накинув платье и платок, мама радовалась как ребенок. Потом подозвала нас к себе:

– Есть одна поговорка: «Когда есть, не хвались, когда нет, не печалься», – сказала она. Поймите смысл этих слов. «Едкость дыма знает дымоход», – говорят мудрецы. Дети мои, мы с вами видели немало трудностей. И голодали, и были сыты. Я думаю, что у нас теперь все хорошо. У нас остались деньги только на покупку коровы, поэтому надо экономить.

– Главное, чтобы был хлеб, остальное образуется. Понимаем, мама. Хорошо бы, если б у нас была корова. Как давно мы не пили молока. Правильное решение.

На улице послышался шум, и кто-то громко крикнул:

– Зайнаб-опа!

Хаитгуль-опа вышла во двор, я за ней. Во дворе откуда-то слышался громкий плач. Кучкар-ака, сосед Сайфиддина, сообщил:

– Плохая новость! Пришла похоронка на Халим-аку. Передайте Зайнаб-опе, пусть приходит на поминки.

Услышав эту новость, я застыл. Сердце остановилось, душа ушла в пятки, задрожали колени. Думая о Сайфиддине, хотелось плакать.

– Не стой на морозе – простынешь, – сказала Хаитгуль-опа, входя в дом.

– Им бедненьким теперь тяжело будет. Тошей лошади плетка больна, дырявому дому капля тяжела. Не зря это говорят. Какой работающий, сильный и скромный был Халим-ака. Тяжело будет семье без него, – сказала мама.

Я никак не мог смириться с этой новостью. Когда мы возвращались на арбе, Сайфиддин сказал, что откармливает барашка для папы, и дома будут отмечать возвращение отца вместе с его обрезанием. Что будет с его праздником?

Если в такой трудный час я не буду рядом, какая тогда дружба? Видя одевающуюся маму, твердо объявил:

– Я тоже пойду.

– Дети на похороны не ходят, – сказала мама категорично.

– Когда мой друг в беде, разве я могу сидеть дома, мама? Это ведь неправильно. Не отказывайте мне. Возьмите с собой. Я все-равно не усужу дома, – начал одеваться я.

Плач стал громче, когда мы подошли к дому Сайфиддина. Под навесом из брезента сидели 10-15 стариков, 3-4 человека стояли у самовара, еще несколько человек стояли в сторонке.

Сайфиддин стоял рядом с дядей с палкой в руке и криком «Отец!» встречал проходящих на поминки людей. Мама со слезами подошла к Сайфиддину, обняла его, сказав какие-то утешительные слова, и прошла в дом.

Я подошел к Сайфиддину с раскрытыми объятиями.

– Менгли, друг! У ме-ня нет те-перь отца! Что теперь делать? – рыдая, обнял меня он.

Я не смог взять себя в руки и зарыдал вместе с ним. Мы стояли в обнимку и плакали.

Наш плач заставил плакать и других людей, мы не могли остановиться.

Густо падающий снег словно хотел укрыть нас от печалей и горестей, а ветер, узнав о нашей горе, плакал вместе с нами.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Сегодня в доме у Сайфиддина похороны. Оставшийся без отца мальчишка плачет, вздрагивая плечами. Горюет мать Сайфиддина Санобар-опа, в трауре две сестры. Плачут все женщины. Ближе к обеду мама Сайфиддина в зеленом платке и зеленом чапане причитая вышла во двор и подошла к айвану. Все уступили ей дорогу. Кто стоял, те сели. Сидевший в центре дедушка Муллакобил начал молитву за упокой души Халим-аки. Его голос был волшебным мелодичным. Он прочитал фатиха суру. Многие мужчины после этого, опустив головы, начали медленно расходиться.

Женщины стали входить в дом. Санобар-опа подошла к нам с мамой и, обняв меня, заплакала:

– Менглижон! Твой друг остался без отца. Теперь он сирота.

Я тоже заплакал. Женщины, стоявшие рядом, начали нас успокаивать.

Мама хотела увести меня домой, но Санобар-опа остановила ее.

– Зайнаб-опа, не надо. Пусть побудут вместе, согреются, поедят горячую шурпу. Посмотрите на них, какие они заплаканные.

Мама умыла нас и завела в комнату, где было много женщин, сидевших вокруг дастархана. Кто-то сидел молча, кто-то плакал, кто-то тихо переговаривался с соседями. Мы сели в уголке. Одна из бабушек, увидев нас, прочитала молитву. Женщины начали соболезновать Сайфиддину. Узнав, что я его друг, начали хвалить меня. Мама сидела молча, опустив голову. Кушать не хотелось. Мой друг тоже не прикоснулся к касе с шурпой. Сидящие во главе дастархана бабушки, заметив, что мы не едим, стали объяснять:

– Зачем люди устраивают поминки? Чтоб все попили, поели. Это посвящается душе умершего. Понятно, дети? Халимжон ради нас пошел на войну. В далекой России оборвалась его жизнь. Что мы можем поделать? Такова, значит, его судьба. Мы можем только молиться за его душу. Поэтому ешьте, пейте за упокой души Халимжона.

Мы с Сайфиддином под впечатлением от этих слов, еще раз прослезившись, съели уже остывшую шурпу.

ФОТОГРАФИЯ

Прошло три дня, а горький плач Сайфиддина и Санобар-опы стоит в ушах, снова и снова переключая события последних дней.

Я не мог усидеть дома и вышел во двор. Небо было покрыто темными тучами, ветер разметал свежий снег по углам, арыкам и ямам. Я всегда думал, что снег сильнее ветра. Нет, оказалось, что ветер сильнее снега.

Невольно пошел к дому Сайфиддина. Смотрю, стоит он, прислонившись к стене. Мы кинулись навстречу друг другу, обнялись.

– Как себя чувствуешь? – спросил я тихо.

– Так себе, – ответил Сайфиддин и вытащил из-за пазухи лист бумаги.

– Что это? – удивился я.

– Открой, что непонятно – объясню, – проговорил Сайфи.

Я раскрыл и увидел, что это фотография мужчины в белой рубашке, в темной тюбетейке, с черными усами. Очень приятный человек, немного похожий на Сайфиддина, смотрел на меня с фотографии.

– Отец? – спросил я

– Единственная память об отце – эта фотография, – сказал Сайфи печально. – Сегодня с мамой нашли в папиных вещах и долго плакали. Я хотел ее показать тебе. Очень обрадовался, увидев тебя.

– Это хорошо, что она нашлась. Теперь, как соскучишься, будешь смотреть на нее. А у меня ни папы, ни фотографии нет. Я так скучаю по папе!..

– Ты не огорчайся, не сегодня – завтра, твой отец может прийти. А что касается

фотографии, то поищи хорошенько дома. Твой отец – учитель, а у учителей должны быть фотографии.

Слова Сайфиддина вдохновили меня. В сердце зажглась надежда. Вернувшись домой, я решил подождать маму и сестер. Они точно найдут фотографию отца, но усидеть в ожидании было трудно. Хотелось скорей найти фото и увидеть своего отца. Может самому поискать? Деньги же я сам нашел! Да, деньги где были? В шкафу! Значит и фотография должна быть там! Надо искать...

Ну и долго же я искал... Все книги в шкафу по одной перелистал. Когда очередь дошла до 25 книги, из нее выпали две маленькие фотографии. Взволнованно поднял их, внимательно рассмотрел. На одной из них был красивый парень лет 16-17. Кто же это? Мой папа не такой, наверное, молодой. Посмотрел сзади. Ничего не написано. Положил фотографию на толстую книгу.

Потом начал рассматривать вторую фотографию. В черном костюме, белой рубашке и черном галстуке, черноволосый, белолицый мужчина с вдумчивыми глазами смотрел на меня. На оборотной стороне было написано: «Мурадов Ахмад, 1942 год, 25 мая».

Я вскрикнул, не поверив своим глазам, будто нашел клад. Прижав фото к груди, вскочил на сандал. Спустился. «Урра! Нашел фотографию отца!» Еще раз прижал к сердцу. Начал прыгать, скакать. Не было человека счастливее меня. Я теперь могу не только смотреть, но и разговаривать с отцом. Я раньше даже не представлял, каков мой отец. А теперь я его вижу. «Урра!» Я то смотрел на фото отца, то прижимал его к груди.

В это время вернулись мои мама и сестры. Я бросился к ним.

– Мама! Смотрите, что я нашел! – воскликнул я, показывая маме папину фотографию. – Почему вы прятали это от меня?

– Ты что, до сих пор не видел его фотографию? – удивленно спросила мама. – Где нашел? Почему она мокрая? Уронил в воду, что ли?

– В папином шкафу нашел, – сказал я, прыгая от счастья. Потом показал вторую фотографию. – А это кто?

– Это Абдихалил-ака, брат твой, – прослезилась мама. – Обе фотографии были в одном месте?

– Да, мама.

– А как папу узнал? – плача спросила мама.

– Сзади написаны имя и фамилия. Прочитал.

– Ах ты мой умненький мальчик, – прижала меня к себе мама. – Посмотри фотографии и положи их на место, чтоб не порвались.

Целуя фото папы, я, оказывается, намочил его. Осторожно положил фотографии в книжный шкаф, снова и снова поглаживая папу.

Продолжение следует...

Перевод с узбекского Равиля АШРАПОВА

проза



**Александр
МАХНЕВ**

Родился в 1964 г. Публиковался в литературных журналах и сборниках Узбекистана, Украины, Греции, России, Германии, Израиля. Автор более трехсот миниатюр, двадцати рассказов. Живет в Ташкенте.

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Литературные миниатюры

НОВАЯ ЗОЛУШКА

В некотором царстве, некотором государстве жил-был, поживал бедный Маленький Автор. В смысле довольно не-большой. А жил он у злой мачехи по имени Литература, взявшей его на воспитание. Потому что сирота.

Но уж измывалась над Маленьким Автором бессердечная Литература почем зря. То грамматикой озадачит, то синтаксисом напряжет. Препинаниями тиранит, местоимениями донимает, склонениями мордует! А то еще общей образованностью, подлюка, интересуется. Тяжело жилось-пописывалось убогой крошке.

Вскорости пришел бы, без сомнения, бедному Маленькому Автору полный кирдык, если бы вдруг не появилась в его жизни добрая фея Графомания. Надоумила она его обратиться к великому волшебнику Интернету.

– Только он тебе и сумеет помочь, – сказала добрая Графомания, – одно тебе спасение.

– О великий, могучий и великодушный Интернет! – взмолился несчастный сирота. – Избавь ты мене Христа ради от придинок жестокой мачехи Литературы. Сам посуди, сколько ж можно терпеть: смешает, бывало, сказуемые с подлежащими, добавит туда прилагательных с наречиями и заставит разбирать. А где ж мне, сироте убогому, справиться? Это ж никаких моих запасов терпения, не говоря уж о словарных запасах, буквально не хватает!

– Несчастлиная малютка! – прослезился добрый Интернет.

– Да что ты, батюшка! – расчувствовался Маленький Автор – Кабы только это – еще б полбеда. А случается ить такое загнет, что и повторить совестно... Оксимороны ей подавай, да эллипсы с антитезами! Или еще, анафор с эпифорами домогается. Я ж ведь, благодетель мой, воля ваша, и слов-то таких не знаю. А Литература, ежели не по ней, бранится и грозит взашей вытолкать.

Опечалился добрый волшебник Интернет, жаль ему стало горемыку. Приютил он Маленького Автора у себя, обогрел. И зажил тот вольготно и весело. Про синтаксис да грамматику не вспоминает, а про общую образованность вовсе думать забыл!

Тут бы нашей сказке и счастливый конец... если бы, конечно, не читатели.

СЛОВА

Слова улетают, если их не остановить. Не надеть на стержень, не насадить на грифель, не припилить к листу. Да хоть к обрывку какому-нибудь. Салфетка, поля телепрограммы, автобусный билет, сигаретная пачка или спичечная коробка.

А потом еще надо это все не потерять.

– Ну вот же я записывал! Помню, как шас! Все помню, кроме «о чем» и «на чем». Нет, «на чем» вспомнил. На сотне, сбоку, очень мелко. Что-то там было интересное.

– Ну ты придурок!!! Ты б еще на тысячных купюрах сочинял.

– Да я спешил, мне было некогда выбирать поле для деятельности. Ведь они улетают. Расползаются во все стороны. И жаль. Потому что многое иногда кажется важным, возможно, и даже, скорее всего, только для меня.

А еще ночью, сквозь сон... сочиняю исключительно шедевральный. Когда он тебя еще не окончательно накрыл, сплошь гениальное прет. Пытался, пытался много раз встряхнуть, поднять, заставить. Записать!

Утром очень жалею. Они ведь улетают...

Если их не надеть на грифель, не подцепить на стержень и не припилить к листу.

Ну да, не воробы. Взмывают ввысь стройными фразами и разлетаются мелкими буквами, запутывая и уничтожая следы пребывания.

Но вот этот момент, когда они появляются... За него я даже от записей готов отказаться.

ОШУЩЕНИЕ! Вот оно всегда остается. Хотя и не всегда помнишь какое именно.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Я сидел на кухне между закипающим чайником и сломанной розеткой и сочинял рассказ. Идея пришла сразу, а рассказ вокруг нее все не складывался. Я морщился, ругался, отрешенно смотрел на тархтящий холодильник и курил, курил, курил...

Притом запивать все это приходилось водой со льдом. Денег как обычно не было, соответственно не было и пива. Сигаретный дым уже курился из ушей, вода переполнила мочевого пузыря, а лед застудил горло, когда у меня наконец получилось. Я перечитал пару раз и, удовлетворенный, переписал набело. Отнес главреду. Тот хлопал меня по плечу, улыбался и говорил, что ему нравится. Через пару дней, прежде чем прочитать мне отредактированный вариант, он предупредил, что рассказ даже после редакции остается моим, что мне не следует расстраиваться и что он просто хотел прибавить динамики.

Черт его знает, может темпа он и прибавил, но редактора его мне решительно не понравилась. Я попытался, было, мягко объяснить, что своей правкой он угробил основную мысль. В том, что она – мысль – была, я, естественно, не сомневался. Но в итоге плюнул и сказал: «Валяйте!»

Неделю я чувствовал себя довольно паскудно. А потом позвонил редактор и сообщил, что рассказ в номер все-таки не пошел. «Очень хорошо», – ответил я и, повеселев, сел писать очередной шедевр.

ДОСТИЖЕНИЕ

Убедил. Доказал. Пронял. Заставил согласиться. Вынудил признать. Прошел через подхикивание за спиной, недоумение, сочувственное удивление. Через саркастические улыбки и иронические замечания. Через недвусмысленные жесты, наглядно иллюстрировавшие их представления о моих умственных способностях. Через неверие и недоверие. Да просто достал я их, видимо. Допек. Упорством, тонкой гранью, разделенной с упрямством. Настойчивостью, граничащей с суетой, переходящей в панику.

Десять лет бился. Все десять лет бился как рыба об лед, лед непонимания и неприятия. И пробил все-таки!

Согласились они считать меня человеком, имеющим право писать. В смысле сочинять нечто литературное. Даже жена. Правда, она довольно своеобразно подтвердила факт моего признания. «Ну, и когда же мы увидим гонорары?» – спросила она. Но это, я вам скажу, дорогого стоит!

Теперь все они относятся к моему увлечению с достаточной долей уважения. Дарят мне всякие канцтовары. Они видят, что меня печатают, нечасто, но все-таки читают меня и сами, где-то я там периодически выступаю, о чем они тоже слышат. Удивление их теперь не сочувственное, но вопросительное. Они ждут, что будет дальше.

А мне вот именно теперь ну совершенно не пишется. Как отрезало. То есть ноль абсолютный!

Оказывается, писать, не получая при этом их поддержки, трудно, но еще ничего.

А вот считаться признанным (в узких, конечно, кругах, но все же) писателем и не писать – просто полный обвал.

А они же уже теперь требуют. Говорят: «Ну что же ты? Ну где? Когда в конце концов? Мы на тебя рассчитываем, а ты? Давай становись знаменитым, чтобы мы уже начали тобой гордиться. Ты же писатель!»

И что, мне теперь еще десять лет убеждать их в обратном?

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Великолепная записная книжечка. Плотная, приятно шершавая бумага. Ручной работы! Обложка из натуральной кожи. Блеск, а не книжечка!

Но если бы несчастное животное, чья кожа пошла на обложку, знало, чего он там понапишет...

Может, не так покорно шло бы оно под нож забойщика. Но оно не знало и, возможно, (почему нет?) отправилось под режущий инструмент с чувством некоего выполняемого долга.

И из кожи его сделали обложку для записной книжки. А из прекрасных деревьев, некогда бывших лесом, изготовили отменную бумагу. И десятки мастеров пытели над этой незамысловатой штукой, называемой записной книжкой.

А он там потом такое наворотил, накопал...

Право, неудобно перед теми, кто вложил в нее свои силы, труд, старания... И даже собственной шкуры не пожалел.

БРЕДОВЫЙ МОНОЛОГ

Поговори со мной. Да не отворачивайся. Ну посиди хоть рядом, мне тоскливо. Не знаю почему. Страшно мне почему-то. Боязно и выть хочется. У тебя так не бывает? Подожди ворчать. Помолчи лучше. Я поворчу. Потихоньку. Может, полегчает? Выпьешь? Нет? Ну ладно. А я налью. Хотя, конечно, не надо бы. Она ведь зараза только глотку обжигает, а душу не греет. Градус не тот. Зачем я? Да больше некому сказать. Или они не понимают? А то, наверное, это я не правильно объясняю. Слов не хватает. Предчувствия и ощущения не имеют сил превратиться в связанные мысли. Погоди, еще стаканчик хлопну для ясности. Надоел я тебе? Небось, думаешь: нажрался как свинья и несет всякую муть. Хвостом виляешь? Спасибо и на этом. Эх, Шарик, друг мой дорогой, ты собака, я свинья. Оба мы с тобой животные. Млекопитающие. И я не пойму, чего ты лаешь, и ты вряд ли поймешь, о чем я. Да я и сам не понимаю, спасибо, что хоть не перебиваешь. Ну, раз не пьешь, хоть супчику тебе плесну. В порядке компенсации за услышанный бред.

РЕДАКТОР

Я написал, редактор посмотрел и сказал: «Хорошо... но намеки чересчур прозрачные». Я согласился и слегка заштриховал острые места. Редактор оценил и сказал, что кое-где все еще проглядывает. Я согласился и затушевывал кое-где. Редактор взглянул и спросил: «Что это за мазня?»

О ПРИРОДЕ ТВОРЧЕСТВА

Вот был бы я красив... Эдак – высок, широк в плечах, строен, ловок и силен. Обладал бы железной волей, непреклонностью, когда надо, уверенностью в собственной неоспоримости. Наметил бы цель в жизни, научился бы говорить «нет». Воспитал бы в себе напористость, неутомимость, предприимчивость. Стал бы удачлив в бизнесе (с такими данными обязательно бы стал). Имел бы здоровую печень, стопроцентное зрение, крепкую нервную систему и устойчивую психику не знакомую с депрессиями. Мне бы сроду не пришло в голову сочинять то, что вы теперь читаете.

ОРИГАМИ

Чернила ложились на белый лист бумаги витиеватыми узорами слов. Не складываясь все-таки в задуманное целое.

Истерзанный бесплодной ночью сочинитель, свирепея от ужаса, злобно смял

единственного свидетеля своей беспомощности и отшвырнул в сторону.

Кто-то другой поднял опальный лист, расправил и сложил вдвое. Вчетверо... еще...

И вдруг появилась «дзунако». Изящная бумажная коробочка с непослушными словами, заключенными внутрь нее.

ПЛАГИАТОР

Меня часто с ними сравнивают, и я, безусловно, проигрываю. Иронически обычно сравнивают, даже саркастически я бы сказал.

– Ну это же вот... у него. Не помню где, но я читал(а).

Мне нечего возразить. Эти правы, потому что те захватывают и втягивают в свою орбиту. Удержаться трудно, если вообще возможно. Если размышлять, однозначно невозможно.

А потом русский язык он хоть и великий, и могучий, но тот же самый. Я ж не виноват, что родился позже, а люблю и ненавижу то же самое. Но меня продолжают ловить на их фразах. О большинстве я просто понятия не имел. Кое-что подсчитал вот в самое последнее время, уже просто чтобы убедиться лично. Читаю и схожу с ума. Действительно: они написали все то же самое, что далось мне таким трудом теперь, написали давно и лучше, и вроде бы даже как-то обидно легко. Ну если не вникать.

С современными авторами вообще беда. Кое-что я просто раньше придумал! Но, пока я сижу тут, он где-то там выступил, опубликовал, и мои доказательства приоритета перестают интересовать даже меня, потому что у него лучше.

Не знаю, может артериальное давление совпало, или там равное содержание лейкоцитов в крови. Бывают же такие удивительности?

Хотя, наверное, все гораздо проще. Добро и зло, любовь и зависть, мужчины и женщины, начальники и подчиненные, бедные и богатые – все это было, и все повторяется вновь. Сколько их там сюжетов? Подсчитал ведь кто-то, десятка три, кажется.

ЧТО – уже давно выбрано до нас, а вот КАК. Тут мои оппоненты правы – у них лучше. Утешимся тем, что есть куда стремиться.

ЛИТЕРАТУРА

Встретились двое. В растрепанных чувствах оба. Что, согласитесь, несколько извиняет их нетрезвость. Поделились.

– И у тебя так же? – удивился второй.

Хлопнули, завязалась беседа.

– И ты тоже! – заключил первый.

Так в мире стало двумя гениями больше.

А я не сказал? Оба они были поэтами. А у поэтов чувствительность очень развита. И поэтому они весьма добры. Всякого собрата готовы признать себе равным. Если, конечно, доза подходящая.

Одно печально: никто кроме них об этом не догадывался. В смысле, что это не просто два пьяных мужика, но, напротив, титаны поэтического слова.

Как же тут не запечалиться?

И не добавить по этому случаю?

И не усугубить в связи с этим?

Ну поэты, чего с них возьмешь...

Ах, да! Забыл такую подробность: оба они живут в разных, прямо противоположных от меня концах города, а встретились мне на остановке супротив моего дома. Внятно объяснить как, оне уже не могли. Тем более что я в завязке как раз был. А трезвый пьяному, сами знаете, не собеседник. Потом еще один появился, назвался меценатом, зазывал в гости. Я ему был представлен в самых восторженных выражениях, хотя в меня закралось нехорошее подозрение, что представляющие с меценатом тоже были нетвердо знакомы.

Насилу отбилась от этого творческого сообщества. Но трезвым образом жизни пришлось все-таки пожертвовать. Они меня в ряды гениальных литераторов приняли – неловко было отказываться. Пришлось под это дело накатить.

Такая вот литература.



философия искусства



**Владимир
КАРАСЕВ**

Родился в 1949 г. в Ташкенте. Окончил факультет журналистики Ленинградского университета, исторический факультет ТашГУ (ныне НУУз). Искусствовед, историк, автор многочисленных статей о современной живописи.

ДВА ЭТЮДА ОДИНОКОГО СТРАННИКА

Эссе

Этюд первый

МНЕ АНГЕЛ НАШЕПТАЛ СУДЬБУ...

...Одним из самых удивительных и загадочных художников в современном живописном пространстве Центральной Азии, несомненно, является Файзулла Ахмадалиев, уроженец семьи арабов, переселившихся сюда, вероятно, в те незапамятные времена, когда жителей Мавераннахра только начинали обучать молитвам во имя Аллаха.

Опыт Истории подсказывает, что только в красивом месте могут родиться прекрасные художники. Сайрам – город из забытых сказок, в котором до сих пор живут ангелы. Весьма почтенные старики рассказывают, что город был основан пророком Енохом, который прожил здесь 30 лет. Это в его честь в самом центре поселения, на перекрестке двух магистральных улиц, была возведена соборная мечеть Идрис-пайгамбар. Но, если кто-то считает, что это сомнительный с точки зрения исторической достоверности факт, скажу, что в Сайраме находится гробница библейского пророка Юша (Июша), сына Нуха! А к югу от дороги в селении Карамурт, на кладбищенском холме, вам любой покажет могилу Мариам-биби, или христианской Богородицы.

Поэтому смело можно утверждать, что Файзулла, родившийся в семье добросердечного Ахмад-Али, с детства знал, что семь небес невидимо высятся над головой, семь миров мрак за мраком клубятся под землей.

Ночью урючина во дворе, под которой он засыпал, казалась космическим деревом, на ветвях которого зреют звезды и луна. Луна... Одинокое бессонное светило с вьющимися вокруг тенями *дервишей*, мудрых *стариков-табибов*, сладкоголосых поэтов и таких же одиноких в своей печали вдов, ставших в одночасье старухами с ослепшими от слез глазами. Глаза... В глубоком сне перед мальчишкой появляются глазастые персы с крашеными бородами; арабы в белых накидках с черными, как ночь, очами; румийцы с отсутствующими лицами; серовато-желтые, суетливые, со странной балаболящей речью китайцы, глаза которых раскрашены в сливающееся многоцветье струящегося шелка; коренастые и шекастые калмыки. А потом неожиданно появится ангел, который вложит в рот сухую косточку хурмы. В эту минуту замирают тысячелетия. Нечто неизъяснимое,

духовно исповедальное с сиянием ночи вошло в него, зарницей осветило безотчетную память, остановило скороспелое время и расцветило красками Бытие!..

В голодное послевоенное время даже «Ташкент – город хлебный» был не более чем мифом. Особенно это чувствовалось в огромных семьях, затерявшихся в таком заштатном туркестанском городишке, как Сайрам. Для Файзуллы были поистине счастливыми часы, когда дед привозил его в Ташкент, в Музей искусств.

Здание с колоннами (разрушенное потом во время землетрясения 1966 года), приютившееся в тенистом сквере, было для мальчишки настоящим храмом, неподражаемым, неземным хранилищем сокровищ. Дед знал, кого и зачем возил в Ташкент. Он ничего не заставлял делать, только повторял: *«Иди, не спеши и внимательно смотри»*. Так было не раз, а через много лет Файзулла закончил Ташкентский театрально-художественный институт. Потом была творческая мастерская мэтра живописи Узбекистана Рахима Ахмедова. Это был подлинный социалистический реализм, с самого начала будто бы и не совсем принятый Ахмадалиевым. Но это была настоящая школа.

И до сих пор, хотя художнику исполнилось шестьдесят, Файзулла Ахмадалиев, пренебрегая правилами, принятыми в живописи, следует тем порывам, которые воскрешают воображение и заставляют видеть то самое, давно ушедшее, виденное не им самим, а теми праотцами, имена которых уже давно потеряны во времени, Файзулла переносит это в изобразительный ряд и начинает говорить о том, о чем не говорят люди, переводить не с чужого языка, а с чужого молчания.

Да, центральноазиатская живопись сейчас отчуждается от родителя – русского классического искусства и авангарда начала XX столетия – с помощью иронии, отвержения, разрушения, колеблясь от инфантильного желания припасть к нему и остаться вечным ребенком до патологического импульса к его полному уничтожению.

Авангард – этот вечно протестующий подросток – подготавливает почву для качественного поворота, должно привести не только новые формы (и не столько формы), но, несомненно, новое духовное наполнение. Так же, как путь из детства в зрелость лежит через отрочество и юность.

Самоанализ и попытка разобраться в рухнувших идеалах прошлого, горькая ирония над собственной неискушенностью – признаки уже не отрочества, но начавшейся юности. Начало юности порой драматично. На каждом новом повороте – опасность. Возникают и тут же рушатся «возвышенные» идеалы, утверждаются и мгновенно ниспровергаются новые формы. А друзья-художники спорят, чуть ли не до кулаков, о том, какое сегодня время: то ли ренессанс, то ли постмодернизм, а может быть, старый и привычный для нашего народного сознания соцреализм?

На мой взгляд, живопись Центральной Азии имеет реальные жизненные перспективы на пути поиска собственных выразительных средств. Даже кем-то проторенные дороги могут привести художников центральноазиатского искусства к новым, так необходимым сегодня, явлениям.

А что касается художника Ахмадалиева, то он видит, как в новейшее время в изломе глобальных геополитических представлений изменился и сам мир. И видит Файзулла Ахмадалиев теперь, что глаза и профиль сына точь-в-точь как подзабытый лик деда. И при этом сын творчески талантлив, трудолюбив, как его прадед Тилляходжа. Дед не говорил о том, что возможно в сорок седьмом колене имел своим предком святого Исхак-бобо, который не с мечом, но с Кораном, прижатым к груди, шел в эти края из Аравии.

И вдруг, как невероятное видение из потаенных временных глубин, возникают полотна Файзуллы «Семья из Пенджикента» (1994 г.), «Переход» (2001 г.), «Жизнь Дerviша» (2004 г.), «Притча о Пророке» (2005 г.). Не это ли самый высокий художественный романтизм? И да, и в то же время – не только.

Художник не кумир, но он почти всегда и везде творит себе кумира, и кумиры его во многом человечней и лучше современных надуманных абстракций, этаких

идолов, переведенных в гранит и мрамор. Люди на его полотнах как будто теряют человеческий облик, принятый в академической живописи, если они недостаточно отделены друг от друга, можно даже сказать, если они недостаточно одиноки. Они сливаются в единую (но многоликую) массу. Их труднее понять. Чем ближе они друг к другу, тем дальше от нас. Так чем же это не настоящий реализм? Вот он – *романтический реализм*, показанный через призму восточных идеалов!

На полотнах Файзуллы видна страна, в которой живут сам художник и его персонажи, но там же живет само Время. Минуты, часы, дни, годы, столетия – все это признаки Времени, а Время измеряет Вечность! Но вот как удержать натиск Истории? Вечность сама подчиняется этой самой Истории, ибо только История в состоянии измерить и даже оценить Вечность. Картина «Моя семья в Сайраме» (2003 г.) раскрывает этот сюжет спора Истории со временем через лики близких, родных и добрых людей в затерянном во времени историческом городке.

Откуда это? Из каких потаенных глубин генетической памяти всплывают у Файзуллы образы традиционной народной архитектуры, неведомой ранее самому художнику? А эти дома, которые когда-то воздвигались в Марокко, Эфиопии или Сирии, вдруг внезапно проявляющиеся на холстах волнообразными надстройками парапетов, прячущих плоские крыши, такие же, как в мастерской Ахмадалиева, под самыми облаками? Эти пальмы с трепещущими листьями, эти одnogорбые дромадеры с выпяченной губой и завернутые в таинственные ниспадающие ткани луноликие красавицы, которые выставляют нам и всему миру только бездонной глубины глаза? Вот полотна «Лики мудрой Хивы» (2002 г.), «Тени моей памяти. У хауза» (2002 г.), «Ожидание» (2003 г.), «Свидание невзначай» (2003 г.), «Влюбленные в саду» (2004 г.), «Материнство. Хива» (2004 г.), где динамичная архитектура, характерная для восточных городов, включает структурные элементы арабской архитектуры, такие, каких не найдешь ни на одной фотографии, но можно встретить в глухих отдаленных кишлаках Аравийского полуострова.

На полотнах Файзуллы портреты мудрецов, для которых смысл всего сущего в любви и познании. Именно они – эти вневременные старцы – открывают страницы Книги Истории, заполняют ее знаниями сотен поколений и почерками сульс, насх или куфи, излагают непреходящие Истины, кистью воспроизводят окружающий нас Настоящий мир. Его можно созерцать лишь душой и разумом. И через созерцание прийти к познанию многообразия Бытия.

Мудрая волчица проникновенно вглядывается в зрителя с немим сакраментальным вопросом. Услышать бы его! И не предать свои идеалы. А вот тогда натруженные руки матери Файзуллы Сахибджамол-ая, хранительницы домашнего очага, бережно обнимут и прикроют ангела, как всех девяти своих детей, и возблагодарит она ту самую тюркскую волчицу, которая покровительствует миру, дому и Судьбе. В 2004 году Файзулла пишет картины «Мир великого познания» и «Портрет Судьбы моего дома», возникает целый цикл картин, завершенный портретом «Матери-волчицы».

Как можно охарактеризовать художественный жанр маэстро – магический реализм без пафосной философии или романтический сентиментализм? Для поэта и художника нет совершенства там, где нет души. Ночная сова, как языческий бог, олицетворяет силы природы. Это верно и все же неточно; можно подумать, что для древних силы природы – абстракция, олицетворение искусственно. Ничего подобного! Несомненно, есть что-то мистическое в декоративно-философской работе «Сова» (2003 г.). Она завораживает зрителя, приглашает к размышлению о Смыслах. Облик скрытой птицы порождает ощущение приоткрывающейся тайны; смутные силы природы принимают в нем не слишком гармоничную, но вполне наглядную форму, которая шифруется в плоде граната как символе плодородия, долголетия и семейного благополучия. Линии его предварительных графических набросков, как и у великого Тулуза Лотрека, сродни криптографическим ключам к жизнедеятельному замыслу богов. Вот тогда-то мы начинаем понимать, что все смертные приговорены к жизни, а бессмертные – к Искусству.

Красками и углем Файзулла создает новые мифы, придает новый смысл всему белому свету. Конечно, мой довод вызывает только к воображению, но это не значит, что он произволен. Это не значит, что он «субъективен», как говорят теперь, когда хотят обвинить во лжи. Каждый настоящий художник сознательно или бессознательно чувствует, что касается потусторонних истин, что его образы – тени реальности, увиденной сквозь покров. *«Мистик, создавший мифы, знал: что-то да есть за облаками и в листве деревьев. И ему казалось, что, погнавшись за красотой, он это отыщет, вызовет магией воображения»*, – писал много лет назад Честертон Гилберт Кит.

И создает новые мифы Файзулла не для исторической правды, а для души, истосковавшейся по красоте в новейшем безумно-техническом мире. В своих работах художник, как кудесник, подающий ребенку трубочку с зеркалами и цветными стеклышками, показывает зрителям феноменальный калейдоскоп, где созерцательный буддизм переплетен с философски вдумчивым исламом, христианская помпезность – с аскетическим иудаизмом, а над всем этим ярко и многоцветно переливается вселенской мудростью зороастризм.

В раздумье о Судьбе и мире людей изображен Ф. Ахмадалиевым Пророк в картине «Али» (1997 г.). Каждый человек – *посланник*, говорит нам художник. Но не каждый помнит о предназначении. В забытии, беспамятстве не превратят ли они питающий их свет и сок во тьму зла, позора, не зальют ли они Мать-Землю кровью и слезами униженных, обманутых и оскорбленных?

Всмотритесь в полотна этого загадочного художника, расцветенные непревзойденным колоритом восточного пространства, вдумайтесь в эту древнюю, но общечеловеческую философию, услышьте таинственные и, казалось бы, непонятные притчи, ибо они повествуют о нас самих. Вы просто забыли о своем прекрасном внутреннем мире в суете серой повседневности, в грохоте техногенного стяжательства и визгах исторического фарисейства вокруг. За вами всегда незримо стоит ваш белый ангел. Он видит и слышит все, читая самые потаенные мысли. Он хранит вас от невзгод и ошибок, тихо нашептывая Истину. Услышьте голос своего ангела, ведь он нашептывает Судьбу. И это Истина...

Этюд второй

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ...

Обращаясь к полотнам Ахмадалиева, я улавливаю удивительный феномен – полное отсутствие у него «авторитарного сознания». Это редкостный дар для современного художника, чье мировоззрение складывалось при тоталитарном режиме.

Внезапно, как может показаться стороннему зрителю, на юбилейной выставке, прошедшей в выставочном зале Академии художеств Узбекистана, появилась работа Файзуллы «Сад дервишей» (2011 г.). В еле заметном растекающемся мареве тенистого сада, как тени из небытия, вырисовываются фигуры дервишей, этих странников жизни – то ли пилигримов Судьбы, то ли пророков Истины. Они в трансе внутренней медитации, они едины с Творцом, они одиноки в толпе единомышленников, они сплочены в растленном мире, готовом издеваться, зубоскалить, ненавидеть ищущих смыслы. И только смерть, как символ истинного вселенского воскресения Разума, достойна поклонения. И девочка, стоящая перед Поэтом, – умершим, уснувшим и воскресшим, прославлявшим Любовь к единственной той, которую олицетворяет роза как продолжение Надежды. А мудрость стариков, уходящих в Небытие и возвращающихся к нам в образах внуков и сыновей, как молчаливый Глас, вызывающий к зрителю. Поэт благословляет цветком уходящего в нашу Память старика и отпускает юношу, смотрящего на простор за изгородью сада: ему еще идти и идти по дорогам Познания белого Света, а умудренному и прожившему жизнь и смотрящему из-за ограды на воскресение Поэта пора воссоединиться с теми, кто в Саду.

В этом полотне Ахмадалиева совместились тяга к смерти и любовь к жизни не просто констатацией человеческого Бытия, а философией высокой закономерности, где познаваемое «Я» есть Бог, Любовь и Красота. Сознание полностью раскрепощено!

Потом, уже на другой выставке, последовавшей вскоре после «юбилейной», тема самоидентификации человека в современном мире у Файзуллы воплотилась в картине «Памяти жертвам репрессий» (2011 г.). Как отрицание авторитарного сознания, эта работа воплотила принципы *истинного гуманизма*. Здесь Память перешагнула Скорбь и продемонстрировала Любовь! Первым прообразом такой формы была картина «Сон дервиша» (2010–2011 гг.).

Уснувший среди белых роз (каков глубокий смысл!) дервиш видит тех, кто дорог его истомившемуся сердцу: образы отца и матери, лики друзей, знаки и символы криптограмм Бытия, цветущие сады, символизирующие чистые помыслы. Птица-душа, сидящая на плече дервиша, взирает на мир в сознании спящего. Доколе он будет спать? А, может быть, это вовсе и не сон? Это окружающий нас мир. Не вспугнуть бы эту птицу и проснуться...

Тема жизни, уходящей и воскрешающейся в Памяти живущих, была затем продолжена художником в полотне, посвященном жертвам репрессий, на котором словно из разноцветных лоскутов сшито одеяло Вечности, и на этом покрывале заботливой рукой Памяти пришиты портреты дорогих и близких людей. Но что сохранило нам Время? А если не осталось от дорогих и бесконечно близких людей даже фотографии, то лик свой кажет мудрая Мать-волчица, ведь каждый из нас ребенок Времени, а Она нас ждет. Ахмадалиев именно ее изобразил на полотне «Мать-волчица II» еще в 2008 году, где такое же покрывало Времени вместило не только ее портрет, но и мир человеческий, в котором она пребывает.

Вот тот же мир в полотне того же времени «Благословение ангела», где дом художника наполнен еще живыми родными, друзьями. И каждому путнику была приготовлена чаша с чистой, холодной, прозрачной, живительной влагой.

Художник передает в своих работах размеренный, структурированный мир, построенный на моральных идеалах, хранимых священным городом Сайрамом, чести и достоинстве традиций. Файзулла Ахмадалиев истинно народный художник. Его народность – в некоей нравственности, которую не под силу постичь педантам от искусства с их явным истощенным поклонением концептуальному аппарату неоавангардизма.

Творческая, отмеченная каким-то там, может быть, «Высшим разумом» личность неподвластна никаким тоталитарным катаклизмам. Душа художника всегда свободна, правда, это случается только у «настоящего» художника.

Вера – вот то, что наполняет душу, сокровенные глубины сознания Ахмадалиева, что движет им, посредством чего Файзулла возвышается над самим собой, соединяясь с основами Бытия, ибо человек мыслящий сопричастен всеобъемлющему и делает его самим собой.

Вера Ахмадалиева есть не что иное, как живой родник интуиции, прозрений, наитий, которые помогают ему ощутить собственные корни, сохранить себя, свою уникальность. Эта внутренняя вера порождает не только интуицию, с которой он творит свои полотна, но и мистическое провозвестие, без кумиротворчества.

Вера в знание и мистическое откровение всегда была частью духовной Истории, сокровищницы культуры человечества. Художник создает очень необычное полотно, на выставке оно называлось «Жемчужина древней Бухары» (2011 г.), но сам автор дал разъяснение и правильный перевод названия: «Древняя Бухара – жемчужина». На этом полотне фигуры восьми дервишей, стоящих перед фотографом в своей статичной обреченности. Фоном являются горы как символ вечного пространства. Все это пространство обрамляется фотографиями Бухары, ее жителей, архитектурных строений, чиновников и правителей конца XIX – начала XX веков, достаточно достоверно изображенных автором. Это придает картине своеобразный флер документальной достоверности.

Но, может быть, оба названия верны? Как знать, как знать!

Стоящие перед фотокамерой суфийские пилигримы как будто пристально смотрят откуда-то, из уже нереального прошлого в день сегодняшний, пытаются постичь тот, с их точки зрения, «идеальный мир», о котором они твердили таким же простым и, разумеется, абсолютно смертным жителям Бухары. А зритель, стоящий перед картиной, волей-неволей начинает с этими просветленными внутренним диалог. Мы-то, знаем, что древние мистики, отвергая достоверность разума, не торопились предать поруганию вековые ценности, крупницы обретенных навыков. Они выступали собирателями знания, которое является человеку в акте просветления...

Какими глазами он смотрел на тех, кто пришел к нему в воображении с новыми духовными концепциями, с теми книгами вечных Знаний, которые мы уже, вероятно, никогда не прочтем. И сквозь рев двигателей космических кораблей они сыграли неведомую мелодию на еле слышном нае и дрожащем от вселенской тоски дутаре. Когда он слышал эту мелодию? Может быть, в том, ушедшем в неведомое детстве, когда засыпал под звездами, случайно зацепившимися за ветви старой урючины.

На всех полотнах у Файзуллы нет четко прописанных лиц дервишей, как и ликов ангелов. Как это похоже на то, что образы Пророков каждый рисует себе сам – по образу и, наверное, подобию. Что это – мистика или реальность, более неправдоподобная, чем та же мистика?

Ранее, в 2010 году, художник уже создавал работу, которая приближалась по своей значимости к портретам дервишей, это картина «Путники. Паломники у мазара». Работа, отличающаяся удивительным колористическим изяществом, построена на принципе внезапного озарения, когда зритель видит не только идущих к старому мазару паломников, но и шествующего среди них самого святого, и тут же вдруг проявляется облик этого Пророка. Зритель открывает более широкое пространство своего видения, а значит, и понимания замысла автора.

Эти дервиши, запечатленные в изумительно гармоничных красках Файзуллы Ахмадалиева, до смертного часа веровавшие в свои, пусть утопические идеалы, преодолевшие несметное количество трудных и непростых дорог, всматриваются в наши лица, как будто в душу заглядывают. И своим молчанием они вызывают с живописных полотен к нашей совести.

Мысленно наблюдая за всеми работами Ахмадалиева, можно понять, как проявляется его интеллектуальная функция, куда включены все умственные процессы: осознание впечатлений, формирование представлений и понятий, рассуждение, сравнение, утверждение, отрицание, формирование слов и воображения... И хотя его творения многозначны, зрителю необходимо самостоятельно черпать из них все, что возможно. И тогда никакое «авторитарное сознание» не сможет поработить наш разум. Нужно только помнить, что не мы выбираем, а обстоятельства выбирают нас и заставляют нас распоряжаться своей Свободой...

Ахмадалиев Ф. А. – это удивительное явление в современном искусстве на пространстве Центральной Азии. Хотя он одиноко ступает по дороге, предначертанной ему Высшими силами, но он идет к людям, которые, несомненно, дороги ему. Он молчалив и часто грустен, но грусть его светла, как сон ангела, которого он часто изображает на своих полотнах. И кажется, что художник хочет быть листком дерева в саду, в котором собираются изображенные им дервиши. Он – жизни листок, схваченный на лету, как и остальные люди, ради которых он творит. Каждый из них как лист осеннего сада из тех, что толстым шуршащим восточным ковром покрывают землю. Но каждый – это жизнь, каждый – самость, и ошибка думать, что даже без одного из них этот ковер в саду останется прежним, что сад, лишившись листка на ветке, останется тем же садом. Конечно, это сад, но уже не тот...



литературоведение. литературная критика

**Николай ИЛЬИН**

Поэт, литературовед, переводчик. Окончил ТашГУ (ныне НУУз). Доцент, автор множества научных публикаций, поэтических сборников: «Первая тетрадь», «По клавишам души», «На кочевьях времен», «Обетованная память» и др. Редактор журнала «Преподавание языка и литературы».

ПАМЯТИ МАСТЕРА*Заметки переводчика*

*А мастер и небо, и землю воспел,
И силу земли, и небесный предел...*

А. АРИПОВ

Ушел из жизни Эркин Вахидов, замечательный мастер слова, великий представитель узбекской культуры, художественный мыслитель...

О творчестве Эркина Вахидова и об отношении к нему читающей публики я впервые узнал, будучи еще начинающим преподавателем в Педагогическом институте русского языка и литературы, созданном когда-то блестящим знатоком и исследователем узбекского языка академиком Виктором Васильевичем Решетовым. Прием и подготовка будущих учителей осуществлялись здесь не по общим результатам экзаменов и вступительному баллу, но с учетом языкового уровня и подготовленности абитуриентов каждой области, каждого региона Узбекистана. Атмосфера взаимодействия культур и языков пронизывала педагогическую и научную деятельность вуза. Прославленный академик, замечательный знаток и диалектолог узбекского языка сидел, бывало, в приемной комиссии, смотрел, как студенты сдают свои заявления, проходят собеседование, и по характеру их речи, подобно известному персонажу Бернарда Шоу, определял область и даже район, из которого происходили приехавшие, вызывая удивление и восторг узбекских абитуриентов. Неудивительно, что в вузе была создана замечательная языковая и педагогическая атмосфера, организована напряженная филологическая работа.

Я вел курс пропедевтики литературы, и на одном из занятий мы разбирали со студентами стихотворение из цикла «Восточные мотивы» Сергея Есенина. Слог Есенина с вкраплениями крестьянской лексики, многочисленными неологическими формами, религиозной символикой и проч. отнюдь не так прост и доступен для не очень подготовленной в языковом отношении аудитории. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил у студентов не только искреннюю расположенность к творчеству русского поэта, знание многих его стихотворений, но и довольно уверенное понимание смысла непростых слов и фраз. Студенты объяснили, что для них Сергей Есенин *особый* писатель: «он наш, восточный». Они рассказали, что как-то слушали по радио литературную передачу, где впервые на узбекском языке прозвучали стихи «Персидских мотивов»: «Мы слушали передачу не с самого начала

и не знали имя автора. Стихи нас поразили. Мы полагали, что появился какой-то новый замечательный узбекский лирик. Потом оказалось, что это Эркин Вахидов, известный поэт и переводчик, читал свои переводы стихотворений Есенина, в которых выразил не только восточный дух поэзии самого Есенина, но также «предусмотрел» характер восприятия стихов узбекским читателем». Поистине, здесь оказалась уместной знаменитая формула Жуковского: «Переводчик в прозе есть раб, переводчик в стихах – соперник».

Так заочно я познакомился с Эркином Вахидовым, и он тогда, можно сказать, помог мне в проведении практического занятия. Эта любопытная педагогическая ситуация мне надолго запомнилась.

Когда много лет спустя я стал заниматься поэзией, в том числе художественным переводом, мне захотелось «отблагодарить» узбекского мастера за его работу в сфере переводов с русского языка. Дважды намечались наши встречи, но по разным причинам срывались. Наконец мне самому удалось раздобыть необходимые подстрочники и сделать небольшую подборку стихотворений узбекского автора уже сравнительно позднего периода его творчества, которая в 2015 году была опубликована в журнале «Звезда Востока».

Переводить поэзию Эркина Вахидова, как всякого большого мастера, не так просто, но многие стиливые особенности его письма помогают переводчику. Прежде всего то, что Э. Вахидов – поэт большой ясной мысли. Мысль переводима, ибо она универсальна, всечеловечна, иное дело национальная форма предъявления или метафорическое предметно-словесное мышление. Важно отметить то ощущение, что мысль у поэта не столько «открывается» в процессе созерцания действительности (как естественный вывод из наблюдаемых жизненных картин), но, скорее, формируется заранее как некая художественная установка, исходная в его поэтическом замысле, что затем находит выражение в образной системе, лирическом «сюжете» и подборе художественных деталей и средств. Не столько восприятие жизни производит образ, сколько сформированная мысль «подбирает» образную комбинацию. Вот стихотворение «Печаль иглы», выражающее мысль о ценности, может быть, не масштабного и не бросающегося в глаза, но упорного и необходимого повседневного труда, а также о естественной необходимости быть благодарными за такой труд.

*Иголка как будто бы нам говорит:
Откройте глаза, оцените меня –
Ведь мною едва ли не мир весь обшит,
Сама же нагою оставлена я.

Но в том ли вопрос, что иглолка гола?
Хоть все же есть повод печалиться, ибо
И самая скромная даже игла
Имеет ушко, чтоб расслышать «Спасибо!»¹*

(«Печаль иглы»)

Здесь смысл стихотворения, вывод, содержащийся в заключительных строках текста с эффектным использованием близости и различия понятий «ушко – ухо», как раз есть то предварительно обнаруженное образное сопоставление и заранее сформированная мысль, которые затем «обрастают» необходимым «лирическим сюжетом».

Поэтическая мысль Э. Вахидова отнюдь не так проста и прямолинейна, как иногда может показаться. Вот стихотворение «Закрыв лицо руками...», общий смысл которого так легко свести к ворчанию стареющего человека на нынешнее поколение, что, мол, все не так, не те времена и не те нравы.

Легко заметить, что здесь вовсе нет сопоставления нынешнего времени с былым,

¹ Здесь и далее стихотворения Э. Вахидова цитируются по изданию: Эркин Вахидов. Шуты с умом... перевод Н. Ильина. – Звезда Востока, № 4, 2015, с 98-100.

да и стихотворение это, пожалуй, совсем не «о том». Мысль поэта гораздо глубже: он печалится о том, что из сферы современного восприятия мира и чувствования ушло то культурное начало, та эстетика, «классика», которые окаймляли и углубляли чувства, когда художественное слово делало уникальным выражение наших переживаний и сам характер восприятия жизни.

Особенное свойство художественного творчества узбекского поэта – это его юмор, часто содержащий глубокие жизненные обобщения и становящийся формой выражения философских и социально-исторических наблюдений. Есть произведения, посвященные осмыслению и общественно-исторического значения смехового начала в нашей жизни. Э. Вахидов, объясняя важность и силу смеха, призывает к ответственности за насмешливое слово, за «шутку», ибо не только «великие идеи» и высокие порывы производят перевороты в личном и общественном сознании, но и смех:

*Так что не всякая шутка – игра:
В ней может быть важный намек;
И, ставши крылатым, иное слово
Нешуточных действий предлог.*

Такое понимание поэт подтверждает историческими наблюдениями и параллелями. Он анализирует недавнее прошлое, справедливо видя причины общественных перемен не только в действии определенных исторических сил, но и в народном неприятии той действительности, выразившемся в насмешке.

Понимание роли и значения слова пронизывало и общественно-политическую работу поэта. Являясь заметным общественным деятелем, представителем национальной культуры, Эркин Вахидов ощущал себя прежде всего поэтом – тружеником художественного слова – и никогда не переставал творить.

*Не говорите, что умолк поэт,
Что нет поэм и что газелей нет:*

*Ведь если так – то значит, конь из досок
Ему уже подставил свой хребет.*

(«Не говорите, что умолк поэт...»)

Через несколько дней после опубликования переводов в «Звезде Востока» Эркин-ака позвонил мне домой, и у нас состоялся очень интересный и полезный для меня как переводчика разговор. Дело в том, что он не просто высказал мне слова благодарности, но говорил с замечательным профессиональным пониманием особенностей переводческого труда. Его оценки и наблюдения над процессом поиска необходимых образно-словесных эквивалентов в переложении художественного текста с языка на язык были чрезвычайно интересны и важны. Я рассказал поэту ту далекую «педагогическую историю» и почувствовал, что она доставила ему искреннее удовольствие. Поэт стал говорить о своем предстоящем 80-летнем юбилее, о готовящемся издании избранных произведений и отдельной книги с переводами его стихотворений на русский язык. Увы, Эркину Вахидову не суждено было дожить до этого юбилея, а мне так и не довелось встретиться с ним в этой жизни. Но я прожил в его стихах немалое время, и уход поэта, ставшего для меня «своим», был сопоставим с утратой близкого человека.

Мастера не стало, но остается продолжающейся и открытой для всех его жизнь в созданных произведениях, где читателей ожидает немало замечательных страниц, волнующих впечатлений, глубоких размышлений и открытий, а литературоведов и переводчиков ожидает трудная, но увлекательная творческая работа.



караван истории

Памяти учителя

УСТОЗ

Его имя вошло в список десяти тысяч лучших живописцев мира XVIII–XXI веков. 28 августа 2016 года народному художнику страны, академику АХ Узбекистана Рузы Чарыевичу Чарыеву исполнилось бы 85 лет.

Он жив и всегда со мной! Хотя с того дня, как он покинул нас, прошло уже двенадцать лет, но мне никак не верится, что Чарыева нет.

– И не надо верить! – говорят друзья.

Они правы. Не надо верить!

А мне все кажется, что вот сейчас он вновь постучится в калитку моего дома:

– Открывай, это я – Рузы!

И дом опять наполнится звонким смехом и радостью.

Сейчас сижу и пишу в чарыевском зале. На стенах – картины Рузы. Вся в золоте и багрянце Ферганская долина, вот портрет дочери художника Роксаны, а тут – в казане – готовится плов.

От работ Чарыева исходит чудная аура, потому что он вкладывал в них всю душу. А она у него была невероятно щедрей и широкой.

Вспоминаю его мастерскую, заполненную холстами и акварелями, вновь чувствую тот особый тонкий запах красок.

Я знал его более трети века, только на два года нас разлучила моя служба в армии. Он был удивительным, неординарным человеком. Помню, однажды его назначили председателем жюри конкурса детского рисунка. И когда стали подводить итоги, он стал убеждать, что всем детям надо присудить первое место.

– Они все талантливые! – искренне уверял он. – Как так можно кого-то обделить...

Он был большим и наивным ребенком. Любил жизнь, веселую компанию. Любой человек был ему интересен – будь то ловкач или великая личность.

Однажды он попросил меня снять его для заграничного паспорта. Это была веселая съемка – Рузы любил посмеяться над собой. На память потомкам он сфотографировался с четырех сторон. У меня сохранилась эта фотосессия, вот только куда-то подевался снимок в анфас.

На снимках хорошо видно насколько плоский затылок Рузы. У меня тоже такой – следствие долгого и неподвижного лежания в бешике – детской люльке. Это настоящая экзекучия, пришедшая из средневековья, когда тебе связывают руки



Рустам ШАГАЕВ

Родился в Ташкенте. Окончил факультет журналистики ТашГУ (ныне НУУЗ).

Работал фотокорреспондентом УзА. Автор многих фотовыставок и публикаций в республиканской периодической печати. Живет в Ташкенте.

и ноги. Хорошо, что это не отразилось на наших с Рузы умственных способностях.

Кстати, вернемся к паспорту. Где-то я читал воспоминания члена Академии художеств, Заслуженного деятеля искусств Узбекистана Турсунали Кузиева о том, как он улаживал конфликт с начальником паспортного стола. Все страницы своего документа, удостоверяющего личность, Рузы, увлекшись, испещрил рисунками.

...Я познакомился с ним осенью 1970 года, когда только поступил на факультет журналистики ТашГУ. Помню, как первый раз пришел в мастерскую с его земляками – сурхандарьинцами Нодиром Норматовым, Эркином Агзамовым и Усманом Азимовым. Тогда он дал каждому из нас в руки по альбому с репродукциями античных памятников. Мы быстро пролистали их и отложили в сторону.

А он помолчал минуту и сказал:

– Знаете, ребята, а я могу изучать эти книги ночами напролет...

Тогда это откровение поразило меня, я понял, что Рузы – человек со своим неведомым, удивительным миром. Я стал часто бывать у него. Снимал его с разных ракурсов: когда он писал портреты стариков и природу, дары земли и городские пейзажи.

С ним мы побывали в разрушенном землетрясением Газли и в Санкт-Петербурге, где тридцать лет назад он открывал свою персональную выставку. Чарьев был первым узбекским художником, «прорубившим окно» в северную столицу России.

Был с нами тогда и замечательный музыкант, «узбекский Паганини», Шухрат Юлдашев. На своем гитаре он виртуозно исполнял произведения многих мировых классиков.

Та выставка Рузы стала настоящим триумфом изобразительного искусства Узбекистана!

С этим городом его связывали счастливые воспоминания. Студенческий билет Академии художеств, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, где он учился, позволял бесплатно посещать все музеи города.

И однажды в Эрмитаже он заметил девушку, которая зачарованно смотрела на огромное полотно Матисса. Она целый час наслаждалась изображенным художником хороводом, а Рузы в это время любовался ею. Потом он признавался, что в ту первую встречу сразу понял, что она станет его женой.

Марина Разумовская была студенткой архитектурного факультета той же Академии. Внучка знаменитого живописца сразу увидела в Рузы незаурядную личность, поверила в его талант и посвятила ему свою жизнь. В городе на Неве Чарьев получил блестящее художественное образование.

Но даже в чудные белые ночи он грезил о родном жарком солнце.

Сама земля узбекская звала его на Родину.

С Мариной он едет в места, где прошло его детство. В Сайробе Рузы показывает ей многовековую чинару, в дупле которой размещалась небольшая школа, а в Байсуне они наблюдали, как вышивальщицы в узорах своих тюбетеек любовно изображали краски окружающей природы.

В эти годы Чарьев активно работает, много экспериментирует. Он поддерживает идею замечательного художника Чингиза Ахмарова о том, что узбекские художники должны отойти от традиций европейской школы и вернуться к родным истокам. Благодаря именно Чингиз-аке возродилась восточная миниатюра, замечательная школа Камолиддина Бехзода. В ту эпоху диктата чиновников от искусства это была очень смелая мысль.

Для меня встречи и поездки с Рузы-акой стали хорошей школой. Я был счастлив, что стал его шоги́ртом – учеником. Люди удивлялись: «Почему ты его называешь «устоз»? Ведь он – художник, а ты – журналист...»

Но я всегда повторял: «Чарьев – мой духовный учитель».

Бывая у него, я исподволь наблюдал, как он строит композицию, как подбирает цвета. Он считал, что самое главное для художника – умение сохранить детскую чистоту восприятия, свежесть взгляда. Это были уроки подлинного мастерства.

В агентстве я придумывал всевозможные рубрики: «В мастерской художника», «Новости культуры», «Из дальних странствий возвратясь» и каждый месяц обязательно публиковал о Рузы то зарисовку, то репортаж.

Думаю, правильно делал, что популяризовал его при жизни!

Ведь когда человек уходит из жизни, то ему уже все равно...

Дай Бог, в августе я обязательно сделаю фотовыставку, посвященную 85-летию устоа.

Рузы Чарьев увековечил меня и моего сынишку.

Он был удивительно добрый и обаятельный, легко находил общий язык с любым человеком. В Милане и Ханое, в Осло и Анкаре. В его мастерской бывали выдающиеся люди современности.

Были здесь итальянский художник Ренато Гуттузо и аварский поэт Расул Гамзатов. Тогда на листочке бумаги Гуттузо набросал профиль Чарьева, который долго хранился в его мастерской.

А к приходу Гамзатова Рузы приготовил огромный холст.

Была задержка вылета самолета на час в Минеральные Воды, и именитого гостя к художнику привез Ало Ходжаев, тогдашний секретарь Ташкентского обкома партии по идеологии.

Художника отговаривали – напишешь в другой раз...

– Другого раза не будет! – Чарьев засучил рукава, отложил в сторону кисти и стал накладывать краски на холст прямо из тюбиков. Он растирал их тыльной стороной руки. На глазах рождался большой – на все полотно – портрет: высокий лоб и белые, как лунь, волосы, орлиный нос и лукаво прищуренные глаза.

Рузы перепачкался, но глаза его сияли от счастья – он уложился в регламент времени. За сорок минут создал шедевр!

Увидев портрет, гости и окружающие были в восторге. И хотя врачи запрещали Расулу Гамзатовичу пить, но он поднял бокал вина за здоровье художника.

Тогда Ало Максумович прекрасно назвал портрет – «Гомер XX века». Сейчас этот холст хранится в Государственном музее искусств Узбекистана.

Творить было дано Чарьеву от Бога! Это надо было видеть, когда он работает с горящим взором, одухотворенный, охваченный единым порывом!

Он любил говорить: «Шедрый человек обязательно будет богатым!» И часто дарил свои шедевры, мог отдать нуждающемуся последнее. Ведь он сам прожил непростую жизнь, оставшись в восемь месяцев сиротой.

В большом коридоре дома, где находились мастерские художников, он вывешивал свои холсты.

– Рузы-ака, ведь украдут! – отговаривали его.

– Пускай крадут! – шутил он. – Значит, людям нравятся мои картины!

Каждая написанная им работа была для него как родной ребенок. И самым большим счастьем для него было, когда люди радовались его творчеству. Прошло столько лет с тех пор, как его нет с нами, но все больше убеждаешься, что Чарьев – исключительное явление в изобразительном искусстве Узбекистана.

Его работы украшают крупнейшие музеи мира, многие частные коллекции. Но, по-моему, не менее важно то, что он открыл в нашей стране четырнадцать картинных галерей. В сурхандарьинской глубинке – Пашкурте и на самом южном рубеже нашей Родины – в Термезе, в кашкадарьинском поселке гидроэнергетиков Мираке и в самом сердце Ферганской долины – Куве.

И это доброе начинание поддержали многие его коллеги и ученики.

«Пускай люди познают прекрасное», – эти слова народный художник Узбекистана Рузы Чарьев говорил от самого сердца.

Поэтому он с нами всегда!

литературоведение. литературная критика



**Нодира
МИРХАЙДАРОВА**

Родилась в 1970 году. Окончила Ленинабадский государственный педагогический институт. Имеет ряд публикаций о творчестве А. С. Пушкина и проблемах терминологии. Работает в Гулистанском государственном университете.

АЛЛЮЗИЯ В ЛИРИКЕ А. С. ПУШКИНА

Аллюзия (от латинского *шутка, намёк*) в художественной литературе – одна из стилистических фигур: намеков на историческое событие или литературное произведение, которые предполагаются общеизвестными.¹

Использование приема аллюзии восходит к преданиям старины. Первобытнообщинный строй и среда явились причиной мифологического восприятия и осознания мира. В определенный период своего исторического развития человечество было беспомощно перед космическими и природными явлениями. Люди обожествляли эти явления и поклонялись им, воспевали в легендах, притчах, преданиях, песнях. Этот процесс начал определять сознание и форму мышления. В итоге восхваление, поклонение космосу и природе заняло значительное место в художественном осознании мира.

Литературная аллюзия межтекстовых связей – это прием, заключающийся в «намеке» на некое событие, существующее в действительности либо вымышленное. Дополнительно аллюзия может функционировать как средство «расширенного переноса свойств и качеств мифологических, библейских, литературных, исторических персонажей и событий на те, о которых идет речь в данном высказывании», в таком случае «аллюзия не восстанавливает хорошо известный образ, а привлекает из него дополнительную информацию»². Например, в поэме «Полтава» А. С. Пушкина:

*Донос оставя без вниманья,
Сам царь Иуду утешал
И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал!*

или:

*И где ж Мазепа? Где ж злодей?
Куда бежал Иуда в страхе?
Зачем король не меж гостей?
Зачем изменник не на плахе?»³*

Мазепа – герой исторической поэмы А.С. Пушкина «Полтава». Мазепа предал своего царя, свой народ, свою отчизну

¹ Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. / Под ред. А. А. Суркова. – М.: «Советская энциклопедия», 1962-1978. Т. 1, с.161.

² Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981, с. 110.

³ Здесь и далее цитируется по: Пушкин А. С. Избранные сочинения в 2-х томах. – М.: 1978. Т. 1.

в обмен на власть, богатство, положение. Но в битве под Полтавой победил Петр I. После разгрома шведских войск Карл с Мазепой бежали в Турцию. В поэме Мазепа оговаривает своего старого друга Кочубея и доносит на него Петру I. Кочубей казнен, пролита невинная кровь.

В христианской религии один из двенадцати апостолов – Иуда – предал Иисуса Христа. Евангелие повествует, что Иуда пошел к «первосвященникам» и предложил свои услуги: «что вы дадите мне, и я вам предам его?» Назначенная цена – тридцать серебрянников. Иуда ведет толпу, посланную схватить Христа, на известное ему место – к востоку от Иерусалима – и помогает своим поцелуем быстро опознать Христа в ночной темноте. Позже Иуда узнает, что Иисус Христос осужден судом синедриона и приговорен к казни. В раскаянии он возвращает своим нанимателям тридцать серебрянников со словами: «согрешил я, предав кровь невинную» (Матф. 27, 4)¹.

Только знающий христианские религиозно-мифологические источники читатель может через семантику слова *Иуда* понять, какие черты характера Мазепы подчеркивает автор приемом аллюзии. Аллюзивное слово выступает в качестве знака ситуационной модели, с которой посредством ассоциаций соотносится текст, содержащий аллюзию. Так происходит взаимодействие литературно-художественных произведений, которое называют аллюзивным процессом.

Кочубей заточен в башне. На следующее утро должна состояться ужасная казнь. Вся его жизнь проходит перед глазами. Он вспоминает свою Полтаву, семью, друзей, песни, что пела ему его дочь, свою мирную, богатую жизнь, свой старый дом, где он родился, – и все это он добровольно бросил, но ради чего?

*Но ключ в заржавленном
Замке гремит – и, пробужден,
Несчастный думает: «Вот он!
Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель,
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И к жизни вечной приобшусь!»*

«Мой вождь под знаменем креста...» Кого же подразумевал Кочубей под вождем со знаменем креста, который еще и «грехов могущий разрешитель»? Из Христианской религии известно, что родится царь-Мессия и спасет людей, искупит их грехи. Семантическим эквивалентом сочетанию «искупление грехов» является слово *Иисус* (греческая передача еврейского личного имени Йешуа), что означает «спасение», «бог помощь», или же греческое «мессия». (Матф. 1, 21). Иисуса также называют «царем», которому дана «всякая власть на небе и на земле», он – «мессианский царь». (Матф. 28. 18). Царь значит и вождь, который повел людей за собой, проповедуя свое учение и творя чудеса.

Добровольно приняв страдания и смерть, Иисус как бы выкупил собою людей у сил зла. Иисус несет на себе крест до места казни, на гору Голгофу, где его должны распять. По утверждению церкви, крест символизирует мученическую смерть Христа, распятого на кресте в 30 г. н.э. Отсюда и пошло выражение «нести на себе крест», т. е. нести на себе грехи людей, отвечать за взятые на себя грехи перед Богом. Впоследствии крест становится неотъемлемым символом, атрибутом христианской религии.

Укрепиться «...его святой кровью и телом», умереть не страшась и приобшиться

¹ Здесь и далее цитируется по: Новый Завет. – Чикаго, Ил., 1992.

к вечной жизни желает Кочубей. Что же стоит за этим желанием Кочубея? Жизнь Иисуса, согласно Евангелию от Луки гласит: «... и взяв хлеб, возблагодарив, преломил и дал им, говоря: это есть тело мое, за вас отдаваемое. Делайте это в воспоминание о Мне (19). Также и чашу после вечери, говоря: эта чаша есть новый завет в крови моей, за вас изливаемой (20)». Иисус в кругу своих двенадцати апостолов тайно справляет обряд пасхального ужина, во время которого предсказывает, что один из его учеников предаст его. Затем подает ученикам хлеб и вино, мистически претворяя их в своё тело и кровь. Люди должны быть спасены не только через веру в него, Иисус должен войти в них, быть в них, быть с ними (через хлеб и вино быть в них); т.е., употребив хлеб и вино, Кочубей подкрепляет и подтверждает свою веру в Иисуса Христа еще раз: «... И к жизни вечной приобщусь!». Каждый поверивший в Иисуса Христа в последующем обретет вечную жизнь.

Ключевым фактом, который следует понять в отношении Христа, является то, что Он, безгрешный, добровольно умер за людей, за человечество. Пример аллюзии находим и в стихотворении «Дяде, назвавшему сочинителя братом» (1816):

*Я не совсем еще рассудок потерял
От рифм бахических, шатаюсь на **Пегасе**,
Я не забыл себя, хоть рад, хотя не рад.
Нет, нет – вы мне совсем не брат;
Вы дядя мне и на **Парнасе**.*

Пегас – крылатый конь из греческой мифологии. Он возносится на Олимп, доставляя молнии и громы Зевсу. Поэт говорит, что, прыгая от одной рифмы к другой на крылатом коне Пегасе, не потерял еще рассудка. Парнас по греческой мифологии – горный массив, место обитания бога Аполлона, бога солнца, света и искусства, и муз – покровительниц поэзии, искусства и науки. Парнас является местом, где обитают люди искусства.

В стихотворении «Воспоминания в Царском селе» (1814) находим еще один интересный пример аллюзии:

*Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен!
Исчезли зданья вельможей и царей,
Все **пламень** истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.*

Нельзя понять эти строки, не зная истории пожара 1812 года в Москве. «Пламень» истребил столицу России, дворцы царей и вельмож, дома богачей, потемнели от огня венцы башен. Александр I назначил Кутузова главнокомандующим. Главное жестокое, решающее сражение произошло 26 августа 1812 года под Москвой в селе Бородино. Чтобы сохранить армию, решено было оставить Москву без боя. После вступления Наполеона в Москву начались пожары. В огне погибло около 2/3 всех зданий Москвы. Расшифровка аллюзий, как и любого интертекстуального явления, предполагает наличие у автора и читателя некоторых общих знаний.

Аллюзия, таким образом, предстает как заимствование из инородного текста некоего элемента, который служит отсылкой к тексту-источнику, является знаком ситуации, функционирует как средство для отождествления определенных фиксированных характеристик. Аллюзия – это интертекст, элемент существующего ранее текста, включаемый в создаваемый текст. В то же время интертекстуальность в первую очередь объясняет саму возможность взаимопроникновения текстов, факт существования их в объединенном пространстве в виде единого текста, какой представляет собой вся человеческая культура.

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В РАМКАХ ГРАНТА...

20 апреля 2016 года в Союзе писателей Азербайджана состоялась презентация литературного альманаха «Душа», выпущенного издательством «Zerdabi nəşriyyat poligrafiya», как результат совместного проекта азербайджанских и узбекских писателей и поэтов. В него вошли современные произведения, для которых характерно стремление философски осмыслить непростую сегодняшнюю действительность, четко определить нравственные ориентиры, обозначить извечные человеческие ценности и преходящее, наносное, исторически обреченное, ориентированность на единение с природой, самоотверженность, патриотизм.

Узбекская литература представлена лирикой Абдуллы Арипова, Мухаммада Юсуфа, Улугбека Хамдама, Икбола Мирзо, прозаическими произведениями: «Колыбельная» Саида Ахмада и «Белое море, в котором нет волн» Уйгуна Рузиева, опубликованными ранее в журнале «Звезда Востока» № 4, 2013 г., № 2, 2015 г. в переводе на русский язык Ш. Касымовой.

Именно благодаря переводам лучшие произведения современной и классической узбекской литературы становятся известными далеко за пределами республики широкому кругу читателей.

Подобная информация о презентации альманаха была опубликована в Баку, в газете «Каспий» № 69 от 20 апреля 2016 г. в статье Сулико Дагаргулия «Альманах “Душа”».



18 мая 2016 года Ташкентское объединение преподавателей русского языка и литературы, Представительство Россотрудничества в РУз при поддержке Посольства РФ в РУз организовали и провели XII Виноградовские чтения, в которых приняла участие и редакция журнала «Звезда Востока».

Во многих докладах, прозвучавших на пленарном заседании, в частности, в докладе д. философ. н. профессора ИНХА (Южная Корея) Саидкаримова С. С. «Русский язык в языковой культуре Центральной Азии» была отмечена немаловажная роль единственного литературно-художественного журнала «Звезда Востока» в популяризации, сохранении и развитии русского литературного языка и русскоязычной литературы в Узбекистане с одной стороны, а с другой популяризация культурно-исторического наследия классической и современной узбекской литературы посредством перевода на другие языки, в частности, на русский, что делает их достоянием всех русскоязычных читателей.

Модератор XII Виноградовских чтений Почетный член ТОПРЯЛ, член-корреспондент РАП и СИ, профессор ТГПУ им. Низами Миркурбанов Н. М. подчеркнул просветительско-популяризаторскую роль рубрик журнала «Звезда Востока» «Переводы», «Духовное наследие Востока», «Караван истории».

20 мая 2016 года в академическом лицее № 1 при Самаркандском институте иностранных языков состоялась встреча студентов с Народным писателем Узбекистана, лауреатом Государственной премии Мухаммадом Али, представителями СПУз и объединенной редакции журналов «Шарқ Юлдузи» и «Звезда Востока». Директор лицея Мамлакат Рахимова, открывая встречу, рассказала об условиях, созданных в лицее для полноценного культурного развития и образования подрастающего поколения, о деятельности кружков и студий, о значении литературы в процессе формирования личности.

Мухаммад Али ознакомил присутствующих со своим творчеством, подробно рассказал о работе над романом-эпопеей «Амир Темура Великий», о переведенных на русский язык и опубликованных в журнале «Звезда Востока» двух первых книгах эпопеи «Джахангир Мирза» (№ 3, № 4, 2013 г. и № 1, № 2, № 3, 2014 г.) и «Умаршейх Мирза» (№ 2, № 3, № 4 2016 г.). Перевод осуществлен автором и переводчицей С. Камиловой.

Его рассказ вызвал множество вопросов, свидетельствующих об интересе и понимании значения этого фундаментального труда.

Литературовед Адхамбек Алимбеков рассказал о проектах СПУз, направленных на поддержку молодых талантов, о выпуске первых сборников начинающих поэтов, финансируемом СПУз. Члены литературного кружка «Росток» («Нихол») читали свои стихи и подарили гостям свой коллективный поэтический сборник.

6-7 июня 2016 года апофеозом единения культур стали торжества, посвященные 217 годовщине со дня рождения А. С. Пушкина. На митинге у памятника А. Пушкину, в котором приняли участие СПУз, Представительство Россотрудничества в Узбекистане, Посольство РФ в РУз, РКЦУз, культурная общность столицы, высшие и средние учебные заведения, прозвучали слова о значении творчества Пушкина не только для русской, но и для мировой литературы и культуры, читались стихи о Пушкине, пушкинские произведения и их переводы на узбекский язык, исполнялись музыкальные произведения по пушкинским мотивам.

Последующие Пушкинский бал, концерт в зале Интерцентра, научная конференция в НУУз были достойным завершением чествования великого классика.